

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ

157

ПАРИЖ — НЬЮ-Йорк — МОСКВА

№ 157

III — 1989

*Publié par l' Action Chrétienne des Etudiants Russes
en collaboration avec les éditions YMCA-Press*

Редакционная коллегия:

Архиеп. Сильвестр, прот. Иоанн Мейендорф, прот Алексей Князев,
прот. Кирилл Фотиев, Ю. Кублановский, О. Раевская, Н. Струве.

Ответственный редактор: Н.А. Струве.

Х.Д.

оска) :

. . . . 250 фр.

. . . . 300 фр.

. . . . 360 фр.

(без пересылки)

SSAGER»

7 U Paris).

Издание РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
при участии изд. YMCA-Press

Адрес для ПОДПИСКИ : «LE MESSENGER», ACER,
91 rue Olivier de Serres, 75015 Paris, France. (tél. 1 - 42.50.53.66).

Адрес РЕДАКЦИИ : «LE MESSENGER» - YMCA-Press,
11 rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris, F.

Directeur responsable : Nikita STRUVE.

LE MESSENGER

БИБЛИОТЕКА - ФОНД
«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»
Н. РАДИЩЕВСКАЯ, 2
915-10-73

ВЕСТНИК

РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

157

БИБЛИОТЕКА-ФОНД
«РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ»
МОСКВА, НИЖНЯЯ РАДИЩЕВСКАЯ 2
400 1534

ПАРИЖ - НЬЮ-ЙОРК - МОСКВА

От Редакции

К ПРОСЛАВЛЕНИЮ ПАТРИАРХА ТИХОНА

«И се — свет вознесен на свещицу. Кроткий и тихий свет великомученика струится по всему миру».

прот. Сергей Булгаков, 1923 г.

В противоречивых процессах, охвативших Россию, — расширение гласности до почти полной свободы мнений при почти не измененных политико-экономических порабощительных структурах — выделяются события духовно-мистического порядка, затрагивающие глубинные слои русской истории.

К таким событиям следует отнести торжественное прославление патриарха Тихона в стенах Успенского Кремлевского собора, о чем и помыслить было трудно еще полгода тому назад. Возведенный в дни всероссийской смуты на восстановленную патриаршую кафедру народным избранием (сначала на Московскую кафедру, а затем Собором в качестве одного из трех кандидатов в патриархи) и изволением Духа Святого (через голосование народа и жребий), патриарх Тихон — воплощение самых светлых черт святительского служения. Народный по своему происхождению и складу, но опиравшийся на высшие слои церковной интеллигенции (кн.Е.Трубецкой, С.Булгаков), стойкий в православии, но открытый ко всему творчески новому, стоявший неизменно на стороне политики, не искавший ничего для себя, готовый ради спасения Церкви замянуть свою ризу, «смирненник царственный», исповедник веры и мученик совести, патриарх Тихон пользовался как при жизни, так и по кончине всеобщим уважением и почитанием (за исключением обновленцев, его низложивших).*

Можно пожалеть, что одновременно с Тихоном осторожное руководство Русской Православной Церкви решило канонизировать и первого по времени, скромнейшего патриарха Иова, правда тоже низложенного в конце жизни польской партией, но мало замеченного и историей, и Церковью. То, что должно было стать (и вопреки всему станет) пророческим словом, обращенным к сегодняшнему дню, предваряющим прославление сонма исповедников и мучеников, во главе которых стоит святитель Тихон, превратилось в историческую закономерность... И тем не менее, даже приглушенное ретроспективностью, прославление Тихона, десятилетиями заклеянного всеми бранными словами безбожной пропаганды, без сомнения важная веха в оздоровлении и укреплении Церкви, а через нее и всей страны.

* См. подборку материалов о патриархе Тихоне, в связи с 50-летием со дня его смерти, в №115 «Вестника РХД».

Copyright © Le Messager. Paris 1989

COMMISSION PARITAIRE
№ d'inscription 620 16

К ОБРЕТЕНИЮ ОСТАНКОВ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Таким же мистическим событием следует признать обретение останков замученных государя Николая II, его семьи и приближенных. По первым газетным сообщениям могло показаться, что это событие носит характер не совсем здоровой сенсации, но вскоре стали очевидны не только подлинность самого факта, но как будто и искренность намерений тех, кто в этом обретении участвовал. (См. печатаемые в этом номере материалы). Нахождение останков царской семьи, считавшихся уничтоженными, в дни, когда Россия мучительно выкарабкивается из бездны, в которую ее ввергла революция, — не простая случайность. Русская духовная история началась с безвинных «политических» жертв, свв. Бориса и Глеба, ее почти что 1000-летнее существование ознаменовалось подобным избиением невинных (царевича Алексея, великих князей). Если царь и императрица в историческом плане несут вместе со всей Россией (да и со всем миром!) долю ответственности за роковой исход русской истории, то добровольное отречение от престола и екатеринбургская трагедия эту вину искупили и омыли.

Но за обретением останков не последовало никаких решений и действий относительно их достойного погребения. И русская Церковь, и самая широкая общественность должны возвысить голос, чтобы останки царской семьи были по христианскому обряду преданы вновь земле там, где были найдены, — не под звуки военных маршей и патриотических гимнов, а под пение папихидное, в тишине уральских лесов и болот.

Есть все основания думать, что народная трона к такой далекой могиле-часовне не зарастет, и, в будущем, если изволится народу Божьему и Духу Святому, царские мученики войдут в бесчисленный сонм русских святых XX-го столетия, подобно тому, как святые Борис и Глеб на заре русской истории положили ему начало.

И как не были — что бы ни говорили современные историки — свв. Борис и Глеб прежде всего ставленниками княжеской партии, ратовавшей за свое укрепление, а избранниками русского народа, так и останки царской семьи не должны стать знаменем каких-то смутных политических страстей и партий. И дети святого Владимира, не приступившие к власти, и Николай II, совлекший ее с себя добровольно, и его невинные дети, — образы христианского кенозиса, «рабьего Христова зрака», к которому от века прильнула русская душа и которым она, несмотря на падения и отпадения, до сего дня живится и освящается.

Никита Струве

БОГОСЛОВИЕ — ФИЛОСОФИЯ

О МОЛИТВЕ *

*Видел я пред собою Господа всегда,
ибо Он одесную меня, дабы я не
поколебался.*

Деяния. 2

“Всенодражаем отцам нашим, — пишет *пр. Никифор*, — и подобно им взыщем сущее внутри сердец наших сокровище, и обретши, крепко держать будем, делая и храня”.

Хранит сокровище — страх потерять его, ищет же его прежде всего молитва.

“Всякая добродетель, — говорит *пр. Серафим*, — Христа ради деласмая, дает блага Святого Духа, но более всего их дает молитва”.

“Хотя на себя ненадеяние, упование на Бога и пребывание в подвигах крайне необходимы в духовной нашей брани, но необходимее всех молитва, потому что ею стяжеваются и полную силу восприимлют и те первые три орудия (на себя ненадеяние, упование на Бога и пребывание в подвигах), как и всякое другое благо. Молитва есть средство для привлечения и длань для приятия всех благодатей, столь обильно изливаемых на нас из неистощимого источника беспредельной к нам любви и благодати Божией. В брани духовной ею ты влагаешь бранный меч свой в десницу Божию, да поборает Он за тебя врагов твоих и побеждает их”.
(*пр. Николай Святогорец*).

* Из рукописи «Путь отпов», составленной С. И. Фуделем.

Так относятся к молитве все святые; поэтому когда они говорят о ней не как о частной добродетели, наряду с другими, а именно как о "приемнице благодати", они находят для нее свои величайшие слова.

"Когда душа, упразднившись от всего внешнего, соединится с молитвою, тогда молитва, как пламя некое, окружив ее, как огонь железо, делает ее всю огненною... Блажен, кто еще в жизни сей таким видетися сподобился, и сам свой бранный по естеству образ видит огненным по благодати". (св. *Илия пресвитер*).

"Молитва, по качеству своему, есть общение (συνουσία) (со-бытие) и единение человека и Бога. По действию же она есть стояние мира... мост чрез искушения... пресечение браней, дело Ангелов, пища бесплотных, будущее радование, конца и предела не имеющее делание, источник добродетелей, проявление мер... Для истинно молящегося молитва есть истязалище, судилище и престол Господень, прежде престола будущего". (св. *Иоанн Лествичник*).

У молитвы есть своя "лествица" восхождения: начиная от первого искреннего лепета Богу до высших ее степеней и озарений, доступных только святым, а у нас, современников, есть одна особая причина, по которой мы иногда стремимся к ней больше всего.

"Если ты не получил дара воздержания (пощения), — пишет пр. *Иоанн Карпафский*, — то ведай, что Господь ради молитвы твоей и упования хочет услышать тебя, когда воззовешь к Нему. Узнав теперь такое Господнее о тебе присуждение, не тужи о своем бессилии к подъятию подвига пощения, но паче постарайся избавиться от врага молитвою и благодушным терпением.

Это как бы предвидение нашего духовно-нищего состояния имеется и у других отцов.

"Хочешь ли, я покажу тебе и другой путь ко спасению? Докучай Создателю своему, сколько сил есть, молитвами, чтоб не уклониться от предлежащей цели твоей. И бесстрастия не ищи, как недостойный такого дара, но проси притрудно спасения, и с ним получишь и бесстрастие". (пр. *Феогност*).

Евангельская заповедь о "докучливой молитве" есть радостный исход.

"Неотступно молись, подражая бесстыдию вдовицы, склонившей на милость неумолимого судию". (митр. *Феолипт*).

Молитва есть первейшее наше оружие, так как мы совершенно безоружны.

"Молитву отцы называют оплотом духовным, — пишет св. *Федор Эдесский*, — без которого нельзя выходить нам на брань, чтоб не быть уязвленными копьями вражескими".

"Нищим свойственно просить, а обнищавшим грехопадением свойственно молиться". (еп. *Игнатий Брянчанинов*).

Конечно, это есть общий закон молитвы, ее основание, одинаковое для всех эпох истории и для всех степеней молитвы, но это не уменьшает, а увеличивает ее значение для нас.

"Основание молитвы, — говорит еп. *Игнатий Брянчанинов*, — заключается в том, что человек есть существо падшее. Он стремится к получению того блаженства, которое имел, но потерял, — и потому молится".

Первая заповедь Нового Завета есть основание молитвы, и восхождение по заповедям нужно начинать с нее, особенно если мы не имеем и того благодушного терпения скорбей, о котором говорит *Марк Подвижник*.

"Если не переносим скорбей, (надо) плакать о недостатке терпения... Бог, увидев нас плачущих и смирившихся, как Сам Он ведает, всеильною Своею благодатию изгладит грехи наши". (св. *Марк Подвижник*).

Путь смиренного зывания к Богу о помощи есть по преимуществу наш путь.

"Кто слаб телом и наделал много тяжких беззаконий, тот да шествует путем смирения... ибо иного пути не найти ему". (св. *Иоанн Лествичник*).

"Видел я немощных душою и телом, которые за множество прегрешений своих покусились на подвиг выше их меры, но не могли понести его. Я сказал им, что Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения" (он же).

”Молитва и молчание суть из числа добродетелей, в нашей власти состоящих; а пост и бдение суть из числа не вполне в нашей власти состоящих добродетелей, так как они зависят и от сложения тела”. (св. *Илия-пресвитер*).

”Смирение и без подвигов многие прегрешения делает прощительными, без смирения же и подвиги бесполезны”. (св. *Исаак Сирий*).

”Сердце, исполненное печали о немощи и бессилии в делах (подвигах) телесных, явных, заменяет собою все сии телесные дела”. (он же).

”Кто познал, что имеет нужду в помощи Божией, тот совершает множество молитв. И в какой мере умножает их, в такой смиряется сердце его... Как же скоро смирится человек, немедленно окружает его милость... Из сего уразумевает он, что молитва есть прибежище ищущих помощи... и что все множество духовных благ делается для него доступным молитвою. По великому желанию помощи Божией приближается человек к Богу, пребывая в молитве. Но в какой мере приближается он к Богу намерением своим, в такой и Бог приближается к нему дарованиями Своими, и не отъемлет у него благодати за великое его смирение”. (он же).

Вот непреложное основание молитвы, ее ”Камень веры”, одинаковое и для общего ее стяжания, и для каждого отдельного ее практического шага.

”Если совершая службы свои (молитвенные последования), совершаешь их в смиренномудрии, как недостойный, то они приятны Богу; если же при сем взойдет на сердце твое и помянешь, как другой (в эту пору) спит или нерадит, то труд твой бесплоден”. (пр. *авва Исаия*).

Есть опасность и в том, что, приняв лукаво слова отцов о ”неполучивших дара поста”, ты умудрился сделать из молитвы какую-то свою ”немощную специальность”. Закон триединства совершенствования человека — в молитве, воздержании и любви — всегда в действии, несмотря на разность духовных характеров, только чистые сердцем узрят Бога. ”Молитва бессильна, если не основана на посте”, — говорит *еп. Игнатий Брянчанинов*, хотя бы в малую и смиренную меру нашей немощи. Но телесное воздержание касается, как известно, не только пищи.

”Лобызай чистоту, как зеницу ока своего, да будешь храм Божий и дом Ему желанный, ибо без целомудрия невозможно соделаться своим Богу”. (пр. *Феогност*).

”Не всякий, говорящий Мне: Господи, Господи, войдет в царство небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного”.

”Сила и состоятельность молитвы зависит от исполнения заповедей чрез творение добродетелей; вследствие чего праведный имеет сильную и многомощную молитву”. (св. *Максим Исповедник*).

”Познается христианин не от глаголения ”Господи, Господи”, но от подвига против всякого греха”. (св. *Тихон Задонский*).

Искоренение душевных страстей не связано с физическими силами человека, а потому остается всегда в силе, например, и для больного. А ведь при молитвенном искании Бога именно эти страсти приобретают особо вредоносную силу, так как ни гордость или тщеславие, ни ненависть или раздражение, ни осуждение или зависть — совершенно несовместимы с молитвой.

”Если кто, не имея молитвы, — пишет *Макарий Великий*, — принуждает себя к одной только молитве, чтобы иметь ему молитвенную благодать, но не принуждает себя к кротости, смиренномудрию, к любви, к исполнению прочих заповедей Господних... — тот, если и приемлет благодать молитвенную, то утрачивает оную по принятии и падает от высокоумия... потому что не предаст себя от всего произволения исполнению заповедей Господних”.

На первое место из всех душевных страстей пр. *Ефрем Сирий* (и другие отцы) ставит три: забвение, леность и неведение. ”Сими тремя страстями, — говорит он, — омрачаемое око душевное, т. е. ум, подпадает господству прочих страстей”.

Наша рассеянность ума и есть забвение, питаемое леностью.

”Три силы сатаны предшествуют всем грехам, — говорили еще отцы, — первая забвение, вторая нерадение, третья — греховное вожделение. От забвения рождается нерадение, от нерадения — преступное вожделение. Если ум столько

будет трезвен, что воспротивится забвению, то он не впадет в нерадение; если не вознерадит, то не подчинится вожделению; если не подчинится вожделению, то никогда не падет, вспоможествуемый благодатию Христовой”.

“Памятью о Христе Иисусе собирал расточенный ум свой”. (пр. *Филофей Синайский*).

Ум, через молитву, с самой первой ее ступени, должен начинать собирать свои расточенные силы, чтобы войти в новую жизнь.

“Тому, кто погружает мысль свою в здешние заботы, невозможно вдыхать в себя ощущение одного нового мира”. (св. *Исаак Сирий*).

Молитва, даже в еще несовершенной или неумелой своей форме, т. е. в начале молитвенного труда, есть уже выход человека из мира человеческих представлений, дел и забот, из мира тленной телесности, в мир измерений иного века. Человеку и страшно от непривычки, и в то же время он знает, что вступил на верный корабль, уносящий его среди ночи на родину.

“Молитва есть приемница наития Духа Святого”. (еп. *Феофан*).

Вот почему нам и сказано: “непрестанно молитесь”, — это все равно, что сказать: непрестанно стремитесь к Богу. Это для нас труднее всего, так как это существо религии, а не ее периферия, и погрузить всего себя в воды любви Божией, как в неизвестную стихию неумеющим плавать, нам слишком страшно.

“Кто ежедневно принуждает себя пребывать в молитве, тот духовною любовью к Богу воспаляется к божественной приверженности и пламенному желанию и приемлет благодать духовного освящающего совершенства”. (*Макарий Великий*).

“Когда кто пребудет в собранности ума и в таком его простертии к Богу, тогда, сильным самопринуждением утесняя быстротечность своих мыслей, мысленно приближается он к Богу, встречает неизреченное, вкушает будущего века”. (св. *Григорий Палама*).

Собранность ума, по учению отцов, требует большого принуждения и терпеливой настойчивости, а поэтому молитва

есть прежде всего труд. Только личный труд, действительное искание сердцем Бога, особенно под руководством истинного духовного отца, а не книги, может надежно и вполне научить молиться.

“Молитва, — пишет св. *Исаак Сирий*, — требует обучения, чтобы долговременным пребыванием в нем ум упремурился (молиться, как должно). По нестяжании, избавляющем наши помышления от уз, молитва нуждается в долговременном пребывании в ней, ибо от продолжительного пребывания в ней ум приемлет обучение, познает способы отгонять от себя помыслы, научается многим опытом своим тому, чего не может принять от иного”.

Конечно, и тут прежде всего необходим научающий страх Божий.

“Сказал *авва Серапион*: как телохранители царя, предстоя ему, не могут оглядываться ни направо, ни налево, так и человек, предстоя Богу и ощущая страх Его, не может ни на что иное обращать внимание”.

Страх Божий есть страшное ощущение реальности Божественного мира. Вот почему именно он прежде всего другого практически учит вниманию и трезвению — этим составным элементам молитвы.

На почве непонимания того, что “царство небесное нудится”, возникает теория “настроений”, которых надо якобы ждать для молитвы. В христианстве настроение одно — труд, и всякая духовная жизнь основана на духовном труде, более реальном, чем физический. В молитве не “настроение” предшествует, а благодать Божия может, по своему изволению, или предшествовать молитве, или последовать за ней, или совсем не обнаружить себя, в зависимости от состояния молящегося или для испытания чистоты и смирения его молитвенного подвига.

“Молитва с самопринуждением и терпением рождает молитву легкую, чистую и сладостную”. (бл. *Зосима*).

“Приступающему ко Господу надлежит принуждать себя ко всякому добру: принуждать себя к любви, если кто не имеет любви; принуждать себя к кротости, если кто не имеет кротости; ... принуждать себя к молитве, если не имеет духовной молитвы. В таком случае Бог, видя, что человек

столько подвизается и против воли сердца с усилием обуздывает себя, дает ему истинную духовную молитву, дает истинную любовь, истинную кротость". (*Макарий Великий*).

"Всякая молитва, при которой не утрудится тело, а сердце не придет в сокрушение, признается незрелым плодом". (*св. Исаак Сирий*).

"Многие, отказываясь от тесноты молитвенной добродетели, не улучают просторности дарований". (*св. Григорий Палама*).

О том, как молились святые, дает понятие такое место Патерика: "Авва Аммон сказал: я провел четырнадцать лет в Скиту, моля Бога денно-нощно, чтоб Он даровал мне победить гнев".

"Когда молишься, — говорит *пр. Нил Синайский*, — всеми силами храни память свою, чтобы она не предлагала тебе своего... Память приводит тебе на ум во время молитвы или воображения давних дел, или новые заботы, или лицо, оскорбившее тебя". "Очень завидует демон человеку молящемуся, — говорит тот же отец, — и всякие употребляет хитрости, чтобы расстраивать посредством памяти помыслы о разных вещах и посредством плоти приводит в движение все страсти".

"Врачуется же память постоянной памятью Божиею, действием молитвы утвердившеюся". (*св. Григорий Синаит*).

"Искренно любящий Бога молится без всякого развлечения, равно и молящийся без всякого развлечения любит Бога искренно. Не может молиться без развлечения тот, чей ум пригвожден к чему-либо земному". (*св. Максим Исповедник*).

По учению отцов, внимание ума при молитве надо направлять не на то, чтобы каким-то своим усилием представлять себе божественный мир. Это будет потуга воображения, противоположного вниманию, и дерзость, недопустимая в молитве.

"Стой вниманием внутри себя самого", — учат отцы, имея в виду внимание ума в сердце. Внимание должно быть направлено на смысл читаемых или произносимых слов. Молитвы, составленные святыми, как окна в вечные просторы, дают для молитвы тот выход, который ей нужен.

"Доброту же ее (молитвы) составляют — держание внимания ума в том, что произносится языком и помышляется при сем умом, и ненасытное всегдашнее вождение собеседования с Богом". (*пр. Феогност*).

"Лукавый, зная наверное, что непарительно молящийся Богу очень многое может сделать, спешит всякими способами, и благословными и неблагословными, развлечь его ум. Но мы, зная это, вооружимся всячески против врага нашего, и, когда стоим на молитве, и колена преклоняем, никакому отнюдь помыслу не дадим войти в сердце наше, ни белому, ни черному, ни десному, ни шуемому, ни писаному, ни неписаному, кроме умаливания Бога и с неба сходящего в ум просвещения".

"Не словом только надо молиться, но и умом, и не умом только, но и сердцем, да ясно видит и понимает ум, что произносится словом, и сердце да чувствует, что помышляет при сем ум. Все сие в совокупности и есть настоящая молитва, и если нет в молитве твоей чего-либо из сего, то она есть или несовершенная молитва или совсем не молитва". (*пр. Никодим Святогорец*).

"Молитва только словесная совсем не есть молитва". (*он же*).

"Настоящая молитва есть молитва внутренняя, не словом только, но и умом и сердцем совершаемая. Такая молитва овладевает всем вниманием и держит его внутри у сердца; почему внутри пребывание есть неотъемлемая черта настоящей молитвы и главное ее условие. С внутри пребыванием в деле молитвы неотлучна мысль о Боге присущем, видящем и внемлющем молитве, с отражением всякого другого помышления, что именуется трезвением или хранением сердца. Вся потому забота трудящегося над преуспеванием в молитве сюда должна быть преимущественно обращена, т. е. чтобы всегда неотходно быть у сердца, трезвенно охраняя его от всякого помышления, кроме единого Бога". (*он же*).

"Произнося стих псалмопения твоего не как бы заимствуя слова из иного ... но говоря эти слова в молении твоём как бы сам из себя, с умилением, с уразумеванием разума их". (*св. Исаак Сирий*).

Всякая искренняя молитва, даже несовершенная, есть уже стремление к памяти Божией. Так как преодолеть состояние, противоположное памяти Божией, — забвение, леность и неведение, — эти три великие болезни души — труднее всего, то понятно, почему отцы молитвенный подвиг считают наиболее трудным. "Во всяком другом подвиге, — говорили они, — человек стяжевает некоторое упокоение, но молитва до последнего издыхания сопряжена с тяжелой борьбой".

"Помолившись, как должно, — пишет *пр. Нил Синайский*, — ожидай (того), что не должно...". "Когда вселукавый демон, многие употребив хитрости, не успевают воспрепятствовать молитве... тогда потом, когда кончит (человек) молитву, отмщает ему".

"Великий подвиг, — говорили еще отцы, — и много времени требуется пробыть в молитвах, чтобы обрести невозмутимое устройство ума, — сие второе некое внутри сердечное небо, где обитает Христос".

"Если желаем воистину угодить Богу и блаженнейшею возлюблены быть от Него любовью, представим Богу ум наш нагим, ничего от века сего не влекущим с собою и в себе — ни искусства, ни знания, ни софистического мудрования". (*преп. Иоанн Карнафский*).

"Если не обратитесь и не будете, как дети, то не войдете в Царство Небесное".

Труд молитвы кончается и начинается ее покой, когда благодать Божия начинает приоткрывать себя в молитвенном умилении. Умиление, по учению отцов, есть конец напряженного внимания молитвы, или, точнее, переход внимания молитвы, или точнее переход внимания в то его состояние, которое уже легко и радостно.

"Если хочешь, — говорит *бл. Каллист Патриарх*, — научиться, как должно молиться, — зриай на конец внимания или молитвы. Конец же сей есть умиление, сокрушение сердца, любовь к ближнему".

"Благодатное молитвенное настроение характеризуется умилением, посещением которого объятый ум возбуждается к чистой и пламенной молитве (т. е. переходу на высшие ступени молитвы). Умиление сие находит при разных случаях, как показал опыт... Так (же) разنو и выражается оно: иногда

обнаруживается оно неизреченною некою радостью духовною; иногда погружает в глубокое молчание все силы и движения души; иногда изводит более или менее обильные слезы". (*св. Иоанн Кассиан*).

"Не вкусившие сладости слез умиления и не ведающие, какова благодать их и каково действо, — говорит *пр. Никита Стифат*, — думают, что они ничем не разнятся от тех слез, кои проливаются по умершим, придумывая при сем многие виды предположений пустых и недоуменных умозаключений. Но они естественно нам прирождены, и когда гордость ума склонится к смирению, а душа смежит очи свои от прелести видимых благ и устремит их к одному видению первого невещественного света, отрясет всякое к миру чувство и свыше утешения Духа сподобится, — тогда слезы, как воды источника, исторгаются из нее, услаждая чувство ее, и исполняют мысли ее всякого радования и света божественного; и не это только, но и сокрушат сердце, и ум в видении лучшего соделывают смиренномудрым... Умиление от смиренномудрия, и смиренномудрие от умиления Святым порождаются Духом".

Стяжание умиления есть стяжание благодати, и для святых понятие молитвы сливается с понятием благодати.

"Благодать не вера только есть, но и действенная молитва. Ибо в явности показывает истинную веру, имеющую жизнь Иисусову, производима будучи духом посредством любви". (*св. Григорий Синаит*).

О стяжании умиления в молитве *Варсонофий Великий* учит так: "Умиление в молитве приходит от воспоминания о грехах своих. Молящийся должен привести на память дела свои, и то, как бывают судимы делающие подобное... При чтении же и псалмопении умиление приходит, когда кто возбуждает ум свой ко вниманию произносимых им слов и восприимлет в свою душу силу, заключающуюся в них". "Если, несмотря на то, — говорит *он же*, — нечувствие все еще будет оставаться в тебе, не ослабевай, а все труди себя терпеливо, ибо милостив и щедр и долготерпелив Бог, принимающий наше тшание".

Чтение Священного Писания отцы сливали с молитвенным деланием, входя в него через молитву и, в то же

время, в нем почерпая и силу для молитвы, и благодать умиления.

"Непрестанно бодрствуй, поучаясь в законе Божиим, ибо через сие согревается сердце небесным огнем". (*Варсонофий Великий*).

"Читай Евангелие, завещанное Богом к познанию целой вселенной, чтобы ум твой погрузился в чудеса Божии. Чтение твое да будет в невозмущаемой ничем тишине, и будь свободен от многопечительности о теле и от житейского мятежа, чтобы ощутить в душе своей, при сладостном уразумении, самый сладостный вкус, превосходящий всякое ощущение". (*св. Исаак Сирий*).

"К словам таинств, заключенных в Божественном Писании, не приступай без молитвы и испрошения помощи у Бога, но говори: "дай мне, Господи, приять ощущение заключающейся в них силы". Молитву почитай ключом к истинному смыслу сказанного в Божественных Писаниях". (*он же*).

Ученик спросил *св. авву Филимона*: "чего ради, отче, паче всякого Писания Божественного, услаждаешься ты Псалтирью, и чего ради, поя тихо, ты представляешься будто разговаривающим с кем-то?" На это он сказал ему: "Бог так напечатлел в душе моей силу псалмов, как в самом пророке Давиде, и я не могу оторваться от услаждения сокрытыми в них всяческими созерцаниями".

"Чтение Писаний инаково бывает для тех, кои только вводятся в жизнь благочестия, — пишет *пр. Никита Стифат*, — инаково для тех, кои прошли до середины преуспевания, инаково для тех, кои востекают к совершенству. Для одних оно бывает хлебом трапезы Божией, укрепляющим сердца их на священные подвиги добродетели... так что они говорят: "уготовал еси предо мною трапезу сопротив стужающим". (Пс. 22). Для других оно — вино чаши божественной, веселящее сердца их, в исступление их приводящее... так что им свойственно говорить: "Чаша Твоя упоявающая мя, яко державна". (Пс. 22). А для третьих (оно) елей Божественного Духа, умиляющий их душу, укрошающий и смиряющий ее преизбытком божественных озарений... так что и он вопиет: "умастил еси елеем главу мою, и милость Твоя поженет мя вся дни живота моего" (Пс. 22)".

"Блажен, кто ненасытно яст и пьет молитвы и псалмы здесь день и ночь и укрепляет себя славным чтением Писания, ибо такое причащение доставит душе в будущей жизни неистощимое радование". (*пр. Иоанн Карпафский*).

Умиление молитвы не домогается, не ищется как нечто такое, что Господь будто бы обязан нам дать. Но в то же самое время утопающий в холоде и одиночестве сухого молитвенного труда ищет хоть соломинку благодати Божией, хоть единую каплю небесной росы в душевной пустыне. Тут как бы противоречие, разрешаемое только в смирении сердца. Ищется не должное, и не награда, и не высота духовного состояния, а только помощь Божия в его благодати. Вот почему такой строгий учитель, как *еп. Феофан Затворник*, пишет в одном письме к мирскому другу: "Добивайтесь ощутить сладость истинной молитвы. Когда ощутите, тогда это будет манить вас на молитву и воодушевлять к притрудной и внимательной молитве".

Но отцы всегда предупреждают: "Внимай, как бы не пострадать из-за обильной радости духовной и умиления; а пострадаешь, если подумаешь, что они суть плод собственного твоего труда, а не благодати Божией, потому что за это они взяты будут от тебя, и ты много поищешь их в молитве". (*Симеон Боговейный*).

"Кто слезами своими внутренно гордится и осуждает в уме своем не плачущих, тот подобен испросившему у царя оружие на врага своего и убивающему им самого себя". (*св. Иоанн Лествичник*).

"Бывает плач без духовного смирения, и те, которые плачут таким образом, думают, что такой плач очищает грехи. Но они тщетно обманывают себя, потому что лишены бывают сладости Духа, таинственно порождающейся в мысленном сокровище — хранилище души, и не вкушают благодати Божией. Почему таковые скоро воспламеняются гневом и не могут совершенно презреть мира". (*пр. Симеон Новый Богослов*).

Ложное умиление разоблачает себя гневом — вот показатель! Только смирение-любовь может дать чистую воду слез. Корень слова "смирение" — мир. Смирненное сердце — это мирное сердце, и Царство Божие есть правда, радость и мир.

В сердце богоугодно молящихся "мир Божий, который превыше всякого ума", и который несовместим со смятением гнева.

"Если Дух Святой есть мир души, а гнев есть смятение сердца, то ничто не полагает такой преграды пребыванию Его в нас, как раздражительный гнев". (св. *Иоанн Лествичник*).

"Умиление, — говорит *еп. Игнатий Брянчанинов*, — есть ощущение обильной милости (Божией) к себе и ко всему человечеству".

В истинном умилении человек обретает ощущение Божественного мира и любви.

"Мир Божий есть и начало и непосредственное следствие смирения; он — действие смирения и причина этого действия. Он действует на ум и сердце всемогущею Божественною силою. И сила и действие ее непостижимы". (*еп. Игнатий Брянчанинов*).

"Стяжи мир души, и тысячи вокруг тебя спасутся", — как-то сказал *пр. Серафим*.

"Начало безгневия — молчание уст, при возмущении сердца. Срединка — молчание помыслов при тонком смущении души. Конец — непоколебимая тишина, при дыхании нечистых ветров". (*пр. Иоанн Лествичник*).

Но, конечно, не только страсть гнева есть «смятение сердца». В учении отцов все страсти, в том числе и самые скрытые душевные, как нечистая буря, противопоставляются миру Божии и его божественной тишине. Об этом так хорошо говорится в службе Иоанну Предтече, который всегда почитался как особый наставник покаяния и монашества: "Крестителю и предтече Христов, погружаемый всегда сладкими телесными ум мой управи и волны страстей укроти, яко, да в тишине божественной быв, неснословлю тя... Потоцы страстей и воды злобы до души моя внидоша. Блаженне Предтече, потщися скоро изъяти мя, иже речными струями измыл еси бесстрастия тишайшую пучину".

Постепенно привыкая к молитвенному труду, человек невольно начинает желать: во-первых, уменьшать много-сложность своих просьб, и, во-вторых, уменьшать многословность самих молитвенных обращений. Оба эти желания — учат отцы — есть признак, что молитва, как

жизненная сила, начала входить глубоко в душу, точно воды моря в прорытый канал. В том и цель начального молитвенного обучения, чтобы многовидность просьб и количество слов, при одновременном сохранении или даже увеличении времени молитвенного стояния, постепенно рассеивались, как туман при восходе солнца.

Очень ценные указания о видах молитвенных просьб (или о содержании молитвы) дает *пр. Нил Синайский* "Ищи в молитве своей только правды и Царствия, т.е. добродетели и ведения, — и прочее все приложится тебе". "Молись, во-первых, о том, чтобы очиститься от страстей, во-вторых, о том, чтобы избавиться от неведения и забвения, и в-третьих, о том, чтобы избавлену быть от всякого искушения и оставления".

Праведно молиться (надлежит молиться) не о своем только очищении, но и об очищении всякого человека, в подражание ангельскому чину". (*он же*).

"Прежде всего молись о получении слез, чтобы плачем умягчить сущую в душе жестокость". (*он же*).

Молитву о церкви, о властях и о других людях святые вводят в число необходимых устремлений молитвы.

"Поминать в молитве о мире святых церковей и прочее, за сим последующее, — хорошо, ибо о сем апостольское есть завешание; но исполняя сие (надобно сознавать себя) недостойным и не имеющим на то силы; и о просящем (молитвы) хорошо помолиться. И об апостолах молились некоторые". (*Варсонофий Великий*).

"*Авва Зенон* говорил: кто хочет, чтобы Бог скоро услышал молитву его, тот, когда встанет для совершения ее и прострет руки горе, прежде всякой другой молитвы, даже прежде молитвы о душе своей, да принесет молитву о врагах своих, и ради этого Бог услышит всякую молитву его".

За сокращением видов молитвенных прошений следует искание краткой молитвы. Душа должна искать краткую молитву — учат отцы.

"Тому, кто много говорит в молитве своей неудобно (трудно) сознавать все, что говорится в молитве". (*пр. Симеон Новый Богослов*).

"Узда неужержимому помыслу — однословная молитва". (св. *Илия-пресвитер*).

Кроме того только при своей краткости молитва может быть сохраняема при общении с людьми и занятости делами, только при своей краткости она может стать непрестанной, т. е. сделаться прочным хранителем памяти Божией. Известно молитвенное правило *пр. Серафима* для людей, обремененных мирскими делами, а также для неграмотных: после краткого утреннего молитвословия (трижды "Отче наш" и "Богородице" и один раз "Верую") всякий христианин, учил преподобный — пусть занимается своим делом, на которое поставлен или призван. Во время же работы, дома или на пути куда-нибудь, пусть читает тихо: "Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного"; а если окружают его другие, то, занимаясь делом, пусть говорит умом только: "Господи помилуй".

Но непрестанной может быть только такая краткая молитва, которая воспринимается как совсем своя, из своего сердца исходящая, как самая теплая и родная. Поэтому еще до перехода к непрестанной молитве человек начинает молиться своими словами. "Навыкайте, — пишет *еп. Феофан*, — молиться своей молитвой... И поутру и вечером изъясляйте Господу свои кровные нужды, паче душевные, а то и внешние, говоря Ему детски: видишь, Господи, болезнь и немощь! Помоги и уврачуй!"

*

"Какими желаем быть во время молитвы, — говорит св. *Иоанн Кассиан*, — такими должны мы себя уготовить прежде молитвы, и чего не желали бы мы видеть теснящимся в нас, когда молимся, то поспешим прежде того изгнать из сокровенностей сердца нашего, да возможем исполнить апостольскую заповедь: "непрестанно молитесь".

Заповедь о непрестанной молитве есть такая же заповедь, как и другие, если не высшая, и она обращена ко всем христианам. Только исполнением ее можно сохранить, по учению отцов, непрестанную память о Боге и, тем самым, очистить сердце.

"Желающий очистить сердце свое, — пишет бл. *Диалок*, — да разогревает его непрестанно памятью о Господе Иисусе, имея это одно предметом богомыслия и непрестанным духовным деланием. Ибо желающим сбросить с себя гнилость свою не так следует вести себя, чтоб иногда молиться, а иногда нет, но всегда должно упражняться в молитве с блюдением ума, хотя бы жил далеко от молитвенных домов... Тот, кто иногда помнит о Боге, а иногда нет, что, кажется, приобретает молитвою, то теряет пресечением ее... (Необходимо) всегдашнюю памятью о Боге потреблять земляность сердца, чтобы таким образом, при постепенном испарении худа под действием огня благого памятования, душа с полною славою совершенно востекла к естественной своей светозарности".

"Без непрестанной молитвы невозможно приблизиться к Богу". (св. *Исаак Сири*).

Если, по определению св. *Иоанна Лествичника*, совершенная молитва есть со-бытие человека с Богом, то по существу только непрестанным, как единство дыхания, это со-бытие может быть. Непрестанность молитвы есть духовно-логический вывод из самого понятия ее. Вот почему учению отцов о непрестанной Иисусовой молитве, особенно в ее высшей и сокровенной форме молитвы сердечной, есть и самое важное, и самое страшное из всего того, что они нам оставили. Приводимые ниже выписки имеют целью дать только общий и внешний очерк учения отцов о сокровенной молитве, никак, конечно, не претендуя на практическое руководство в ее обучении.

"Сия божественная молитва, — говорит бл. *Симеон арх. Солунский*, — есть следующая: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Она есть и молитва, и обет, и исповедание веры... Да имеют правилом всегда творить молитву сию все — и освященного чина лица, и монашествующие, и миряне".

Еп. *Игнатий Брянчанинов*, рассматривая вопрос о пользовании всеми этой молитвой, прежде всего уточняет ее различные виды и степени. Устное употребление ее, говорит он, преподано как общее правило для всех христиан. Вслед за устным употреблением этой

молитвы идут, говорит *еп. Игнатий*, две высшие степени ее:

1) "Умная (молитва), когда произносится умом с глубоким вниманием, при сочувствии сердца";

2) "Сердечная, когда произносится соединенными умом и сердцем, причем ум как бы нисходит в сердце, и из глубины сердца воссылает молитву".

"Кто с постоянством и благоговением, — говорит *еп. Игнатий*, — занимается внимательно молитвою (устной), произнося слова ее громко или шепотом, смотря по надобности, и заключая ум в слова; кто при молитвенном подвиге постоянно отвергает все помыслы и мечтания, не только греховные и суетные, но по-видимому и благие, — тому милосердный Господь дарует в свое время умную и сердечную молитву".

"Слова (молитвы), — говорит *он же*, — первоначально должно произносить языком... заключая, по совету *св. Иоанна Лествичника*, ум в слова. Мало-помалу молитва устная перейдет в умственную (умную), а потом в сердечную. Но на переход этот нужны многие годы. Не должно искать его преждевременно; пусть он совершится сам собою, или, правильнее, да дарует его Бог в известное Ему время, смотря по духовному возрасту и обстоятельствам подвижника. Смиранный довольствуется тем, что сподобляется памятовать Бога".

Имея в виду опасность прельщения при пользовании сердечной молитвой мирянами, *еп. Игнатий* считает, что они могут совершать Иисусову молитву или как устную, или же в сочетании устной с "умною".

"Первым образом, — говорит он, — могут и должны заниматься Иисусовой молитвою не только монахи, живущие в монастырях и занятые послушанием, но и миряне. Такая внимательная молитва может назваться и умною и сердечною, как совершаемая частью одним умом, и в тщательных делателях всегда при участии сердца, выражающемся чувством плача и слезами по причине умиления".

"Так страшна эта вещь, т. е. молитва не просто умная, но действующая умом в сердце (сердечная), — что и истинные

послушники всегда находятся в страхе и трепете, боясь и трепеща, чтоб не пострадать в этой молитве (от) какой-нибудь прелести. Тем более мирским людям, жительствоющим без послушания, если они от одного чтения книг понудятся (на эту) молитву, предстоит опасность впадения в прелесть". (*старец Паисий Величковский*).

Как мы увидим далее, опасения этих двух близких нам по времени духовных руководителей идут от древних отцов. Как говорили они, высшая степень этой молитвы есть "меч Божий", и именно поэтому они опасались, что, вместо поражения врагов, он будет употреблен на самозаклание. Но убедительно не это справедливое опасение, а то, что не смотря на него, все они, и древние и новые отцы, — упорно и настойчиво все же учат этой молитве. Точно какая-то величайшая опасность для человека, превидимая ими, ощущаемая ими, понуждает их пренебречь опасностью меньшей. Эта величайшая опасность в том, что в мире совершенно скудеет память Божия. В эпоху еще казалось бы полного внешнего благополучия православной Византии, в XIV веке, *св. Григорий Синаит* не нашел на Афоне почти ни одного монаха, который бы знал сердечную молитву Иисусову и жил в ней. Все уже переходило на внешность, и все больше забывалось то истинное, внутреннее, пламенное единение с Богом в благодатной молитве, о котором все учение древних отцов.

Человек обретает в непрестанной молитве искомую им краткость, и, в то же время, ища своих собственных теплейших слов к Богу, он в этих не им составленных словах находит свое самое нужное и свое самое собственное: исповедание Христа — Богом, а себя — грешником, к Его любви взывающим. Основание молитвы — земля ее — полнейшее смирение, восхождение ее или небо — любовь Божия.

"Начало всякого боголюбезного действия есть с верою призывание спасительного имени Господа нашего Иисуса Христа... и с сим призыванием мир и любовь". (*бл. Каллист и Игнатий*).

"Память о Тебе греет душу мою, и ни в чем не находит она покоя на земле, кроме Тебя, и потому ищу Тебя слезно

и снова теряю, и снова жаждет ум мой насладиться Тобою". (*авва Силуан*, ЖМП 1956 г. № 1, 2, 3).

"Кто любит Господа, тот всегда Его помнит, и память Божия рождает молитву. Если не будешь помнить Господа, то и молиться не будешь, а без молитвы душа не пребудет в любви Божией, ибо через молитву приходит благодать Святого Духа". (там же).

"Таково свойство любви! — она непрестанно помнит о любимом, она непрестанно услаждается именем любимого. Имя Господа — паче всякого имени: оно источник услаждения, источник радости, источник жизни". (*еп. Игнатий Брянчанинов*).

Укореняя в себе, всей своей жизнью, исполнением всех евангельских заповедей любовь — память Божию, человек тем самым неизбежно будет идти к тому, чтобы укоренять в себе непрестанную молитву — любовь. А когда любовь этой молитвы оскудевает и молитва становится суха, как сухие травы в пустыне, человек все продолжает в своем смирении идти по этой пустыне к любви Божией, к светлым водам благодати. Любовь — память рождает молитву, без труда молитвы душа не пребудет в памяти — любви. Вот почему отцы саму молитву часто называли "памятью Божией": в их святом совершении ее она была уже вполне и памятью, и любовью к Богу. "Монах, — говорили они, — должен иметь память Божию вместо дыхания". А другие говорили так: "должен иметь любовь Божию, предваряющую дыхание".

"Память Божия или умная молитва, — говорит *св. Григорий Синаит*, — выше всех деланий, она есть глава и добродетелей, как любовь Божия".

В этой взаимозаменяемости терминов памяти и любви раскрытие содержания истинной сокровенной молитвы.

При сухости молитвенного труда тем более усиливается смиренное сознание своего ничтожества и искание помощи Божией в Его благодати. Поэтому и в этом сухом труде будет доказательство любви к Богу, столь *страшной демонам*.

Варсонофия Великого спросил ученик: "Когда молюсь и не ощущаю силы произносимых слов, по причине сердечного нечувствия, то какая мне польза от сего (моления)?" Старец отвечал: "Хотя ты не ощущаешь (силы того, что произносишь),

но бесы ощущают ее, слышат и трепещут. Итак, не переставай упражняться в молитве, и мало-помалу, помощью Божиею, нечувствие твое преложится в мягкость".

"Непрестанно молиться, — говорит *св. Максим Исповедник*, — значит содержать ум прилепленным к Богу, с великим благоговением и теплым желанием".

Непрестанная молитва есть искание непрестанной любви, с одновременным непрестанным признанием себя грешником, т. е. ее недостойным, и поэтому посягательство на эту молитву вне этого смиренного устремления к любви есть не только безнадежное дело, но и великое безумие. Нестерпимей всего для молитвы — это подмена ее устремления — детской любви к Богу. Всякая фальшь в этом, всякое искание стать каким-то "доктором молитвенных наук" есть духовное уродство, гибельное для человека.

"Бесстыдно и дерзостно желающий внити к Богу, — говорит *св. Григорий Синаит* о молитве, — удобно умерщвляем бывает от бесов, если попушено им будет сие". "Когда предстанешь в молитве пред Богом, сделайся в помысле своем как бы немощствующим младенцем". (*св. Исаак Сирин*).

"С простотой и доверчивостью младенцев примем учение о молитве именем Иисуса; с простотою и доверчивостью младенцев приступим к упражнению этой молитвой: один Бог, ведающий вполне таинство ее, преподаст нам его в доступной для нас степени". (*еп. Игнатий Брянчанинов*).

"Брат сказал *авве Сисою (Великому)*: усматриваю, что память Божия (умная молитва) постоянно пребывает во мне. Старец сказал: это невелико, что ум твой постоянно направлен к Богу; велико то, когда кто увидит себя худшим всякой твари".

Еп. Игнатий делает к этому рассказу такое примечание: "Старец сказал так по той причине, что истинное действие умной молитвы всегда основано на глубочайшем смирении и проистекает из него. Всякое иное действие умной молитвы неправильно и ведет к самообольщению и гибели".

Тут было очевидно «иное действие», — была потуга на молитву, была «умная молитва», но не было памяти — любви, которая есть ее живоносный источник, исходящий из земли смирения. По учению отцов очевидно и то, что если

такая потуга не приведет к душевной гибели, то сама собою прекратится.

"Когда душа возмущается гневом или отягчается многоядением, или сильной печалью омрачается, — говорит бл. Диадокх, — тогда ум не может держать памятование о Боге, хотя бы и понуждаем был к тому как-нибудь... Когда же она бывает свободна от таких возмущений, тогда, если иногда и успеет забвение на мгновение украсть мысль о возлюбленном Господе, ум, восприняв свою энергию и живость, тотчас опять с жаром емлется за многовожденную оную и спасительную молитву; ибо тогда сама благодать обогомысливает душе и совзывает: Господи Иисусе Христе! подобно тому как мать, уча дитя свое, многократно повторяет вместе с ним имя — "отец", пока не доведет его до навыка... Посему апостол говорит, что "Сам Дух способствует нам в немощах наших; о чесом бо помолимся, якоже подобает, не вемы, но Сам Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизглаголанними". (Рим. 8). Ибо, так как мы младенчествуем пред совершенством сей молитвенной добродетели, то всеконечно имеем нужду в Его помощи; чтобы, когда неизреченная Его сладость обьмет и усладит все наши помыслы, мы всем расположением подвиглись памятовать о Боге и Отце нашем и любить Его".

"Молитва наша взойдет в свойственное ей совершенство, — говорит св. Иоанн Кассиан, — когда в нас совершится то, о чем молился Господь к Отцу Своему: "Да любы, еюже Мя возлюбил еси, в них будет", и еще: "якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут". (Иоанн 17, 26, 21). Это будет тогда, когда вся наша любовь, все желанья, вся ревность, все стремление, вся мысль наша, все, что видим, о чем говорим, чего чаем, — будет Бог, и когда то единение, которое есть у Отца с Сыном, у Сына с Отцом, излиется в наши сердца и умы, — чтобы, как Он искреннею чистотою и неразрывною любит нас любовью, так и мы соединены были с Ним чистою и неразделимою любовью. Достигший сего вступает в состояние, в коем не может не теплиться в сердце его непрестанная молитва. Тогда всякое движение жизни его и всякое устремление сердца его будет единая

непрерывная молитва, предвкушение и залог вечно блаженной жизни".

Поэтому все учение отцов приводит к тому, что к воспитанию в себе тех нелицемернейших чувств смирения и любви к Богу и отречения для Него от всякого зла, которыми дышит аностольское время, — этот золотой век любви, непрестанно молившейся, — и нужно прежде всего обращаться в рассуждении о непрестанной сокровенной молитве. Тогда все учение о ней делается простым и ясным. Надо, по словам апостола, чтобы мы не "укленились от простоты во Христе", а эта простота есть простая к Нему любовь, осуществляемая в жизни.

"Святые соединены с Богом простотою своею. Простоту найдешь в человеке, исполненном страха Божия. Имеющий простоту совершен и подобен Богу; благоухает он благоуханием сладчайшим и благодатным; исполнен он радости и славы; покоится в нем Дух Святой". (Антоний Великий).

Память-любовь соединяет ученика с Учителем, и тогда, по благодати Божией, начинается истинная молитва. "Бог есть давай молитву молящемуся".

Благодаря несовершенству человека, память-любовь не пребывает всегда. Больше того: она все время теряется. И вот труд непрестанного молитвенного стояния в сухости сердца, как бы оставленного благодатью, и нужен, чтобы роса божественного утешения опять опустилась в пустыню души.

Двойное определение аввы Силуана совершенно точно, и хочется еще раз его повторить: любовь-память рождает молитву, без молитвы душа не пребудет в любви. Первая часть определения — дело благодати Божией, огненный след явления душе Христа, вторая часть — наш труд по взысканию Бога. Говоря о подвиге стяжания умной молитвы, св. Григорий Палама пишет: "Хотя терпение следует само собою за любовью, ибо "любовь все покрывает" (I Кор. 13), но мы научаемся с самопринуждением добре совершать дело терпения, чтобы через него достигнуть любви".

"Любовь к Богу можно возжечь в душе одной только непрестанной молитвой". (Парфений Киево-Печерский).

"Непрестанная молитва (память Иисусова) едино есть с любовью к Господу". (*Каллист Тиликуд*).

О приучении себя к постоянной молитве сердца *еп. Феофан* пишет так: "Существо дела есть приобрести навык стоять умом в сердце. Надо ум из головы свести в сердце и там его усадить, или, как некто из старцев сказал: "сочетать ум с сердцем". Как этого достигнуть? Ищи и обрящешь. Удобнее всего достигнуть хождением перед Богом и молитвенным трудом, особенно хождением в церковь. Но помнить надо, что наш только труд, а само дело, т. е. сочетание ума с сердцем, есть дар благодати, подаемый, когда и как хочет Господь".

"Признак духовной жизни, — говорил *пр. Серафим*, — есть погружение человека внутрь себя и сокровенное делание в сердце своем... Предочистив душу покаянием и добрыми делами, при искренней вере в Распятого, закрыв телесные очи, должно погрузить ум внутрь сердца и вопиать непрестанно призывая имя Господа нашего Иисуса Христа. Тогда, по мере усердия и горячности духа и любви к Возлюбленному, человек в призываемом имени находит улажнение, которое возбуждает желание искать высшего просвещения".

"Бога любящий вожделевает всегда с Ним пребывать и беседовать. Достигается же сие чистою молитвою. О ней и следует нам пешисть, сколько сил есть. Она присвоает нас Владыке нашему... "Боже, Боже мой! к Тебе утренюю, возжажда Тебе душа моя" (Пс. 62). Ибо утренюет к Богу тот, кто, удалив ум свой от всего худого, непрерывно уязвленным бывает Божественною любовью". (*св. Феофор Эдесский*).

"Любовь рождает знание", — божественное просвещение души, та любовь, которую, по слову *св. Исаака Сирина*, "упоевались некогда апостолы и мученики".

Все учение отцов о непрестанной молитве, не по форме, а по содержанию, есть только возвращение к первохристианству и вместе с тем продолжение его. Так это ими и понималось. Говоря о пути сердечной молитвы и подводя итог всему многовековому учению о ней предыдущих отцов, бл. Каллист и Игнатий пишут: "Сей путь, сие духовное по Богу жительство и священное делание истинных

христиан, есть истинная, во Христе сокровенная жизнь. Его проложил и к нему тайноводствовал Сам Богочеловек, сладчайший Иисус; по нему прошли божественные апостолы, по нему проследовали бывшие после них, и им, как и должно, последовавшие славные руководители наши".

Говоря о непрестанной молитве, *св. Максим Исповедник* пишет: "Божественное Писание не повелевает ничего невозможного. Сам апостол, чрез коего изречено сие, и пел и читал и исправлял дела служения своего, — и однако же непрестанно молился. Непрестанно молиться — значит содержать ум прилепленным к Богу с великим благоговением и теплым желанием, висеть на уповании на Него, и о Нем дерзать во всем, — в делах и приключениях. Так расположен будучи, апостол говорит: "кто отлучит нас от любви Божией...". Так расположен будучи, апостол непрестанно молился, ибо во всех, как сказано, делах и приключениях своих висел на надежде Божией. Да и все святые всегда радовались скорбям в чаянии чрез них придти в навыкновение божественной любви".

И все наше непонимание или ужасание перед этой молитвой имеет своим объяснением только то, что в нас — нет первохристианства — его любви, смирения и отречения от мира. — У христиан апостольского века ум был всегда в сердце, как птица в гнезде. Им обучения не требовалось: ум сам молился в смиренном дыхании любви. А в средние и новые века христианской истории это чистейшее дело — труд непрестанного нишего взывания к Богу — люди стали делать в своем безумии источником питания гордости.

Варсонофия Великого спросил его ученик: "враг внушает мне, что непрестанное призывание имени Божия ведет к возношению, ибо человек может при том думать, что он хорошо делает. Как надлежит помышлять о сем?" Великий старец ответил: "Мы знаем, что болящие всегда требуют врача и врачеваний его, и обуреваемые непрестанно спешат к пристанищу, дабы не постигло их потопление... Итак, научимся тому, что во время скорби непрестанно надобно призывать милостивого Бога. Призывая же имя Божие, да не возносимся помыслом. Кто, кроме безумного, превозносится, получая от кого-либо помощь? Мы же, имеющие нужду в

Боге, призывая имя Его в помощь на сопротивных, если не безумны, не должны возноситься помыслом, ибо по нужде призываем и скорбя прибегаем. Сверх сего, мы должны знать, что непрестанно призывать имя Божие есть врачевание. Как врач изыскивает врачевание или пластырь на рану, и сии действуют, причем больной и не знает, как сие (делается), так точно и имя Божие, будучи призываемо, убивает все страсти, хотя мы и не знаем, как сие совершается”.

”То, чтобы молиться непрестанно, явно противится гордости... Тот склоняет себя к смирению, кто, зная, что не может совершить никакой добродетели без помощи Божией, не перестает всегда молиться Богу, чтобы Он совершил с ним милость. Почему непрестанно молящийся, если и сподобится совершить что-либо, то зная, почему он совершил сие, не может возгордиться... все свои успехи относит к Богу, всегда благодарит Его и всегда призывает Его, трепеща, как бы ему не лишиться таковой помщи. Он со смирением молится и молитвою смиряется”. (св. *авва Дорофей*).

Для первохристианства потому было невозможно возгордиться от молитвы, что оно жило всецело в ощущении благодати, в сознании того, что совершение молитвы есть дело Духа Божия. ”Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными”. (Рим. 6, 26). ”Молясь Духом Святым сохраняйте себя в любви Божией”. (Иуд. 20). Именно об этом же учили и отцы. ”Молиться с разумным сознанием никак невозможно, не сделавшись причастником Духа Святого. То, силою чего мы молимся, как должно, есть Дух Святой”. (пр. *Симеон Новый Богослов*).

”Ум наш, когда памятью Божиею затворим ему все исходы, имеет нужду, чтобы ему дано было дело какое-нибудь, в удовлетворение его присподвижности. Ему должно дать только священное имя Господа Иисуса, Которым и пусть всецело удовлетворяет он свою ревность в достижении цели. Но ведать надлежит, что, как говорит апостол, ”никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым”. (бл. *Диалок*).

Чтобы не принять учение отцов о непрестанной сокровенной молитве в известной нам ее форме за какую-то магию

слов и не спутать смиренного взывания христианской любви с какими-то заклинаниями факира или же с медитацией праздного ума, полезно знать еще один факт. Не все древние отцы оставили нам учение о ней в привычной нам форме молитвы Иисусовой. Апостольский век тоже не оставил нам его, хотя в Посланиях раскрываются высочайшие тайны Царства Божия.

Св. Иоанн Кассиан так пишет в IV веке о непрестанной молитве: ”Для достижения последнего совершенства в молитве надлежит утвердиться в памятовании о Боге неотходном, к чему средством служит краткая, часто повторяемая молитва. Отцы наши нашли, что стремящийся к всегдашнему памятованию о Боге должен приобрести навык непрестанно повторять следующую молитву: «Боже, в помощь мою вонми, Господи, помощи мне потщися»”.

Принцип непрестанности и ”последнего совершенства” памяти Божией тот же, а слова другие, хотя, конечно, с теми же самыми чувствами нищеты человеческой и могущества Божия. И вот эта разность форм и одинаковость содержания есть исключительно важный факт. И те отцы, которые не оставили нам известного нам учения о сокровенной молитве Иисусовой в апостольский век, — пребывали в том же состоянии благодатного молитвенного просвещения, которое достигается этой молитвой в привычной нам форме. Это именно тот единый евангельский путь сокровенной во Христе жизни, о котором писали бл. *Каллист и Игнатий*, и который для своего выражения и осуществления может иметь несколько иные слова. Дело не в магии слов, а в том, чтобы в человеке был создан храм для вселения Святому Духу. Существо дела — любовь к Богу, смирение перед Ним, чистота для Него, — как три стороны пирамиды, восходящей к Богу. ”Всяким молением и прошением молитесь на всякое время духом”, — говорит апостол. И чистейшее дыхание первохристианства во ”всяких молениях” пребывало во все той же, или еще большей, любви к Богу, которую позднейшие отцы достигали путем молитвы Иисусовой в привычной нам форме. Всякая попытка доказать непрерывность от апостолов именно этой *формы*, помимо своей несостоятельности, есть уже уклонение в формализм.

“Дело не в словах, — пишет *еп. Феофан*, — а в краткой молитве. Такая не одна была в употреблении. Св. Кассиан пишет, что в Египте употребляли такую молитву: Боже, в помощь мою воижди... В других местах другие были в ходу молитовки... Между ними и молитва Иисусова. Но потом отдано преимущество молитве Иисусовой”.

Поскольку мы видим только форму, а не понимаем существа, отцы настойчиво учат о крайней осторожности в искании сокровенной молитвы. Наша сердечная неграмотность в том, что мы не понимаем, что подход к сокровенной молитве — это вся жизнь, действующая евангельски, или, по терминологии отцов, вся та “дейтельная добродетель”, которою очищается сердце. А только “чистые сердцем узрят Бога” в молитве.

“Никто из непосвященных, или еще “млека требующих” (Евр. 5) да не касается того, чего касаться не в свое время запрещено... Ибо не знающему букв невозможно читать книг”. (*бл. Каллист патриарх*).

“Знание букв” — это прежде всего знание своей греховности. Человек сначала должен понять, что дом его горит, что он в смертельной опасности, чтобы действительно искренно возопить к Богу: “Господи помилуй!” Только при таком вопле смертельно испуганного сердца возможна всякая истинная молитва, и только при нем она станет жизнью души.

“С дыханием твоим соедини трезвение и имя Иисусово и помышление о смерти незабвенное и смиренное”, — говорит *пр. Исихий Иерусалимский*, т. е. вся жизнь Евангелия должна быть в дыхании.

“Не ищи прежде времени, — говорили еще отцы, — что будет в свое ему время: ибо и доброе не добро, если не добре делается”.

“Не полезно, прежде делания первейших дел, знать о вторых: ибо знание без делания надымает, а любовь созидает, потому что все терпит” (*бл. Каллист и Игнатий*).

“Тшашийся достигнуть чистой молитвы (сердечной) в безмолвии, должен шествовать к сему в трепете великом, с плачем и испрашиванием руководства у опытных, непрестанно слезы проливая о грехах своих... Величайшее есть оружие

держат себя в молитве и плаче, чтобы от молитвенной радости не впасть в самомнение, но сохранить себя невредимым, избрав радость-печаль. Ибо чуждая прелести молитва есть теплота с молитвою к Иисусу, ввергшему огонь в землю сердца нашего, теплота, пожигающая страсти, как терния, вселяющая в душу веселие и тишину, и приходящая не с десной и не с левой стороны, или свыше, но в сердце источающаяся, как источник воды от животворящего Духа”. (*св. Григорий Синаит*).

“Царство Божие внутри вас есть”.

“Духовное действие Божией благодати в душе совершается великим долготерпением... Дело благодати тогда уже оказывается (в человеке) совершенным, когда свободное произволение его, по многократном испытании, окажется благоугодным Духу”. (*Макарий Великий*).

“Ведай, что в молитве успеть нельзя без успевания вообще в христианской жизни. Неизбежно необходимо, чтобы на душе не лежало ни одного греха, не очищенного покаянием... И постоянно держи в сердце смиренное сокрушение”. (*пр. Никодим Святгорец*).

“Только тот, чей ум, отрешившись от уз всех страстей, глубоко умиротворится, и чье сердце всем устремлением накрепчайше прилепится к Богу, может в совершенстве исполнить апостольскую заповедь: “непрестанно молитесь”. (*св. Иоанн Кассиан*). “Если желаешь стяжать молитву, отрекись от всего, да все наследуешь”. (*пр. Нил Синайский*).

“Все наследуешь” — это не условная фраза, а точное учение отцов.

“Начнем дело молитвы, — пишет *св. Марк-подвижник*, — и, преуспевая постепенно, найдем, что не только надежда на Бога, но и твердая вера и нелицемерная любовь, и незлопамятность, и любовь к братии, и воздержание, и терпение, и ведение внутреннее, и избавление от искушения, благодатные дарования, сердечное исповедание и усердные слезы — через молитву подаются верным; и не только сие, но и терпение приключающихся скорбей, и чистая любовь к ближнему, и познание духовного закона, и обретение правды Божией, и наитие Духа Святого и подаяние духовных сокровищ, и все, что Бог обещал дать верным

здесь и в будущем веке. Одним словом, невозможно иначе восстановить в себе образ Божий, как только благодатию Божиею и верою, если человек с великим смиренномудрием пребывает умом в неразвлеченной молитве". (то же у *Исих. Иер.*).

У древних отцов иногда трудно различить, о какой из трех степеней Иисусовой молитвы — устной, умной или сердечной — они говорят, и относится ли говоримое ими только к монахам, пребывающим в безмолвии, или ко всем христианам. Но вот слова *еп. Феофана Затворника* к мирской девушке: "Когда сердце ваше затеплится теплотою Божиею, с того времени начнется собственно внутренняя ваша переделка... Когда венья долго лежит под лучами солнца, она сильно нагревается: так будет и с вами. Держа себя под лучами памяти Божией и под чувствами в отношении к Нему, вы будете все более и более нагреваться неземною теплотою, а потом и совсем станете горячая, и не горячая только, но и горящая. И исполнится на вас: "огня приидох воврещи на землю" сердце человеческих, и ничего столько не желаю, как того, чтобы он у всех поскорее возгорелся". (Лук. 12, 49).

"Дело молитвы, — пишет *он же*, — не безмолвников только есть дело, а всех христиан, и это до самых высших ее степеней. Все степени молитвы — Божис суть дело. У Бога же все равны, и смотрит Он только на сердце. Как сердце к Нему, так и Он к сердцу, чье бы сие сердце ни было. Надо всегда держать молитву. Бог везде есть и все видит, и очи Его светлейшие паче солнца. Память об этом надо вسدрить в сердце или слить с сознанием".

В другом месте *еп. Феофан* опять говорит о том же: "Не возноситься к Богу молитвенно мы не можем, ибо природа наша духовная того требует. Вознестись же к Богу мы иначе не можем, как умным действием. Есть правда умная молитва при словесной или внешней — домашней или церковной, — и есть умная молитва сама по себе, без всякой внешней формы или положения телесного; но существо дела там и здесь одно и то же. В том и другом виде она обязательна и для мирских людей. Спаситель заповедовал — войти в клеть свою и молиться там Богу Отцу своему втайне. Клеть эта, как

толкует св. Дмитрий Ростовский, означает сердце. Следовательно, заповедь Господня обязывает тайно в сердце умом молиться Богу. Заповедь эта на всех христиан простирается... Непрестанно молиться иначе нельзя, как умною молитвою в сердце. Умная молитва для всех христиан обязательна; а если обязательна, то нельзя говорить, что едва ли возможна: ибо к невозможному Бог не обязывает". (*еп. Феофан*).

Очевидно, не различая мирских и не мирских, *еп. Феофан* следует пути некоторых древних отцов.

"Возможно и в келии сидящему, — читаем мы в одной записи Патерика, — помыслами блуждать вне, и по рынку ходящему быть трезвенцу, как в пустыне, в себя возвращаясь и Богу единому внимая, не принимая впечатлений, толпою нападающих на душу... Ибо истинно мудрый человек, имея тело как бы ... безопасным местом убежища (для души), на рынке ли бывает, или на праздничном торжестве, на горе или на поле, или среди толпы людской, — сидит в своем естественном монастыре, собирая ум внутрь и любомудрствуя о подобающем ему".

Варсонофия Великого спросили: "Как может человек непрестанно молиться?" — Старец дал такой ответ: "Когда кто бывает наедине, то должен упражняться в псалмопении и молиться устами и сердцем; если же кто будет на торгу и вообще вместе с другими, то не следует молиться устами, но одним умом. При сем надлежит соблюдать глаза, для избежания рассеяния помыслов и сетей вражиих".

Этот же авва сказал: "Непрестанную память Божию каждый может сохранить по своей мере".

"Все христиане имеют долг от мала до велика, — читаем мы в житии *св. Григория Паламы*, — молиться всегда умною молитвою: Господи Иисусе Христе, помилуй мя! так, чтобы ум их и их сердце навык имели всегда изрекать священные слова сии... Бог не заповедал нам ничего невозможного... Почему и это можно исполнить всякому, ревностно ищущему спасения души своей. Ибо если бы это было невозможно (для мирян), то было бы невозможно для всех вообще мирян, и тогда не нашлось бы столько и столько лиц, кои среди мира исправляли сие дело

непрестанной молитвы, как следует, из коих да будет представителем многих других такого рода лиц отец святого Григория Солунского, дивный оный Константин, который при всем том, что... занимался каждодневно государственными делами, кроме своих домашних дел, как имевший большое имущество... жену и детей, при всем том был неотлучен от Бога и... привязан к умной непрестанной молитве... Премногое множество было и других подобных, которые, живя в мире, всецело были преданы умной молитве”.

Всю силу своего учения о сокровенной молитве отцы направляют на то, чтобы воспитать в учениках своих, т. е. у всех христиан, ясное понимание духовного существа и смысла молитвы: смирения и любви. Смирение в молитве плачет, а любовь обретает свет божественный.

“Слезы в молитве, — говорит *св. Исаак Сирий*. — суть знамение милости Божией, которой сподобилась душа покаянием своим, знамение того, что она принята и начала входить в поле чистоты слезами”.

“Начало плача, — говорит *св. Григорий Палама*, — есть как бы некое искание обучения Божия, которое кажется недостижимым. Почему при сем произносятся некоторые как бы предобручальные слова теми, кои по сильному желанию сего плачут... Конеч же плача — брачное в чистоте совершенное сочетание... Истинная жизнь души есть божественный свет, от плача по Богу приходящий... Почему некто из отцов сказал: “плач делает и хранит”.

“Молитва, со вниманием и трезвением совершаемая внутрь сердца, без всякой другой мысли и воображения какого-либо, словами: “Господи Иисусе Христе Сыне Божий”, — невещественно и безгласно воспростирает ум к Самому призываемому Господу Иисусу Христу; словами же: “помилуй мя” — опять возвращает его и движет к себе самому, так как не может еще не молиться о себе. Но когда он достигнет опытом совершенной любви, тогда всецело воспростирается он к единому Господу Иисусу Христу, о втором (т. е. помиловании) приняв действительное извещение. Почему, как говорит некто, взывает только: “Господи, Иисусе Христе!” (*бл. Каллист и Игнатий*).

“Непрестанно убо пребудь с именем Господа Иисуса, — да поглотит сердце Господа и Господь сердце, и будут два сии воедино”. (*св. Иоанн Златоуст*).

“Крепка яко смерть любви... Мирю излиливное имя Твое”.

“Достигший непрестанного пребывания в молитве, — говорит *св. Исаак Сирий*, — достиг высшего предела всех добродетелей и отселе делается жилищем Святого Духа. Если кто не прияд действительно благодати Утешителя, тот не может со свободою и радостью совершать этого пребывания в молитве. Дух, как сказано, когда вселится в человека, не престаёт от молитвы: ибо Сам Дух непрестанно молится. Тогда и в сонном и в бодрственном состоянии молитва не прекращается в душе человека; но употребляет ли он пищу и питье, спит ли или что иное делает, даже при глубоком сне благоухание и испарение молитвы беструдно исходит из его сердца. Тогда эта молитва не разлучается с ним, но ежечасно она в нем и с ним. Таковая молитва, если и умолкает извне человека, то опять она же совершает в нем служение свое тайно. Молчание чистых называет молитвою некто их мужей Христоносных; потому что помыслы их суть божественные движения; движение же чистого сердца и ума суть кроткие гласы, которыми сокровенно воспевается Сокровенный”.

МОЛИТВА НЕСКОНЧАЕМОЕ ТВОРЧЕСТВО *

Молитва есть бесконечное творчество, высшее всякого иного искусства или науки. Чрез молитву входим мы в общение с Безначальным Бытием. Или иначе: жизнь Само-сущего Бога входит в нас по этому каналу. Молитва есть акт наивысшей мудрости, всепревосходящей красоты и достоинства. В молитве — святое упоение нашего духа. Но пути сего творчества сложны. Тысячи раз переживем мы и пламенное устремление к Богу, и повторяющиеся отпадения от Света Его. Часто и многообразно опустим мы неспособность нашего ума подняться к Нему; иногда будем стоять на грани как бы безумия и с болезнью в сердце высказывать Ему наше бедственное состояние: "Ты дал мне заповедь Твою — любить, и я принимаю ее всем моим существом; но вот, во мне самом не обретаю силы этой любви... Ты есть Любовь; прииди же Ты Сам и вселись в меня, и совершай во мне все то, что Ты заповедал нам, ибо заповедь Твоя неизмеримо превышает меня... Изнемогает мой ум постигать Тебя. Не может мой дух проникнуть в тайны жизни Твоей... хочу во всем творить волю Твою, но дни мои истекают в безвыходных противоречиях... Страшусь потерять Тебя за те злые мысли, что в сердце моем; и страх этот распинает меня... Прииди же и спаси меня утопающего, как спас Ты Петра, дерзнувшего пойти к Тебе навстречу по морским водам". (ср. Мф. 14:28-31).

По временам нам кажется, что действие молитвы слишком медлительно: несоразмерно краткости нашего существования; и крик вырывается из груди: "Поторопись!". Он не всегда сразу откликается на наш призыв. Как некий плод на дереве, Он оставляет душу нашу быть опаленною солнцем, вынести удары холодных и жгучих ветров, томиться

* Войдет в сборник статей архим. Софрония о молитве, долженствующий выйти в изд. YMCA-Press в 1990 г.

жаждой или выносить потоки дождей. Но если мы не выпустим из рук наших край Его ризы, то увидим благой результат.

Нам необходимо пребывать в молитве возможно большее время, чтобы Его непобедимая сила проникла в нас и сделала бы нас способными противостоять всем разрушительным влияниям. И когда возрастет в нас сила сия, тогда радость надежды на окончательную победу воссияет в нас.

Молитва непременно восстановит в нас то Божественное дыхание, которое "вдунул Бог в лицо Адама", и в силу которого "Адам стал душою живою" (Бытие 2, 7). Молитвою возрожденный дух наш начинает удивляться великой тайне Бытия. И особый восторг могучим потоком заливают наш ум: "Бытие! Какая чудная тайна... Как оно возможно?.. Дивен Бог, и творение Его дивно". Переживем мы смысл слов Христа: "Я пришел для того, чтобы (люди) имели жизнь и имели с избытком" (Ио. 10, 10). Избыток! И это воистину так.

Но снова и снова о том же: жизнь сия парадоксальна, как парадоксально все учение Господа: "Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся" (Лк. 12, 49). Всем нам, сынам Адама, необходимо пройти чрез сие небесное пламя, пожигающее корни смертоносных страстей. Иначе не увидим мы сей Огонь преложившимся в Свет новой жизни, потому что в нашем падении горение предваряет просвещение, а не наоборот. Итак, благословим Господа и за опаляющее действие Его любви.

Мы многого еще не знаем, и все же хоть и отчасти (1 Кор. 13,9), но ныне и нам ведомо, что для нас нет иного пути для того, чтобы стать "сынами воскресения" (Лк. 20, 36), сынами Божьими, чтобы соцарствовать с Единородным. Как бы ни был болезнен процесс нашего воссоздания; чрез какие бы терзания и подчас агонии ни проводил нас Бог, — все в конце станет благословенным. Если приобретение научной эрудиции требует долголетнего напряженного труда, то стяжание молитвы еще и несравненно большего.

Когда Евангелие и Послания становятся нашей повседневной реальностью, тогда мы начинаем ясно видеть, насколько

наивными были наши прежние представления о Боге и жизни в Нем. Таинственна Премудрость данного нам Откровения: оно далеко превосходит человеческое воображение. "... Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его" (1 Кор. 2, 9). Даже малейшее прикосновение к нам Божественного Духа является славою, не сравнимую с содержанием жизни без Бога.

Подлинная молитва, единящая нас с Всевышним, есть не что иное, как свет и сила, сходящие на нас с небес. Она по сущности своей трансцендирует наш план. В этом мире нет источника энергии для нее. Если я хорошо питаюсь, чтобы тело мое было сильным, то плоть моя бунтует, и требования ее растут: ей не до молитвы. Если я смиряю плоть чрезмерным постом, то на некоторое время в болезненном воздержании создается благоприятная почва для молитвы, но затем тело изнемогает и отказывается следовать за духом. Если я общаюсь с хорошими людьми, то, случается, испытываю душевное удовлетворение, иногда же получаю новый психический или интеллектуальный опыт, но весьма редко импульс для глубокой молитвы. Если я одарен умственно для серьезной научной работы или для художественного творчества, то мой успех явится поводом к тщеславию, и становится невозможным найти глубокое сердце: место духовной молитвы. Если я богат материально и занят тем, чтобы использовать связанную с богатством власть, или возможность воплотить некоторые из моих идей, или удовлетворить моим эстетическим или душевным пожеланиям, то душа моя не восходит к Богу, как мы Его познали чрез Христа. Если я ухожу в пустыню, отрекшись от моих имений, то и тогда сопротивление всех космических энергий парализует мою молитву. И так без конца.

Истинная молитва к Богу истинному есть общение с Духом Божиим, Который молится в нас; Он дает нам знать Бога; Он возводит дух наш в состояние созерцания вечности. Как сходящая свыше благодать, молитвенный акт превышает наше земное естество, в силу чего ему противится тленное

тело, неспособное к восходу в сферу духа; противится интеллект, бессильный вместить беспредельность, колеблемый сомнениями, отталкивающийся от всего, что превосходит его разумение. Молитве сопротивляется социальная среда, в которой мы живем, которая организывает свою жизнь с иными целями, диаметрально противоположными молитве. Молитву не терпят неприязненные духи. Но только она, молитва, возрождает тварный мир из его падения, преодолевая его косность и инерцию великим напряжением духа нашего в следовании заветам Христа.

Труден подвиг за молитву: меняются состояния нашего духа: иногда молитва течет в нас, как могучая река, иногда же сердце становится иссохшим. Но пусть всякое снижение молитвенной силы будет возможно кратким. Молиться — нередко значит высказать Богу наше бедственное положение: бессилие, уныние, сомнения, страхи, тоску, отчаяние, — словом — все, что связано с условиями нашего существования. Высказать, не изыскивая изящных выражений и даже логической последовательности... Часто сей способ обращения к Богу явится началом молитвы-беседы.

Иногда мы будем в волнах Божией любви, которую по наивности пойдем односторонне, как нашу любовь к Нему. Со мною так бывало: я не дерзал думать, что беспредельно великий Творец всего может Своим вниманием остановиться на мне, ничтожном и гадком. И я говорил: "О, если бы было возможно, чтобы Ты любил меня так — как я люблю Тебя... Видишь ли Ты, как сердце мое жаждет Тебя день и ночь? Склонись ко мне; яви мне Твое Лицо; сделай меня таким, каким Ты хочешь видеть созданных Тобою; таким, какого Ты, Всесвятой, сможешь принять и любить...". Я не знал, что говорю (Лк. 9, 33); я не смел подумать, что это Он Сам молится во мне.

Созерцать святость и смирение Бога — поражает душу, и она с великим благоговением внутренне поклоняется Ему в любви. Такая молитва переходит иногда в видение несозданного Света.

Чтобы мы познавали исходящие от Бога дары, Он, после посещения, оставляет нас на время. Странное впечатление производит богооставленность. В молодости я был живописцем (боюсь, что и до сих пор он не совсем умер во мне). Этот естественный дар пребывал внутри меня. Я мог утомляться, не иметь сил на работу, не быть вдохновенным; но я знал, что дар сей есть моя натура. Когда же Бог покидает, тогда ощущается некий провал в самом бытии; и не знает душа — возвратится ли когда-нибудь Ушедший. Он — иной по природе Своей; Он скрылся, и я остался пуст; и пустоту эту страшную переживаю, как смерть. С Его приходом мне было явлено нечто прекрасное, милое сердцу, превосходящее мое самое дерзновенное воображение. И вот, я снова в том состоянии, которое раньше казалось мне нормальным, удовлетворительным, а теперь оно ужасает меня: представляется слишком животным-скотоподобным... Я был введен в дом великого Царя; я знал, что я родственник Ему, но вот опять я не больше, чем бездомный скиталец.

Чрез смену состояний познаем мы различие природных даров от тех, что нисходят как благоволение свыше. Чрез покаянную молитву я удостоился первого посещения, чрез молитву же, но более горячую, я надеюсь возвратить Его. И действительно: Он приходит. Часто, и даже обычно Он меняет образ Своего прихода. Так я непрестанно обогащаюсь познаниями в плане Духа: то в страдании, то в радости, но я расту. Увеличивается моя способность пребывать в прежде неведомой сфере более длительные сроки.

Стань твердо умом в Боге, и придет момент, когда бессмертный Дух прикоснется к сердцу. О, это прикосновение Святого святых. Его нельзя сравнивать ни с чем: оно восхищает наш дух в область нетварного Бытия; уязвляет сердце любовью, непохожею на то, что обычно мыслят люди под этим словом. Свет ее, любви сей, изливается на всю тварь, на весь мир людской в его тысячелетнем явлении. Любовь сия ощутима физическим сердцем, но по роду своему она духовная, нетварная, как исходящая от Бога.

Животворящий Дух Божий посещает нас, когда мы пребываем в состоянии смиренной открытости для Него. Он не насилует нашей свободы; Он окружает нас Своей нежной теплотой; Он приближается к нам так тихо, что мы можем и не заметить Его сразу. Не должно ждать, чтобы Бог ворвался внутрь нас силою, без нашего согласия. О, нет: Он уважает человека, смиряется пред Ним: Его любовь смиренная; Он любит нас не свысока, а как нежная мать своего больного младенца. Когда мы открываем для Него наше сердце, то непреодолимо сильно чувствуем, что Он нам "родной", и душа преклоняется пред Ним в умиленной любви.

Божественная любовь, которая есть глубинный характер живой вечности, в этом мире не может не страдать. Смягченному подвигом и посещением благодати сердцу бывает дано жить, пусть отчасти, любовью Христову, объемлющую всю тварь в бесконечном сострадании всему сущему. Ныне — я пленник Христа-Бога. Я познал себя вызванным из ничтожества; по природе своей человек — ничтожество. Но, несмотря на сие, мы ждем от Бога сострадания и уважения. И вдруг всемогущий открывается нам в Своем неопишемом смирении. Это видение умиляет душу, поражает ум, и мы невольно склоняемся пред Ним. И сколько бы мы ни стремились уподобиться Ему в смирении, мы видим себя бессильными достигнуть Его абсолютности.

Смирение Христово — всепобедительная сила. В своем истощании и служении нам оно не знает унижения: оно неизменно пребывает божественно-величественным в своем существе. Выражаемое в словах наших — оно представится противоречивым. Смирение есть атрибут Божественной Любви, которая в своей открытости для твари кротко принимает все раны от созданных Им.

Видение Бога ставит человека пред необходимостью внутреннего самоопределения по отношению к Нему. В существе своем всякое наше действие непременно или приближает нас к Богу, или, наоборот, удаляет. Отсюда всякое начинание совершается в страхе, именуемом Божиим.

Бойтся душа не только явно недоброго дела, но и мысли, могущей опечалить Духа Святого, Которого она возлюбила. Невыразимо велика дистанция между нами и Богом. Мы видим себя недостойными Святого святых; сердце сокрушается от томительного сознания себя нищим. Не сразу понимаем мы, что именно это явление есть уже начало приближения к Богу. Первая заповедь блаженств, "Блаженны нищие духом", как бы органически приводит к последующим степеням: к плачу, кротости, алканию и жажде правды, к милосердию, чистоте сердца, к первым живым восприятиям нашего богосыновства; что приводит нас к горестному конфликту с миром страстей, к разрыву с не ищущими Царства правды; к гонениям, поношениям, злословиям, и прочему. Когда противостояние христианского духа — духу мира сего достигает своего апогея, тогда жизнь последователя Христа подобна распятию, пусть на невидимом кресте. Это время весьма страшное и вместе спасительное: чрез внутренние, нередко связанные и с внешними обстоятельствами, страдания нашего духа побеждаются страсти, преодолевается и власть мира над нами, и даже смерть: наступает уподобление распятому Христу.

Однако и на сей высшей ступени должно сохраниться смирение духа. Самый опыт покажет, что как только на смену ощущению "нищеты" приходит удовлетворение собою, так вся сия скала духовных восхождений рушится, и дом наш опустошается (ср.: Мф. 23, 28): Бог уже не с нами. Так — доколе не смирится снова сердце и не воззовет к Нему с болью. Из этих смен переживаний душа постигает тайну путей спасения; страшится она всего, что противно смирению; молитва ее очищается; ум и сердце не увлекаются ничем посторонним, не желают ничего кроме Бога. Чрез молитву всем существом вливается в молящегося сила новой жизни. Дальнейший восход: начало познания об образе неземного бытия.

Наше земное существование обусловлено временем и пространством. Но что есть ВРЕМЯ? Возможны многообразные определения: Время есть "место" нашей

встречи с Творцом; Время есть процесс актуализации замысла Божия о твари: "Отец Мой доселе делает, и Я делаю" (Ио. 5, 17). Творение еще не закончено: "...ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма; ходящий во тьме не знает, куда идет. Пока свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света" (Ио. 12: 35-36). Каждому из нас уделено некоторое "свое время"; короткое, но достаточное для обретения спасения. Творческая идея Бога в творении осуществляется: "...у Бога не останется бессильным никакое слово" (Лк. 1, 37). На Голгофе, умирая, Господь сказал: "СОВЕРШИЛОСЬ"... Придет другой момент, когда снова будет сказано подобное сему слово; о нем пишется в Апокалипсисе: "И Ангел... поднял руку свою к небу, и клялся живущим во веки веков... что ВРЕМЕНИ больше не будет" (10:5-6).

Доколе мы в этом "теле греха", а следовательно и в мире сем, доколе не прекратится аскетическая борьба с "законом греха", действующим в нашей плоти (ср.: Рим. 6, 6; 7, 23). Видя себя не могущими преодолеть сию смерть нашими усилиями, мы впадаем в некое отчаяние о нашем спасении. Как это ни странно, но нам необходимо жить это тягостное состояние, — переживать его сотни раз, чтобы оно глубоко врезалось в наше сознание. Нам полезен этот опыт ада. Когда мы носим в себе сию муку годами, десятилетиями, то она становится постоянным содержанием нашего духа, неизгладимой язвой на теле жизни нашей. И Христос сохранил раны от гвоздей распятия на Телe Своем даже по воскресении: "...пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!.. И показал им руки и ноги и ребра Свои" (Ио. 20:19-20).

Из опыта адских мучений должна рождаться молитва за весь род людской, как за самого себя (Мф. 22, 39). Всякое наше состояние мы духом переносим из тесных рамок нашей индивидуальности на все человечество; таким образом всякий наш опыт становится откровением о совершающемся в веках в человеческом мире, и наше духовное с ним слияние принимает характер осязаемой реальности.

Господь открыл нам подлинный смысл заповеди — "Люби ближнего твоего, как самого себя" — в ее Божественной беспредельности. Препятствие, т. е. в пределах Закона Моисеева, объем сей заповеди касался только еврейского народа: "Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя" (Лев. 19, 18). Христос же распространил ее на всех людей, на все века: "Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами Отца вашего небесного" (Мф. 5:43-45). Единородный Сын Отца небесного дал нам это познание: в Писании — чрез беседу с законником (см.: Лк. 10:27 и далее); в жизни же нашей Духом Своим Святым. Сам Он исполнил все сие в полноте, завершённой в Гефсимании и на Голгофе. И мы, входя в дух сей заповеди, уподобляемся Богу.

Много раз приходил я в отчаяние от самого себя вследствие неспособности моей пребывать постоянно в духе заповедей Христовых. В эти горькие часы я думал: Господь Сам сказал, что Он не от мира сего (Ио. 8, 23). Он сошел с небес (Ио. 3, 13), я же целиком именно от сего мира: от земли, которую топчу моими же ногами. Он, "сущий на небесах", не разлучился от Отца, живя с нами; и как возможно, чтобы я был ТАМ, ГДЕ ОН? Он свят, я же не могу вырвать себя из "тела" всемирного Адама, который в падении своем превратил сей мир во ад, "положил его во зле" (ср.: 1 Ио. 5, 19), где и я лежу вместе с ним (миром).

Быть не от мира сего — что значит? Не что иное, как "родиться свыше". Я не видел конца моему горю: отказаться от искания единства с Ним — невозможно; осудить себя на разлуку с Его Светом — есть ад, поражающий меня ужасом. Горе мне, во грехах рожденному. И кто спасет меня от тьмы кромешной? Кто преобразит самую природу мою так, чтобы она стала способною быть неразлучно с Тем, Кто есть Свет, в котором нет ни единой тьмы?

Я рожден во грехах. Я унаследовал невероятно огромное наследство: ПАДЕНИЯ АДАМА; падения, умноженного затем

в веках его сынами; падения, к которому и я прилагаю на каждый день что-нибудь. И рыдаю от видения себя таким. И когда рыдания мои истощают меня, приводят меня на край смерти, и я беспомощно повисаю над бездной тьмы, тогда неизъяснимым образом приходит тонкая любовь из иного мира, и с нею Свет. Конечно, это есть рождение Свыше; еще не полное, но все же освобождение от власти смерти темной, начало бессмертия. Да, нам предстоит еще долгий подвиг, чтобы дар Божий возрастал в нас. И когда он (дар сей чудный) начинает созревать и своим благоуханием проникать в поры нашего "тела греха" (Рим. 6, 6), тогда уходит от нас страх смерти, и мы освобождаемся от разнovidного "рабства" (ср.: Евр. 2, 15). И в обретенной святой свободе всем желаем добра.

На сострадательную молитву за людей вдохновляет любовь Христова; в ней совместно участвуют и душа, и тело. Несение скорбей за грехи брата в подобной молитве становится общением в искупительных страстях Господа: "...Христос... пострадал за грехи (наши), праведник за неправедных... Он пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его" (1 Петр. 3, 18; 2, 21). Со-распяться Ему есть дар Духа Святого. Благоволит Отец наш небесный, когда мы болеем, видя преткновения братьев наших. По духу заповеди: люби ближнего, как самого себя, — мы должны соболезновать друг другу; необходимо, чтобы создалась как бы круговая порука, соединяющая всех нас пред лицом Бога, Творца нашего.

В молитвенном томлении души о спасении людей заключена животворная сила и святая радость. Неземной, но богоподобный характер христианской жизни в том, что в ней сочетаются чудным образом и скорбь, и радость, глубина и высота, прошлое и настоящее и будущее в многовековой истории земли. Как солнце посылает свои лучи во всех направлениях, наполняя теплом и светом окружающее его пространство, так и свет и тепло любви Христовой прорывает все ограничения, выводя наш дух в беспредельность. Какой поэт найдет достойные слова, чтобы выразить благодарное

удивление за данную нам жизнь? В ней умирание предлагается в жизнь вечную чрез воскресение: "...кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее" (Мф. 16, 25). "Истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою потеряет ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную" (Ио. 12: 24-25).

Медлительным кажется нам процесс усвоения свыше данного человечеству Откровения. И это не только в жизни людской массы, но и в личном подвиге каждого из нас. Вот два показателя: 1) Синайское Откровение: АЗ ЕСМЬ СЫЙ — потребовало от еврейского народа пятнадцать веков, прежде чем явилось некоторое число людей, способных воспринять восполнение сего Новым Заветом (Мф. 5:17-19). 2) Двадцать веков прошло с того момента, когда в нетварном Свете на горе Фаворской и затем в сошествии Святого Духа в Сионской Горнице — дано было миру совершенное Откровение о Боге Святой Троице. А много ли таких, что действительно усвоили его? Нелегко ассимилируется нами жизнь Бога. И те, что возлюбили пришествие Христа — Агнца Божия, не вмещают полноты изливаемого на них благословения. До боли страдают всю свою жизнь те, что в горячем порыве веры взяли на свои рамена крест и последовали за Ним (Мф. 16, 24). Укреплялись они надеждой по исходе отсюда войти в ту светоносную сферу, "где Он": "Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет; и кто Мне служит, того почитит Отец Мой" (Ио. 12, 26).

Какою бы ни была огненной вера христианина, задание "преобразить уничиженное тело" наше так, чтобы оно стало "сообразным телу Господа" (Фил. 3, 21), требует многолетнего подвига поста и покаянной молитвы. В длительном процессе этого подвига раскрывается дотоле неведомый объем Адамова падения. Сие видение дается не всем в равной мере. Но возможны, хоть и не часто, случаи, когда Дух Божий проведет кающегося чрез недоступные другим бездны.

Вера в абсолютного Бога должна быть свободно от всякого колебания. За годы моей жизни на Афоне я не помню такого момента, когда бы прикоснулось к моему уму и сердцу сомнение. Но были случаи, когда болезненное от долгой молитвы сердце отталкивалось от Бога: "О, это выше моих сил!" Последствия, однако, подобных мгновений бывали весьма положительными.

Мы прежде всего и больше всего любим Христа. Чем полнее любовь, тем больнее переживается всякое нарушение гармонии. Даже при наличии долгого опыта и знания "механизма" подобных испытаний, мы не без страха обнаруживаем в себе возможность нового падения. Отсюда молитва с глубоким плачем к Богу: "исцели меня до конца". И Он исцеляет. И сердце с радостью благодарит Бога: любовь, казавшаяся до того совершенной, возвышалась качественно и с умноженным разумением благодати Господа.

Усиленной молитве свойственно увлекать и сердце, и ум в их движении к вечному настолько, что все прошлое забывается, и нет в уме мысли о земном будущем; в душе единственная забота: не потерять ТАКОГО Бога; перестать быть недостойным Его. Чем сильнее наше влечение к Беспредельному, тем медлительнее кажется нам наше приближение к Нему. С одной стороны, томящее ощущение своего ничтожества, с другой — созерцание неисповедимого величия Искомого — делает невозможным достоверное суждение о нашем действительном положении: приближаемся ли мы к Богу или удаляемся? В созерцании святости Бога человек растет быстрее, чем прогрессирует в своей способности сообразовать свою жизнь с заповедью. Отсюда впечатление, что расстояние между нами и Богом не перестает возрастать. В научной работе всякое новое открытие, не будучи конечным, обнаруживает наше прежнее неведение и тем самым как бы расширяет область неведомого и неведомого, впереди лежащего.

Умное видение цели нам может быть дано в кратчайший момент, независимо от физического возраста, но практическое осуществление того, что предвосхищено интуитивно, может

потребовать напряжения всей жизни; и даже при этом с необязательным успехом. В области науки и искусства наличествуют некоторые точки опоры для суждения; иначе обстоит с духом, влекущимся к Безначальному.

Известно, что и артист, и философ, и ученый — действительно могут страдать в своем творческом борении, хотя задача их воистину ничтожна по сравнению с нашей.

Когда молящийся ум христианина бывает оторван от своего пребывания в Вечном дурными помыслами, тогда страх, разумеется, духовный, овладевает им. Видеть себя в рабстве низким страстям, отвлекающим его от Бога, — оскорбляет его до боли великой. От отчаянного горя молитва собирается внутрь, в самую сердцевину существа нашего и принимает форму "смазмы": весь человек сжимается воедино, подобно крепко сжатому кулаку. Молитва становится воплем без слов. Это одно из самых горестных переживаний: сознавать себя в темной яме греха, недостойным Святого святых. И нет иного — легкого пути для преодоления страстей.

Всякое христианское "дело" непременно сопрягается с подвигом; любовь же, как высшее из всех дел, требует и наибольшего труда. Жизнь христианина, в своем внутреннем существе, есть следование за Христом: "Что тебе до (кого бы то ни было иного)? Ты иди за Мною" (ср.: Ио. 21, 22). В силу этого каждый верующий в той или иной мере повторит путь Господа, — но не своею силою возьмет он крест на рамена свои, чтобы идти в Гефсиманию и далее на Голгофу: "...ибо без Него не можем мы делать ничего" (ср.: Ио. 15, 5). И кому было дано сие страшное благословение, те предвосхитили воскресение свое; удел других — вера в милосердие Божие.

Так благоволил о нас Отец небесный: все земнородные должны "взять крест свой", чтобы унаследовать жизнь вечную (ср.: Мф. 16: 24–25). Уклоняющиеся от крестоношения — не избегнут рабства страстям и пожнут от плоти тление (Гал. 6, 8; Рим. 8, 13). Заповеданная любовь к Богу и ближнему исполнена глубочайших страданий, но им сопутствует

небесное утешение (ср.: Мрк. 10: 29–30): душу животворит тот мир, который преподал Господь Апостолам пред своей Голгофой. Когда же дух человека вводится в сферу светоносной любви Бога и Отца нашего, тогда забываются все боли, и душа неизъяснимо блаженствует (Ио. 12, 50; 17, 3). Так женщина, "когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир" (Ио. 16, 21). Так и еще более радуется христианин, когда в разуме и глубоком чувстве сознает себя рожденным в Боге для вечности.

Естественно верующему ревниво хранить истину данного Церкви Откровения в его, если возможно, полноте и чистоте. Многовековой опыт Церкви убедительно показал, что всякое отступление от пути заповедей евангельских удаляет от того познания, в котором заключена вечная жизнь (Ио. 12, 50; 17, 3). Мы не в силах достигать совершенства заповедей, но от нас зависит проявить максимальное прилежание, и тогда остальное завершит Он Сам. В труде нашем стяжать любовь Христову дается нам созерцать недоступность святости Бога, а вместе и безмерность Его смирения. Сила евангельских заповедей в том, что они естественно вводят в беспредельность Божественного Бытия. Душа блаженно удивляется пред Богом; она в восторге пред Его предвечным величием, она поражена и Его снисхождением к нам в воплощении. Во всем ее Учитель Христос (Мф. 23, 8). Без Него человечество неизбежно погибнет в глубинном мраке своей злобы. Христос — Свет миру; чрез Него явлена истина и "от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать" (ср.: Ио. 8, 12; 1:16–17).

Смиранный "Бог гордым противится, смиренным же дает благодать" (Петр. 1, 5, 5; Мф. 23, 12). Благодать есть Его, Бога, жизнь, и Он дает Свою жизнь стремящимся к подобию Ему. "Кто унижает себя, тот возвысится". В силу этого принципом нашей аскетики является движение к самозамалению, к "бесконечно" малому, и никак не гордая потуга к самовозвеличению. Наш путь есть путь апофатического подвига чрез наше "истощание" в следовании Христу,

истощившему Себя даже до крестной смерти (ср.: Фил. 2: 5–9). Чем глубже идем мы "вниз", тем радикальнее очищаемся от последствий гордого падения нашего Праотца Адама. И когда сердце наше становится чистым (Мф. 5, 8), тогда вселяются в нас и Отец, и Сын, и Дух Святой, и мы вводимся в непоколебимую реальность Божьего Царства, где неисповедимое величие слито воедино с соответствующим ему смирением и кротостью.

Само воплощение Бога–Слова есть тоже истощание, онтологически свойственное божественной любви. Отец истощает Себя всего в Рождении Сына. И Сын ничего не присваивает Себе, но все отдает Отцу. Наше же истощание выражается в том, что мы оставляем все, что нам дорого на земле, во исполнение заповеди: "...если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой... ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее" (Мф. 16: 24–25). И снова: "Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником" (Лк 14, 33).

И это есть путь Бога Живого.

"Один законник... искушая Иисуса, сказал: Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус же сказал ему: в законе что писано? как читаешь? Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душой твоею, и всей крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего своего, как самого себя. Иисус сказал ему: правильно отвечал ты; так поступай и будешь жить" (вечною жизнью в Боге) (ср. Лк. 10:25–37). На вопрос законника: "а кто мой ближний?" – Господь ответил притчею о добром самарянине, существенный смысл которой в то время лежал в плане заповеди: "любите врагов ваших, и благотворите... не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего" (Лк. 6, 35).

О состоянии нашего духа, когда нам дается свыше благодать любить врагов, – старец Силуан говорил как об опыте божественной вечности еще в пределах сей жизни. Он

говорил и писал: "кто не любит врагов, тот еще не познал Бога, как должно Его знать".

От себя дерзну добавить в пояснение сей благодати: кто чрез озарение нетварным Светом Духа Святого внутри себя живет переход "от смерти в жизнь вечную", тот естественно сострадает всем тем, кто лишен сего блага. Будучи вне смерти, таковой освобожден от страха бедствий и знает мысль Отца о нем: "Сын Мой! ты всегда со Мною, и все Мое – твое" (ср.: Лк. 15, 31). И если все, что имеет Отец, дается нам, то становится душе единственно свойственным – "радоваться и веселиться", когда бывший мертвым брат оживает к славе нетленной в Царстве Бога Живого (ср.: 15, 32).

Быть христианином – значит веровать в воскресение мертвых; надеяться на усыновление нас Отцом Небесным, – получить божественный образ бытия, – стать по дару любви Отчей тем, что Сам Он есть по существу Своему, т. е. богом. Таковы обетования Бога и Отца нам, уверовавшим во Христа Иисуса, как Сына Единородного и единосущного Отцу. Великий грех умалять данное нам в Духе Святом откровение о Человеке, как он, Человек, задуман Богом, прежде чем был сотворен сей видимый мир. Наказание за сей грех – неверия в воскресение – носит особый характер: это есть наше собственное самоосуждение: мы отказываемся от дара нашего Творца. Почему же мы отказываемся? Больше всего и прежде всего потому, что Дар Отчий стяжается с великим трудом, многими страданиями. Тема сия чрезвычайно глубока, и кто в силах представить ясно сие задание людям, стоящим на различных уровнях сознания и разума? И кто сможет изобразить должным образом также совершенно особый восторг нашего духа, когда при Свете Божества нам открываются премудрые пути Бога Живого?

Но как можем мы верить в возможность воскресения для вечности после нашей смерти по телу? Все переживания наши нам кажутся связанными именно с сим телом, с его восприятиями. Даже мышление наше мы ощущаем как движение некоей энергии в нашем вещественном мозгу и

сердце... Не всем давался опыт состояний молитвы, когда дух наш освобождается от материальных уз, от условий времени и пространства. Далеко до сего. Но вот, мы верим в науку наивно верую, несмотря на ее очевидную относительность. И все же ради усвоения ее последних достижений с детского возраста мы отдаем себя на десятилетия небезболезненных усилий. В своих наивысших формах духовный подвиг идет безмерно дальше всякой человеческой науки, но в начальных стадиях он прост и даже радостен. Попытаюсь изъяснить подлинную причину отказа людей следовать Христовой Истине.

"...о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых: как же некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша... И если мы в сей только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков... Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я (Павел) КАЖДЫЙ ДЕНЬ УМИРАЮ..." (ср.: 1 Кор. гл. 15).

"Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: Учитель! мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим. Он сказал им: что хотите, чтобы Я сделал вам? Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите. Можете ли пить ЧАШУ, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь? Они отвечали: можем. Иисус же сказал им: чашу, которую Я пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься" (Марк. 10: 35-39).

"Иисус отошел от учеников на вержение камня, и, преклонив колена, молился, говоря: Отче! о если бы Ты благоволил пронести ЧАШУ сию мимо Меня!.. и находясь в борении, прилежнее молился; и был пот Его, как капли крови, падающие на землю" (ср: Лк. 22: 42-44).

Что есть в существе своем сия ЧАША Христова? Глубина сей тайны скрывается от нас. В нашей попытке следовать Христу путем хранения Его заповедей — мы неизбежно и непрестанно пьем некую чашу, но того, о чем мыслил и что

переживал Христос в "тот час", мы не постигаем в полноте. Однако нечто аналогичное непременно совершается и с нами, как и Он Сам сказал: "чашу, которую Я пью, будете пить" (Мр. 10, 39). Тайнственна ЧАША Христа, но и наша чаша скрыта от чуждых глаз.

"И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы **НЕСЧАСТНЕЕ ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ**", — сказал Павел (1 Кор. 15, 19). Да, это именно так и есть. Но в чем же является необъяснимым сие благословенное "НЕСЧАСТИЕ" для не последовавших за Христом? В том, что вообще все реакции Духа Христова на все, совершающееся вокруг нас, — глубоко различны, часто диаметрально противоположны духу детей мира сего. Вот пример: Иуда вышел из Сионской Горницы, чтобы предать Господа на распятие, и в тот момент раскрылись уста Его, и Он сказал: "ныне прославился Сын человеческий, и Бог прославился в Нем" (Ио. 13, 31). И так на каждом шагу в Евангелии мы усматриваем, что Господь жил в ином плане Бытия; там, где все преломления проходят чрез призму иного рода. И кто хочет знать о сей тайне хотя бы отчасти, тот должен взять на рамена свои крест свой и всецело предаться в волю Отца Небесного. Нет иного пути. И нет еще конца конфликту между Христом и миром сим.

Глубока моя любовь и благодарность к Церкви, в недрах которой открывалось мне Божество Иисуса Христа и образ явленного Им человечества. Сей "образ" видим мы в жизни отдельных людей, как и в нас самих, — умаленным; полная реализация его, образа, принадлежит будущему веку, но и нечастые в истории приближения к нему вызывают восторг в душе. Нормально христианину жаждать уподобиться Господу: обнять мир любовью, как Он обнимает его; подобно Ему не иметь врагов, т. е. быть свободным от ада ненависти к кому бы то ни было, согласно Его, Христа, заповеди: "А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами Отца небесного" (ср.: Мф. 5: 44-45). Но никто из сынов Адама не может жить так своею силою. Сие возможно не иначе, как

если Дух Святой наполнит сердце человека присущей Ему вечностью. Без Него мы не можем сохранить заповеди Божией (ср.: Ио. 15, 5).

Да, жажда уподобиться Господу естественна христианину. Однако, "тесны врата и узок путь", ведущие в сию божественную жизнь (ср.: Мф. 7, 14). Змея, чтобы сбросить с себя ставшую ненужною шкуру, проходит через узкие щели; так и всякий человек, чтобы спастись, должен пройти через весьма "тесные врата", чтобы совлечься "кожаных одежд", приобретенных в падении нашем (ср.: Быт. 3, 21).

Тот, Кто сказал: "Я есмь путь и истина и жизнь" (Ио. 14, 6), дал нам такие заповеди: "Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником" (Лк. 14: 26-27; 33; ср.: Мф. 16: 24-25). Из этих слов видим, "КТО есть сей" (Мф. 21, 10). Если бы Христос в Своем ИПОСТАСНОМ бытии не был единосущным Отцу и Святому Духу Богом, явившимся в плоти нашей, а только подобным нам тварным существом, то онтологически не могли бы Ему прийти такие идеи. Если бы Иисус Христос не был Богом по существу своему, то достаточно было бы сей заповеди, чтобы и все прочее содержание Евангелия стало бы неприемлемым. Два тысячелетия опыта Церкви неизменно подтверждают "великую благочестия Тайну: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе" (1 Тим. 3, 16). Воспринятый верою как безначальный Господь, Христос становится для нас Светом вечности, и слова Его открывают нам недомысленные глубины Бытия Божьего.

По неведомому для меня Промыслу, я был допущен к ногам избранника Бога Вышнего — Силуана. Наблюдая его подвиг, благоговейно слушая его наставления, и я, ничтожнейший из людей, смог отчасти узреть тайну пути ко спасению. На конце дней моих я дерзаю поведать о том, что ревниво скрывал прежде. Я говорю здесь в тех пределах и о тех формах, в которых мне было дано жить Бога.

На других страницах пишу я о моем страшном преткновении: о самовольном и гордом удалении от

Откровения, данного нам во Христе. Но Отец, да будет Имя Его благословенно во все века, явил мне Сына Своего во Свете незаходимом, и тем дал мне восчувствовать мой грех с такою силою, что я десятилетиями рыдал, припадая к земле лицом в моем отчаянии от моего безобразия. Мой акт отхода от Бога предстал мне в своей inferнальной мерзости, и я ощутил острый стыд за себя; я стал отвратительным для себя самого; я презирал себя, и мое презрение нашло себе сродного спутника: ненависть. Я не скажу, что я ненавидел отца моего или мать и прочих сродников или друзей. Мне доставало ненависти к самому себе, а о других я как-то и не думал. Моя тоска по Богу причиняла мне великую боль, настолько, что я забывал о всем остальном, пребывая наедине с Ним. Не знаю я, простил ли мне Господь вполне мой грех, но сам я не могу простить себе того, что сделал. Через мою личную трагедию — я жил трагедию Праотца Адама в его вековом потомстве: в сменяющихся поколениях насельников земли. Этим каналом приходила ко мне молитва за весь мир.

Я жил спонтанно, без анализа моих переживаний. Мне было не свойственно подсматривать за собою. Я просто отдавался нашедшей на меня Божией силе. Но я не смел подумать, что Он Сам творит во мне молитву: я переживал сию силу как мою собственную. И лишь когда отошел от меня огонь покаяния, тогда я уразумел, что Христос давал мне благословение приближаться к Нему.

Только Сам Дародатель Бог доподлинно знает, в какой мере Он изливал на меня радость познавать Его любовь. Благодаря старцу Силуану и мои духовные очи раскрылись, чтобы увидеть, что заповедь Христа возлюбить Его до ненависти к себе — есть Откровение о законе Божественной Любви: той, которою Сам он возлюбил нас.

Если бы заповеди — возлюбить Бога всем существом нашим и ближнего, как самого себя, — исходили от какого бы то ни было пророка, человека по тварной природе своей, то в них не было бы смысла, нами искомого. Но мы приняли сие от Бога. Хранить их мы можем не иначе, как "совлекшись ветхого человека" и "облекшись в нового" (ср.: Кол. 3, 9; Еф. 4, 24): Христа, с небес сшедшего (ср.: 1 Кор. 15, 47).

Когда мы живём в духе евангельских предписаний, тогда мы уже обожены, потому что безначальная жизнь пронизывает нас. Нам заповедано — любить. Любовь же соединяет в бытии. Полнота любви приводит к тому, что мы любим до забвения о самих себе. "До забвения", т. е. до ненависти к себе.

Содержание жизни напряженно молящегося человека — подобно безбрежному океану живой воды. Наш дух непрестанно обогащается, но не столько количеством новых слов или понятий, сколько углублением уже пережитых-стяжённых опытов. На предыдущих страницах я пытаюсь привести некоторые примеры тонкой и в то же время глубокой аскетической брани с убивающими нас страстями. Годами и даже десятилетиями длящиеся многие смены состояний страдания или утешения, свыше сходящего, воспитывают все же наш дух, делая его более способным к новым формам мышления и восприятия бытия вообще: ум привыкает безвидно мыслить весь мир, сердце же молитвенно, с любовной болью носить в себе сей мир в его совокупности. В подобном акте духовного синтеза пребывает зрелая молитва христианина, предстоящего Богу всем умом, всем сердцем (ср.: Лк. 10, 27) в их слиянии воедино. Бессильный выразить словом все, что он носит в себе, подвижник нередко молится без слов, но опять-таки в глобальном разумении всего познанного им, или в полном погружении в Бога до забвения о земле. В беспорядочном внешне описании процессов жизни человеческого духа — речь идет о постепенном переходе из индивидуальной формы бытия в ипостасно-персональный образ бытия в Боге вечном. Систематизированное, аналитическое очертание восхода к сей жизни — дать невозможно. Не находим мы сего и в творениях святых великих отцов нашей Церкви. Схоластическая систематизация материала возможна до некоторой степени в концептуальных богословских трудах, но никак и никогда в живых словах о подлинной жизни нашего духа.

Да пребудет слава Богу, Спасителю нашему, во все века непреложно.

Василий КОСТЕРИН

ОТЕЦ ИУСТИН ПОПОВИЧ О МОЛИТВЕ

В святоотеческих творениях всегда можно проследить, с одной стороны, традицию, уходящую своими корнями в богословие Евангелия и апостольских Посланий, а через них в Ветхий Завет, с опорой на Священное Предание, на труды предшествующих отцов, с другой — глубоко личностное, самобытное понимание и изложение духовных вопросов. Традиция, как ствол живого дерева соборного духовного опыта, никогда не воспринималась святыми отцами как некое слерживающее начало или тем более как оковы для богослова и простого верующего. Духовная мудрость, наполняющая Священное Предание, — это не законничество, подчиняющее и регламентирующее всю внешнюю и внутреннюю религиозную жизнь человека, а "живая жизнь", погружаясь в которую человек возрастает в познании Бога и познании себя: своего Божественного призвания и предназначения и, вместе с тем, своей глубокой греховности и отпадения от Бога.

Соборный опыт святых отцов — опыт благодатный. В русле Божественной благодати он не подавляет личностного начала в человеке, но очищает его, а значит выявляет. Верность же Преданию высвобождает духовную энергию человека, перераспределяя ее из области религиозных исканий в область практического духовного делания на пути, указанном и пройденном святыми отцами. Соборный духовный опыт на этом пути претворяется в личный духовный опыт, обретает личностные черты, часто ярко выраженные.

При поверхностном, "теоретическом" чтении святоотеческих трудов можно обнаружить в них противоречия в понимании того или иного вопроса, как богословского, так и практического. И чем меньше у читателя личного духовного опыта жизни во Христе, тем больше противоречий и несогласованностей он может найти. Лишь по мере возрастания и обогащения собственного опыта духовного делания святоотеческие творения раскрываются во всей своей чистоте, глубине, симфонической полноте и согласованности. Чтение

их доставляет двойную радость: радость узнавания соборного опыта, своей причастности к нему и радость новизны. Новизна эта не в словах, хотя и по языку писания многих святых отцов ярко индивидуальны и самобытны, но в тех неизвестных доселе, но важных черточках их личного духовного опыта, которые были скрыты от нас или проходили незамеченными и которые вдруг "открываются" нам, разрешая наболевший духовный вопрос или раскрывая причины наших духовных затруднений и проблем.

Только в последние годы появились книги афонского старца прп. Силуана, игумена Никона (Воробьева), схиигумена Иоанна — валаамского старца, архимандрита Софрония (Сахарова), архимандрита Иустина (Поповича), которые свидетельствуют о продолжающейся полнокровной жизни святоотеческой традиции опытного богословия, о ее богатстве и неисчерпаемой глубине и, вместе с тем, возможности ее постоянного обогащения личным опытом богословов-подвижников.

Здесь можно провести параллель с иконописью. Для иконографии традиция — это канон и, более узко, лицевой подлинник. Однако мы можем взять иконы любого праздника или любого святого разных эпох, стилей, изводов или, напротив, одной эпохи, даже написанные по одному подлиннику, и мы никогда не обнаружим, как справедливо отметил о. Павел Флоренский, двух совершенно одинаковых икон (исключая, конечно, ремесленные поделки). Так и писания святых отцов: насколько многообразна молитва у молящегося, насколько многообразен опыт молитвы великих молитвенников, настолько богато и "богословие молитвы". Но многообразие это дает удивительную симфонию, в которой, кажется, невозможно ни убавить, ни прибавить ни одной черточки. И вот сербский подвижник о. Иустин Попович находит свои слова: удивительные по меткости и точности, высокие по смыслу; умудренные глубокой укорененностью в Предании и обновленные личным духовным опытом; чистые личной чистотой их автора — богослова-подвижника; твердые своей непоколебимой верой в Бога; пламенные и "власть имеющие", свидетельствующие о действительном, реальном "явлении духа и силы"; дерзновенные по чувству своей близости к Богу; то

скорбные и слезные, стучащиеся в окаменевшие сердца всей силой личного покаяния их автора. Эти слова не только раскрывают тайны личной и соборной молитвы, не только предупреждают о прельщениях и опасностях на этом пути, но, вызывая совершенное доверие, ненавязчиво, но усиленно и энергично, благодаря личной убежденности о. Иустина, побуждают к молитве, призывают каждого вступить на путь молитвенного делания и подвига и неустанно идти по нему.

"Молитвенный дневник" о. Иустина свидетельствует о его подвижнических молитвенных трудах, по своей тяжести и напряженности сравнимых с подвигами великих преподобных отцов древности — Египта, Сирии и Палестины. Ежедневно о. Иустин клал до тысячи земных поклонов с молитвой Иисусовой, а потом продолжал молитву до двух и более тысяч раз. Особенно усугублял свой молитвенный подвиг о. Иустин на Страстной седмице Великого Поста: 3200 поклонов и еще 1800 молитв. Его богатый личный молитвенный опыт светится во всех его писаниях о молитве.

Молитву о. Иустин ставит в центр всей христианской жизни, в центр самого бытия. В его богословии она носит универсальный характер. Молитва объемлет всего человека, его практическую и познавательную деятельность; она является сердцем Церкви как мистического Тела Христова; она единит собой и весь космос как Божие творение. Нет ни одной стороны видимого или невидимого мира, которая не была бы прямо или косвенно связана с молитвой и молитвенной жизнью христианина.

"Начало премудрости — бояться Бога", — пишет Сирах (Сир. 1: 15); "Начало премудрости — страх Господень", — читаем в Притчах Соломоновых (Притч. 1: 7). Отец Иустин относит эти слова и к молитве: "Молитвенным страхом начинается мудрость" (1, 134).^{*} Так, конкретизируя поучение Священного Писания, он, бесспорно, на основе и личного опыта направляет не имеющих страха Божьего, но желающих его обрести: истинный страх Божий, не парализующий и

^{*} Ссылки делаются на следующие издания: 1. Отец Иустин Попович. На богочеловечанском пути. Београд, 1980. 2. Отец Иустин Попович. Путь Богопознания. Београд, 1987. Первая цифра в скобках указывает источник, вторая — страницу. Переводы с сербского — автора статьи.

рабский, а умудряющий, можно стяжать лишь молитвой и в молитве, ибо только "молитвенными ногами входят в премудрость Божию" (1, 134).

Молитва, укрепляя в вере, приближает человека к Богу, вводит в Богопознание, она всегда несет в себе познавательный элемент; о. Иустин называет ее поэтому иногда "гносеологической молитвой" (1, 128 и др.). Она начинается с покаяния и прошения о отнятии всего "немолитвенного" в себе (1, 121). Одно из главных стремлений христианской жизни, по о. Иустину, — "омолитвить" себя, омомолитвить ум, душу, сердце, волю (1, 211, 205, 128 и др.), так как только молитва порождает чистые мысли, она "дистиллятор мысли, решето, сито" (1, 132), которые процеживают, отсеивают плевелы греховных помышлений. В таком уме всякая мысль вытекает из молитвы, сплетается с ней и завершается молитвой. "Из молитвенного ума, — пишет о. Иустин, — как из чистого и быстрого родника, вытекают и льются чистые и святые мысли: богомысли, христомысли..." (1, 205). Мысль же, которая не молится, по о. Иустину, не от Бога, не из дома Божьего, не из Церкви (1, 152).

Истинное познание может быть только молитвенным, ибо молитва делает познание сущностным. "...Молитвенная философия — единственный метод постижения мудрости Христовой (христологии)" (1, 152), — пишет о. Иустин. В подвиге молитвы познание не отделяется от внутренней духовной жизни личности, оно не отрывается и от источника всякого знания — Бога. "Если ты богослов, то будешь молиться истинно; и если истинно молишься, то ты богослов", — писал прп. Нил Синайский (Добротолюбие, т. 2, с. 153). Вслед за ним о. Иустин утверждает: "Молитва — метод православной жизни и метод православного мышления" (1, 291). В другом месте он подчеркивает, что это "единственный метод". Истинное православное богословие — это молитвенное богословие (1, 165). Без молитвы познание носит лишь внешний характер, а значит, оно неполно, односторонне; по сути — это больное познание (1, 121), несущее в себе все порочные последствия грехопадения. Ум, "рассеянный" грехом, — молитвой собирается в Боге, очищается от греховности. Молитва просветляет и преображает ум как орган познания, освобождает его от пут греховных по своей природе понятий и категорий,

которыми оперирует в процессе познания падший и потому разделенный ум. Молитва воссоединяет богословие, веру и жизнь, она предохраняет познание от вырождения в схоластику, рационализм и спекулятивное философствование. Молитвенному уму мир и человек открываются и своей внутренней стороной — как Божие творение, несущее в себе онтологическое Богообразие и Богоподобие. Отношение к миру становится молитвенным — "как к святыне, как к живой иконе Божией" (1, 151).

В истинной молитве, пишет о. Иустин, подвижник стяжает мистическую* богочеловеческую энергию, внутреннее духовное устройство, "святое настроение", особое расположение и качество ума (2, 64). Молитвенным подвигом ум "этернизируется", становится причастным вечности, которая пронизывает само его естество, образует атмосферу его молитвы (2, 60). "Этернизированный" ум выходит за свои пределы, его молитва становится способной "замостить" проласть между временем и вечностью (1, 122). "Господи, как величественны тайны Твоих миров, — пишет о. Иустин, — я шепчу здесь свои молитовки, а они разносятся до бескрайних пределов Твоих миров и разливаются по всей твари..." (1, 152). Ум, преодолевший рабство у времени, вступает в молитвенное созерцание, в "молитвенное благодатное сосредоточение на божественных тайнах" (2, 129—130), тайнах Вечности.

Молитва — не долг человека перед Богом, исполнению которого отводится определенное время, а само содержание его жизни (1, 172). Христианина "ведет вера и руководит им молитва, и он молитвой смотрит, молитвой чувствует, молитвой мыслит, молитвой живет" (2, 113). Молитва — краеугольный камень внутренней духовной жизни человека. По о. Иустину, она является единственным методом истинного (по сущности) самопознания, но, вместе с тем, она и фундамент, на котором человек строит себя самого (Еф. 4: 13). Антиномическое противостояние гносеологии и

* Слово "мистический" здесь и далее употребляется в том смысле, в каком православие говорит о Церкви как о мистическом Телес Христовом (Еф. 1: 23). Для о. Иустина православный мистицизм — это богочеловеческий реализм, и другого мистицизма, по его мнению, православие не знает (1, 149).

онтологии снимается в истинной молитве как по отношению к миру, так и относительно личности: молитва — это способ личного бытия и способ самопознания, молитвенный опыт — это опыт самопознания и опыт причастия истинному бытию, бытию в Боге.

Путь к чистой молитве — это путь смирения. Молитва дается смиренному, а смирение дается молитвеннику. Ни смирения без молитвы, ни молитвы без смирения. Только в молитве, по мере духовного возрастания в смирении, у человека открываются внутренние очи ума или очи духовные, и он начинает видеть, чувствовать, осознавать всю глубину своей греховности, всю испорченность человеческой природы вообще. Это делает смирение не предписанием и внешней заповедью, а естественным, необходимым и даже единственным путем к Богу. Чем чаще и искреннее молится человек, тем больше он смиряется, чем напряженнее молитва, тем глубже смирение. Молитва — это такой "инструмент", который, по о. Иустину, смиряет саму сущность человеческой природы и обожествляет ее (2, 63). Но чем смиреннее молитва, тем она сильнее. Смирение — начало молитвы, оно же ее вершина. Но справедливо и обратное: "Молитвенное искание и молитвенное созерцание кроткого Лица Христа — единственный путь, который вводит в смиренномудрие" (2, 62). Молитва ведет к обретению смирения не только перед Богом, но и перед всеми людьми, перед каждым человеком. Высшая же степень смирения — искреннее ощущение себя "ниже всякой твари" (1, 122).

Истинная молитва предполагает покаянный молитвенный труд, ревностное горение, она — "жертва всеожжения", приносимая молитвенником на алтарь Божий (1, 121). Молитвенный труд, по о. Иустину, — это распятие себя на кресте молитвой (1, 122), он требует постоянного принуждения себя к непрестанной молитве (1, 228). Продолжая святоотеческую традицию, о. Иустин всегда увязывает молитву с постом (1, 146, 154, 166 и др.). Пост необходим не только для очищения тела и освобождения от страстей, пост усиливает и углубляет молитву, молитва же поддерживает человека в посте: "Ради поста Господь дает молитву постящемуся, а ради молитвы дает пост" (1, 146).

Возрастание в молитве — это усиление молитвенности до слез и плача. Молитва становится "просфорой, замешанной в сердце на слезах" (1, 131). Слезы покаяния сливаются со слезами благодарности и любви к Богу, преобразуются в слезы "агапичности" (1, 119). Тогда молитва приносит свои плоды: она становится "сознательным и сладким навыком" (1, 183), она воскрешает душу и тело молящегося: тело становится храмом Господним, а душа — молитвенницей в нем (1, 222, 176). Молитва становится "дыханием души", через молитву и вместе с ней человек "вдыхает небесный воздух и небесные добродетели, все, что божественно, бессмертно и вечно" (1, 159). Молитва преображает ум, наступает "вечная весна ума", "райская весна Вечной Истины Христовой" (1, 211). Омолитвенный ум усвоит себе божественное молитвомыслие, молитвенное любомудрие Благовествования.

Молитва — это исполнение двух главных заповедей: о любви к Богу и любви к ближнему. Молитва — это уже любовь к Богу. "молитва — это боголюбие" (1, 172). Молитвой христианин выражает свою любовь к Богу и миру Им созданному. И вместе с тем саму любовь к Богу можно стяжать только молитвой и в молитве (1, 172). Молитва "вводит" в любовь (2, 63). Любовь рождается из молитвы и возрастает вместе с ростом молитвенности (2, 64). "Молитвенный страх Божий" постепенно преображается в горение молитвенной любви, которая приносится Господу как жертва — благогодная и богогодная (1, 121).

Молитва открывает двери и в евангельское человеколюбие, в любовь к ближнему, даже врагу, как брату, сотворенному по образу Божьему. "Наибольший знак христианской дружбы, — пишет в одном из писем о. Иустин, — вспоминать друга в ежедневной молитве своей" (1, 192). Но этого мало, и о. Иустин предлагает правило: надо "помолиться Богу о каждом человеке, которого посетил, встретил или с которым расстался. Пусть он уйдет с твоей молитвой, — она лучший спутник" (1, 181).

Молитвой можно помочь человеку, исцелить страдающую, обремененную душу. Важно, чтобы молитва питалась любовью к Богу и человеку; евангельское человеколюбие —

это не гуманистическое превознесение человека, вырождающаяся в конце концов в человекоугodie, а любовь, имеющая божественный молитвенный источник. Такая любовная молитва и молитвенная любовь способны исцелить и ближнего, и "врага". "Молитесь, с молитвой приступать к каждому человеку, к каждой твари — вот моя «социология»... Голубиными ногами молитвы входить в каждое больное существо, в больную душу каждой Божией твари — вот мое желание и устремление" (1, 190).

Молитва — это также, а может быть прежде всего, центр и "сердце богочеловеческого тела Церкви" (1, 165), ибо она регулирует, управляет "кровообращением" всего тела Церкви и каждого отдельного его члена. Именно в Церкви все догматы, истины Откровения и Священного Предания преобразованы и преображены в молитвы и прошения. В богослужении заключено все православное богословие, все богочеловеческое домостроительство нашего спасения (1, 165). В святой литургии омовительное Писание, Предание и богословие оживают, претворяются в личный опыт каждого молящегося, становятся самой жизнью; в литургической молитве нет разделения между истинами веры и жизнью в вере: вера, богословие и жизнь — совпадают (1, 165). Молитва преображает самые сложные и непостижимые для рассудка догматы и истины в живую жизнь нашей веры, содеживает их душой нашей души (1, 171). Важно только, призывает о. Иустин, чтобы храмовая молитва не оставлялась за порогом храма, необходимо, чтобы жизнь вне храма была продолжением богослужения: продолжением нашей молитвы, нашего умиления и смирения (1, 165).

Молитва, по о. Иустину, носит соборный характер. Даже если человек молится не соборно в храме, а дома перед иконами, он активизирует себя как часть мистического тела Христова — Церкви, он включается в непрестанную соборную молитву к Богу Пресвятой Богородицы, ангелов, архангелов, всех небесных сил и всех святых, которые предостоят престолу Господню, молясь за весь мир. Их молитвами держится Вселенная — Божие творение. Поэтому в своей молитве человек обращается не только к Богу, но и к Его святым,

уже достигшим Богообщения. Молитва к святым включает личную индивидуальную молитву в соборную мистическую молитву живых и умерших, припадающих к Богу здесь грешников и предстоящих в Царстве Небесном святых. По о. Иустину, именно молитвенное общение со святыми дает "благодатное ощущение православности" (1, 184). Соборная молитва предполагает и молитву об усопших, ибо у Бога все живы (Лк. 20:38), собор молящихся — это "все мы, единое тело: и на земле, и на небе" (1, 168).

Соборный и личный молитвенный опыт как бы выявляет и тех святых, которые особенно быстро и часто "откликаются" на молитву (отсюда Деисус и "местный" ряд иконостаса), которые особенно близки молящемуся, которые явственно и ощутимо отзываются на его прошения, укрепляют в вере и подвиге. У о. Иустина такими "любимыми святыми", посредниками в молитвах были свт. Иоанн Златоуст, свт. Савва Сербский, прп. Серафим Саровский, прп. Антоний Великий, прп. Макарий Египетский и некоторые другие (1, 127–128). Особенно любил и часто повторял о. Иустин молитву свт. Иоанна Златоуста (7-ю вечернюю), состоящую из кратких прошений по числу часов дня и ночи. Перед каждым из 24-х прошений он обращался к святителю, например: "Молитвами свт. Иоанна Златоуста, Господи, даждь ми слезы и память смертную и умиление" (17-е прошение). Отец Иустин стремился к "внутреннему срастанию" с молитвенными возгласами великого святителя и великого молитвенника. Так, молитвенным общением со святыми, и каждый человек, по о. Иустину, восходит многократно проверенным опытным путем к Богообщению.

Молитва в духовной жизни верующего, согласно писаниям о. Иустина, выполняет триединую работу:

а) она источник мудрости — метод ее познания — и способ ее обретения, ведения;

б) она источник внутренней духовной жизни — метод самопознания (своего богоподобия и глубокой греховности) — и способ выявления, просветления образа Божьего в себе;

в) она способ бытия в мире — метод его познания — и источник энергии, преображающей этот мир;

г) она источник добродетелей (покаяния, смирения, любви и других) — метод и способ их обретения — она же возрастает на них и питается ими. Молитва — это сердце всех добродетелей (1, 172).

Отец Иустин не уставал молиться сам, не уставал призывать к молитве всех, не уставал наставлять в молитве своих духовных чад. Омолитвить себя всего — ум, сердце, душу, волю, тело — вот его духовный завет всем вступающим, вступившим и шествующим по пути служения Богу.

Молитвами о. Иустина Челийского да помилует и спасет нас Господь, да научит нас омолитвить себя, по слову сего подвижника Христова! *

ИЗ ПИСЕМ ОТЦА ИУСТИНА

...Главный, центральный подвиг, подвиг, который вводит христианина во все остальные подвиги... — молитва... Молитва наипервейшее дело христианина, ибо она ставит человека в правильное, единственно правильное отношение ко Господу Христу и к миру... Молитва — метод православной жизни и метод православного мышления.

(1, 291)

В мире сем мы на поле сражения: с помощью святых добродетелей мы боремся за вечную жизнь. Особенно — с помощью молитвы и терпения. Поэтому наша главная задача — вооружить себя непрестанной молитвой. А это достигается постоянным принуждением себя, всех своих духовных сил к непрестанной молитве. И так до тех пор, пока молитва не станет ежесекундным дыханием нашей души. Каждый свободный миг своей жизни превратим хотя бы в молитвенный вздох, в молитвенный вопль, в молитвенный крик. Непрестанно молиться — это спасоносная заповедь евангельская. Хочешь ли, чтобы твои мысли были чисты и святы? — Тогда всякую мысль заверши молитвой. Для этого необходимо непрерывно принуждать себя к молитве; и

* Отец Иустин долгие годы был духовником женского монастыря Челье, в 100 км от Белграда.

еще — непрерывно принуждать себя на всякое добро. Не забудем: мы в мире сем боремся за жизнь вечную. И побеждаем, ибо вооружены "всеоружием Божиим".

(1, 228)

...Искренняя от всего сердца молитва обладает всепобеждающей воскрешающей силой, которая воскрешает из духовной смерти нашу оцепеневшую душу. Встанешь всем своим существом на молитву и тотчас ощутишь, как твоя душа с быстротой молнии взлетит с земли на небо в хор святых ангелов и архангелов и бесчисленных святых Божиих. Тогда каждый из нас всем сердцем чувствует истинность слов святого апостола Павла, что наша жизнь — на небесах во Христе Иисусе, чудесном Господе и Спасителе нашем. А когда свою молитву мы подкрепляем постом, кротостью, смирением, терпением, любовью, благостью, послушанием, — о! тогда она воистину становится всеисильной и всепобеждающей во всех наших сражениях со всеми искушениями мира сего. Настолько всеисильной и всепобеждающей, что в ее пламени и огне сгорают все духи злобы, которые через искушения нападают на нас со всех сторон. Только с помощью Божией твердо и неустанно пребудем в предстоянии и молитве!

(1, 222)

Когда ум полностью омолитвит себя, в нем восходит вечная весна. Молитва — вечная весна ума. Молитва — вечная весна и души, и сердца, и воли. Молитва отгоняет от человека зиму греха, зиму страсти, зиму всякого сладкого самообмана, сладкой прелести, и воцарится в нем непреходящая райская весна Вечной Истины Христовой, Истины Богочеловеческой, Истины — человеческой...

(1, 211)

Из молитвы о. Иустина ко святому Иоанну Златоусту

...О предивный святителю Божий Иоанне Златоусте, святые мощи твои далеко от нас, но Христолюбием своим ты весь пред Господом Христом, а человеколюбием весь среди нас, и потому молим тя от всего сердца нашего: любовью

своею снизойди к нам, огнем Христолюбия своего воспламени души наши, да горят они вовек христолюбием твоим и в мире сем, и в вечности, да горят и не сгорают; и даждь нам любовь твою святую к людям, дабы и мы одним единым светом любви любили друг друга и всю тварь земную и поднебесную.

...О всемилостивый отче Иоанне Златоусте, сжался надо мною многогрешным: прими мя навеки в святые твои молитвы! прости и помози ми многогрешному! воздвигни мя падшего и пропащего, вымоли мне прощение грехов! исцели душу мою от всех страстей! исцели ум мой от всех болезней! исцели волю мою от всех слабостей! огради мя святыми твоими молитвами, как огненной броней, да ни едина страсть не ввергнет мя в духовную смерть! утверди ум мой в Христолюбии твоём! Отними страсти у меня всестрастного силою святых добродетелей! удостой мя чувствовать тобой, мыслить тобой, желать тобой, делать тобой, верить тобой, любить тобой, жить тобой и здесь и в вечности! даждь ми любовь Христову твоим Христолюбием! Даждь ми смирение и терпение! Молись во мне за меня и вместо меня!.. дабы и я многогрешный вместе с тобой, возлюбленный Христом отче Златоусте, немолчно славил чудесного и незаменимого Господа и Спаса нашего Христа, ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и присно и во веки веков. Аминь! Аминь! Аминь! *

* Молитва о. Иустина приводится в сокращении по единственной причине — трудности перевода. В языке о. Иустина довольно много неологизмов, так что они могли бы стать темой специального лингвистического исследования. Поэтому перед нами стояла проблема: либо перевести эти неологизмы, калькируя их (некоторые из них являются, в свою очередь, калькой с греческого), но тогда молитва из-за своего языкового "модернизма" в русском переводе теряет молитвенный строй, либо найти эквиваленты в молитвенном наследии русской Церкви, что несложно, но тогда замена неологизмов о. Иустина привычными для русского сердца и уха словами, закрепленными традицией, лишает молитвы сербского подвижника самобытной энергии, духа и силы, присущих только им. С надеждой на появление новых переводов, в которых совпадут молитвенный и переводческий опыт, мы пошли по пути наименьшего сопротивления — сократили то, что не смогли перевести, но желая дать хоть отдаленное представление о молитвах подвижника, решились предложить два этих маленьких отрывка.

Никита СТРУВЕ

ЛИТУРГИЧЕСКАЯ МОЛИТВА И ЛИЧНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ *

Почти всякий, кто говорит о крещении Руси, неизменно приводит рассказ летописи, повествующий о восторге, испытанном посланниками князя Владимира на праздничном богослужении в Константинополе. И это закономерно: летописный рассказ — не просто эпизод среди других из истории дохристианской Руси, он ключ к пониманию религиозного призвания России, даже более того, он приводит к пониманию русской религиозной души.

"И пришли мы в греческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той...".

Совершенно очевидно, что мы здесь имеем дело не с историческим событием, но, на столетнем расстоянии, с выражением соборной памяти народа, желающего себе отдать отчет в избранном им пути. В такой интерпретации летописный рассказ приобретает лишь большую ценность: речь идет не о каких-то определенных послахах, в таком-то году побывавших в Константинополе, а о целом народе, воспринявшем христианство, в первую очередь, через незабываемую красоту храмового действия.

Заслуга передачи христианства через литургическую красоту принадлежит Византии. Византийская миссия избрала литургию и связанные с ней храмостроительство и церковное искусство, как наиболее действенное средство для обращения ко Христу соседних полуварварских народов. Но жители России, Киевской, как и последующих, Московской,

* Доклад, прочитанный в Риме на симпозиуме в честь 1000-летия Крещения Руси, устроенном Fondazione Cini и Academia Lincea (ноябрь 1988 г.).

Петербургской и даже Советской, показали, что обладают особой восприимчивостью именно к этой эстетической стороне христианства. Русь восприняла литургию как осязаемое присутствие Небесного Царствия, как подлинное, — и эта формула не раз послужит духовным писателям и богословам XX века, — н е б о н а з е м л е.

Этому видению, приобретенному с самого начала, русская Церковь останется верна через все свое существование: она разовьет благолепие и великолепие богослужения в гораздо большей степени, чем другие православные народы, включая и Мать-Церковь, Константинополь.

Вот почему нам трудно согласиться с тезисом, недавно выдвинутым историком Вл. Водовым, утверждающим, что "русские были медленно обращены в ритуализм, зачастую лишенный всякого смысла". Зато мы целиком присоединяемся к прекрасной формулировке из речи на юбилейных торжествах в Константинополе митрополита Пергамского Иоанна Зизулиаса: "Крещение русских людей было погружением не в днепровские воды, а в литургическую жизнь православия". И в этом отношении, несмотря на все превратности истории, кризисы и отступления, русские остались верны своему крещению. Даже в наши дни, туристы, эти современные посланники Запада, часто испытывают в московских церквях чувства, сходные с теми, что описали киевские послы десять веков тому назад. Есть и такие, которых красота русского богослужения склоняет обратиться в православие.

* * *

Однако, как известно, в создании православной литургии русские фактически не участвовали. К моменту крещения Руси византийское литургическое творчество было закончено. Вместе с христианством Русь получила такое совершенное по форме и богатейшее по содержанию литургическое наследие, что почти ничего не могла к нему прибавить. Службы новым святым или новооявленным иконам

слепо следуют византийским канонам, и каковы бы ни были их качества, они не идут в сравнение с такими величайшими созданиями религиозного гения, как последование Страстной седмицы или воскресный Октоих.

В чем же русские довели богослужение, как говорилось выше, до некоторой степени совершенства? (Может быть, следовало бы сказать скромнее и точнее, что они всего лишь сохранили византийское великолепие, которое в других православных странах за века турецкого владычества сильно повыветрилось?)

Как нам представляется, литургический гений русского народа, даже если он проявился больше в восприятии и в исполнении, чем в творчестве, определяется двумя основными чертами, которые, каждая, имеют и свою полярную противоположность:-

во-первых, повышенное чувство священного, сакрального, которое сочетается с не менее острым ощущением интимности сакрального, его мирного сосуществования с обыденностью;

во-вторых, повышенное чувство праздника, праздничности литургически вспоминаемого события, что не только не исключает, но наоборот предполагает суровую подготовку к празднику, через усиленную молитву, пост и покаяние.

Особым пиететом русские окружили то место церкви, где совершается жертвоприношение. Не случайно слово "а л т а р ь", обозначающее престол, распространилось и на все пространство вокруг него. Именно в России, начиная с XV века, высокий иконостас плотно отделил "алтарь" от остальной церкви, скрыл его от глаз верующих. Павел Флоренский видит в иконостасе "окно в невидимое", в то время как современные литургисты скорбят об образовавшемся разделении между действием и созерцанием. Всякая распушенность, всякое вторжение мирского в это "святая святых" кажется кошунственным. Отец Сергей Булгаков, по высылке в Константинополь, с удивлением и возмущением отмечал, как греческие клирики без благоговения ведут себя, вне службы, в алтаре.

Всем известно, как благочестивые старе женщины вовремя и не вовремя блюдут за благочинием входящих

в церковь, видя иногда неподобающее поведение там, где его нет.

Все в храмовом действии, частое каждение, обилие икон, пение а саpella, стояние молящихся, обилие символов, стремится создать пространство, качественно отличное от мира. И сама затянутость богослужения, в чем русские, пожалуй, побивают все рекорды, проистекает не столько от длинот литургических текстов (о. Лев Жилле, бенедиктинец, перешедший в православие, хвалился, что может отслужить литургию в 45 минут), сколько от того же стремления построить пространство-время, отличное от обычных мирских категорий. Чтобы дать почувствовать остановку времени, необходимо его максимально растянуть. (Обратным образом, в мистическом озарении время сокращается до мгновения, но это уже не зависит от человека).

Литургическая практика на Западе претерпела обратную эволюцию: она стремилась приблизиться к категориям мира сего. Скамьи и стулья, появление органа, а в наши дни и более народных, часто даже тривиальных инструментов (электрическая гитара), предельная краткость богослужения (иные мессы длятся не больше 20 минут), сокращения символов горнего мира, все это либо целиком изгнало сакральное из священнодействия, либо свело его к абстракции.

Литургия, евхаристия — это прежде всего собрание народа *ἐπι το αὐτῷ* на одно и то же, на согласное молитвенное действие, единими усты и единым сердцем. Русские показали себя особо восприимчивыми именно к соборному характеру церковной молитвы, когда личность, не растворяясь, подчинена целому. Однако и русские чувствовали необходимость удовлетворить и индивидуальные потребности. На Западе месса, до Второго Ватиканского Собора, неуклонно вырождалась в частную, заказную службу, в иных случаях исключая уже и причастие верующих. Такая редукция литургии на православной почве немислима. Тем не менее, русские чаще, чем другие православные народы, прибегают к требам, панихидам и молебнам. Приуроченные к определенным дням и событиям, требы вполне закономерны.

Но, отслуженные после литургии, они обесценивают центральное священнодействие, в котором заключено все. В том же духе, именно в России, получила развитие подготовительная часть литургии, проскомидия, на которую верующие приносят вместе с просфорами списки (диптихи) живых и умерших. Тайное, неслышимое поминовение за проскомидией не всегда удовлетворяет молящихся, и часто поминовение производится вслух за великим входом, что не только задерживает ход службы, но еще и дает недолжный перевес частному над общим. Как видно из этих примеров, не легко найти должное и правильное равновесие между частным и общим в литургической жизни.

* * *

*

Чувство праздника, означающего победу сухого над несущим, радости над печалью, русские довели, пожалуй, до предела, неизвестного другим народам. Теперь уже стало трюизмом повторять, что ни в одной стране Пасха не празднуется столь ярко и весело, как в России. Здесь, в Риме, уместно привести то, что об этом писал самый знаменитый из всех русских жителей Рима, Николай Гоголь:

“В русском человеке есть особенное участие к празднику светлого воскресения. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, — те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах — он чувствует грусть и обращается неволью к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представляется — эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный звон, который всю землю как сливает в один гул, это восклицание «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается у нас, — и он готов почти воскликнуть: «Только

в одной России празднуется этот день так, как следует ему праздноваться».

Но, как видно из последних слов, Гоголь настаивает не столько на исключительности в России празднования Пасхи, сколько на неизбежной неадекватности между обрядом и реальной жизнью: "русский готов п о ч т и воскликнуть". На этом роковом "почти" строится весь ход гоголевской мысли: обряд еще не есть жизнь; не отражаясь на ней, он лишается своего смысла.

Однако русские никогда не считали, что праздничная радость может быть достигнута без усилий, без поста и покаяния. Покаянная обрядность получила в России поразительное развитие. В византийской церкви чин прощения оставался как будто внутримонашеским: некоторые монахи перед великим постом уходили пустынножитьельствовать и прощались с остающейся братией. В России же этот чин получил всенародное распространение. Французский капитан Маржерет, побывавший в России в начале XVII века, рассказал в своих записках, что чин прощения длился целую неделю и практиковался во всех слоях населения: "Они ходят друг ко другу, — писал он, — целуются, просят друг у друга прощения, если обидели словом или делом, даже встречаясь на улице, даже если раньше не были знакомы, они целуются и говорят: «Прости меня, пожалуйста», на что другой отвечает: «Бог тебя простит»". Строгий пост всегда скрупулезно соблюдался, да и в наши дни продолжает соблюдаться. Суровость русского поста поразила воображение честного католика возрожденческой эпохи, Герберштейна, настолько западные обычаи отставали уже тогда от восточных. С тех пор Запад совершенно отказался от поста, как обязательных упражнений и подготовки к восприятию священного события.

* * *

С течением времени, при отсутствии богословских школ и религиозной мысли, а начиная с XVI века и живой проповеди, обряд и обрядность приобрели в русском христианстве преобладающее над всем остальным значение.

Стоило начать изменять букву обряда, чтобы разразился великий раскол. Изменяя второстепенное, реформаторы, в глазах народа, посягали на целокупность "неба на земле". Конечно, дело было не только в обрядах. К концу XVII века менялся весь строй и стиль жизни, начиная с священных изображений и кончая одеждой. Были сарафаны, на которых девять пуговиц символизировали девять чинов ангельских, три ленточки на плечах — святую Троицу, а четырехконечный плат — евангелистов... Променять такой богатый священными символами сарафан на западное функциональное платье — означало измену Христу.

* * *

Но было бы неправильным, по крайней мере односторонним, рисовать русское благочестие как исключительно литургическое и обрядовое. С самых первых, киевских времен, русское благочестие не в меньшей мере прониклось исихастской духовностью, основанной на сугубо личной, постоянной, внутренней молитве. Непрестанное повторение имени Иисуса не требует никаких внешних признаков или жестов, оно даже не нуждается в шевелении губ. Иисусова молитва индивидуальна, может твориться в любом месте, в любое время: будучи, через имя, прямым общением со Христом, она заменяет собой сложность и многословие общественных, канонических богослужений. До некоторой степени она даже заменяет таинство причащения. В Византии умная молитва сосредотачивалась преимущественно в монастырях. В России она, начиная с XI века, распространилась и среди мирян. Владимир Мономах рекомендует в своем "Почении" ее произносить тем, кто находится в путешествии или при деле. Можно законно поставить вопрос: если бы исихазм не поветрился в XVII веке, то не избегла ли бы Россия обрядового раскола? После двухвекового забвения исихастская традиция возобновилась в конце XVIII века благодаря св. Паисию Величковскому, а в XIX уже распространилась и в народе. "Рассказы странника" свидетельствуют об этой тяге в народе к молитве

простой, сведенной к самому основному. И тем не менее, даже в этой наипростейшей форме молитвы, русские внесли свой духовный максимализм. В начале XX столетия, на Афоне, группа русских монахов, отождествившая Имя Божие с Божественной сущностью, была осуждена Синодом. Хотя этот раскол коснулся лишь монастырей, он все же имеет нечто общее и с народным расколом XVII века: тут та же тенденция к предельной онтологизации обряда, даже если у имяславцев обряд сводился к одной формуле. Когда символ отождествляется с реальностью, то это уже не небо на земле, а превращение земли в небо.



Молитва Иисусова находится на противоположном полюсе по отношению к молитве литургической, но ею не исчерпывается частная, личная молитва. Основную типологию частной молитвы мы находим, как это ни парадоксально, у такого безверного и двусмысленного писателя, каким был Горький. В "Детстве", лучшем его произведении, Горький, на основании своих воспоминаний, мастерски противопоставил два вида молитвы: дед его молился исключительно "готовыми" молитвами, зафиксированными церковью в молитвослове, и крайне не сочувствовал свободной молитве бабушки. Бабушка, молившаяся своими словами, не одобряла в свою очередь казенную молитву мужа: "...от своей-то души не словечка Господу не подаришь ты никогда, сколько я ни слышу!" Но следует заметить, что и бабушкина свободная молитва основана на литургических текстах, на цветистых повторениях акафистов, столь популярных в народе:

"Богородица преславная, подай милости твоя на грядущий день.

Радости источник, красавица пречистая, яблоня в цвету... Сердечушко мое чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, мати Господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря...".

В "Соборях" Лесков записал (или придумал?) замечательную свободную молитву, в которой бедняк Пизонский, в момент посева, соединяет социальные мотивы с космическими:

"Боже! Устрой и умножь, и возрасти на всякую долю человека голодного и сирого, хотящего, просящего и произволящего, благословляющего и неблагодарного".

Автор, устами своего героя, протопопа Савелия, добавляет: "Я никогда не встречал такой молитвы в печатной книге. Боже мой, Боже мой! Этот старик садил на долю вора и за него молился... О моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!"

Молитвенное народное творчество еще мало изучено, но приведенные примеры показывают, что народ не только приближает слова молитвы к обыденным нуждам, но и вносит более подчеркнутый космический элемент в обращение к Богу.



Молитва литургическая, молитва частная, народная, но имеется еще один особый род молитвы литературного порядка. Мы уже приводили примеры из Лескова и Горького, можно также сослаться на описания частной молитвы у Толстого или Солженицына. Но есть и другое: молитва глубоко проникла в русскую поэзию, иногда до стирания грани между ними. Как прекрасно показал в своих книгах аббат Бремон, поэзия независимо от тематики — младшая сестра молитвы, как бы ее мирской двойник. Пушкин говорил о том же: "Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв". Марина Цветаева утверждала, что каждое стихотворение в сущности посвящено Богу. Но есть в русской поэзии, как XIX, так и XX века, стихотворения, непосредственно переходящие в молитвы, где мирское как бы становится священным. Пушкин построил свой последний, неоконченный цикл стихотворений, как некую иллюстрацию

к дням страстной седмицы. Он дерзнул переложить в стихотворную форму покаянную, необычайно популярную молитву св. Ефрема Сирина, снабдив ее коротким личным вступлением, в котором определил свое отношение к этой молитве: она "чаще всех приходит на уста / И падшего крепит неведомою силой". Благодаря пушкинскому целомуудрию, это рискованное переложение ему совершенно удалось.

У Боратынского мы встречаем другой подход. Боратынский взял в основу каноническую молитву к Святому Духу, которой в православии начинается всякое молебствие, литургическое или индивидуальное. Сохраняя структуру молитвы, ее собранность и краткость, поэт вложил в нее чисто субъективное содержание, выразил в ней всю тревогу современного раздвоенного сознания:

Царь небес! Успокой
Дух болезненный мой.
Заблуждений земли
Мне забвенья пошли,
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.

Лермонтов, воспевавший "благодатную силу" молитвы, дал нам прекрасный образец в стихах молитвы бескорыстной, за любимую душу, которая поручается не только Матери Божьей, но и "сопутникам, полным внимания". Такая просветленная, надмирная сила отречения уникальна в романтической поэзии. Ближе к нам, сходный пример был нам дан Ахматовой, готовой ради спасения России отказаться от всякого личного блага:

Дай мне долгие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка и друга
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией,
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в свете лучей.

От "Повести временных лет" до поэзии Ахматовой, мы имеем одну неразрывную цепь. Бог открывается русской душе в красоте и таинстве молитвы, а, в свою очередь, земная красота возносится к Богу.

Да будет мне позволено в качестве заключения выразить пожелание. В этот юбилейный год наметился возврат России к изначальному озарению предков. Кризис XVII века был извращением (с двух сторон) чувства священной красоты. Катастрофа 17-го года была полным затмением этого чувства. Да станет возврат "неба на землю" подлинной реальностью, да не будет знать он в дальнейшем ни частичных извращений, ни полных затмений.

РАСИЗМ И ХРИСТИАНСТВО *

Р а с и з м и е в р е й с т в о

Однако, самоопределение расизма как антибольшевизма еще не является для него исчерпывающим, его, так сказать, онтологией. Скорее оно является для него некоей случайностью, которой могло бы и не быть. Вернее, в этой случайности не случайно проявляется неслучайная историческая сила, с которой лицом к лицу и столкнулся расизм. Эта сила есть "международное" е в р е й с т в о, отношение к которому явилось мистическим и историческим оселком для расизма. Можно сказать наперед, что сам расизм, в качестве самосознающего себя "северного германства", есть не что иное, как воинствующий антисемитизм, всех возможных оттенков, от мистического до погромного. Душа расизма, по крайней мере, в ее отрицательном, полемическом самоопределении, есть плохо скрытая, отчасти же бессознательная зависть и ненависть к еврейству и соперничество с ним, отсюда проистекающее. И это — то соперничество есть в нем самое значительное и характерное, в этом смысле можно даже сказать, самое онтологичное и интересное.

Начинается этот антисемитизм в области эмпирической, как бытовое отталкивание и расовый инстинкт, который дает зрячесть относительно разных черт в духе и положении еврейства и определяет к ним соответственное отношение. В книге Гитлера *Mein Kampf* мы уже находим многие страницы с выражением такового обывательского антисемитизма, который питается еще чувством национальной ранености после первой мировой войны. Само по себе такое чувство не является какой-либо новостью для Германии, как об этом достаточно убедительно свидетельствует подбор

* Продолжение. Начало см. в «Вестнике» № 156.

соответствующих цитат из произведений германских (и, конечно, не одних лишь германских) корифеев — в частности, не одного только мрачного франкфуртского отшельника, философа Шопенгауера, но и многих других, от которых этого можно было бы и не ожидать. Теперь и они охотно выставляются проповедниками антисемитизма и расизма. Изменение в атмосфере, свойственное нашему времени, выражается в том, что если прежде люди стеснялись в открытом выражении подобных чувств, то теперь они потеряли всякую застенчивость в травле еврейства выставками, плакатами, печатным словом, доходя до полного отсутствия стыда. То, что казалось естественным для некультурного варварства, теперь сделалось свойством стран высшей европейской культуры, — подобного явления никогда не видел еще мир. Этот бытовой антисемитизм питается в настоящее время не только темными инстинктами крови, что было и всегда, на протяжении всех времен в судьбах еврейства, но и широчайшей, хотя, конечно, и в высшей степени тенденциозной, осведомленностью о судьбах и делах еврейства в жизни международной, в том своеобразном соединении международного, точнее даже всенародного его распространения вместе с никогда не утрачиваемой национальной связью. Еврейство есть подлинная "ось" всемирной истории в том смысле, что оно в ней присутствует с самого ее начала до конца. Это есть единственный народ, удерживающий свое место в пестрой смене разных народов, в их исторической очереди. При этом его сила не ослабевает ни количественно, ни качественно. Таков основной факт в жизни "избранного народа", это предсказано и в пророческих книгах, как свидетельство на то воли Божией. И это физическое сохранение и распространение Израиля сопровождается внедрением его в жизнь всех наций в разных сторонах ее жизни, — политической, экономической, культурной. Розенберг определяет это свойство как *Gegen-Rasse*. Этим он хочет выразить мысль, что еврейство остается всегда национально, в смысле своего проникновения в толщу жизни других народов, ее нервы и мозг, оставаясь при этом самим собой, как международно-сверхнародно-национальное единое в своей неразложимости. Это не устраняется даже

смешением крови через смешанные браки, которое создает лишь для этого влияния новые возможности, более интимные. Современное знание располагает для определения такого влияния несравненно большими и точнее средствами, нежели в предшествовавшие времена. Оно способно раскрывать этот "противорасово-расовый" характер еврейства если не исчерпывающе, то, во всяком случае, несравненно полнее и очевиднее, чем предшествующие эпохи. Все области хозяйственной, политической и культурной жизни открыты этому влиянию и ему подвержены: биржа, рынок, пресса, театр, наука, парламент, даже правительства. Все это факты слишком общеизвестные, чтобы можно было пытаться в какой-либо мере ослабить или отвергнуть их. К этому присоединяется еще сила международной концентрации еврейского влияния, как национально-анонимной "противорасы", которое осуществляется в соответствующих организациях: сюда относится масонство, социал-демократия, большевизм как система правительственного террора и деспотизма. Конечно, никто не сможет утверждать, что все это подлинно суть еврейские организации, поскольку они действительно вмещают в себя различные национальные элементы. Однако никто не может отрицать здесь активности еврейства в его особой, органической сплоченности, которая не свойственна в такой мере никакому другому народу. В отношении к масонству это проявляется, может быть, слабее, чем в социал-демократии, которую считают, хотя также преувеличенно, организацией, вдохновляемой еврейством, на том, все-таки недостаточном, основании, что К. Маркс и многие другие социал-демократические писатели были евреи. (Достаточно вообще помнить, что в среде социалистов христианские влияния и вообще были всегда относительно слабее даже и среди "арийских" элементов). Что касается большевизма, то историческая правда требует все-таки признать здесь роковой характер рокового влияния еврейства в верхушке коммунистической клики, невзирая даже на то, что огромное большинство русского государства принадлежит к разным народностям, и прежде всего русской. Может быть, менее всего количественная пропорция еврейской национальности

наблюдается в Германской империи теперь, когда началось то гонение на нее, которое ныне достигло предельной исключительности. К этому надо присоединить и то еще, что в настоящее время антисемитское влияние завоевателей распространяется во многих странах (и прежде всего во Франции), так что можно спрашивать себя: если этому влиянию не будет положено какой-либо внешней препоны, то где на земном шаре вообще останется место для существования еврейского народа? Во всяком случае, придется констатировать следующее: то, что у других народов, может быть, является порождением растерянности, слабости, морального упадка, духовного разложения, то в расистской Германии в настоящее время является выражением национального самоутверждения, внутренним самоопределением. В силу этого и должно сказать, что **р а с и з м** е с т ь **а н т и с е м и т и з м**, по крайней мере, в нравственном смысле является ему тождественным. Расизму свойственно вообще надмение и презрение по отношению ко всем нациям не-германским. Однако именно антисемитский пафос есть тайна расизма, которая, может быть, вполне даже и не доходит до его сознания, но инстинктивно остается определяющей. Конечно, не нужно закрывать глаза, что существует и среди других народов европейских известный инстинктивный антисемитизм, отталкивание от еврейства, духовное, эстетическое, всяческое, за редкими лишь исключениями. Сознательные и ответственные за свои чувства личности стремятся к преодолению этого инстинкта, у других он парализуется чувством слабости перед лицом сильнейших, потому что нельзя отрицать жизненной устойчивости еврейства, его силы в борьбе за существование, солидарности, сознательной и инстинктивной, — наряду с его сверхнациональным распространением в мире в качестве *Gegenrasse* (завистливое и ревнивое око расовой вражды прозирает здесь некую подлинную действительность). Еврейство, как таковое, есть сила, которая требует себе подчинения, и фактически его добивается в самых разнообразных положениях, и слабейшие среди других народов этому не в силах противодействовать, хотя иногда и реагируют на это параксизмами бессильного бешенства

разного рода, — погромами, вообще утратой гражданского и духовного джентельменства в отношении к евреям, при этом, однако, оказываясь невольно в положении виновных или как бы извиняющихся. Однако подлинное равенство и равноправие этим отнюдь не достигается. Пресловутый "интернациональный" характер еврейской "противорасы" делает ее гораздо сильнее и вооруженнее против всякого другого народа, пребывающего в ограниченных рамках национального существования. Самое существование Израиля в качестве подлинной "оси" истории, его самосохранение в веках, когда разрушение постигало царства, истреблялись и уничтожались народы, способно возбуждать национально-историческую ревность. Царства египтян, персов, вавилонян, эллинов, греков с иными их современниками миновали века древней, средней и новой истории, и на фоне всего этого сохранение Израиля есть настоящее ч у д о и с т о р и и, которого не хотят видеть только слепотствующие. Еврейство вместо того, чтобы давно уже исчезнуть с лица земли, вместе с многочисленными своими современниками, несмотря на свой исторический возраст и вопреки, казалось бы, неизбежной физической дегенерации, не только сохраняется, но и умножается, крепнет и побеждает в историческом соревновании народов. Его национальная сила, в соединении с его интернациональной сверх- или противорасовостью, действительно ставит и не может не ставить вопрос о взаимоотношении между ним и всяким другим народом, в среду которого оно вкраплено, как численное меньшинство. Однако этому не отвечает его фактическая влияние и сила. Этого невозможно не видеть, хотя в известной степени и до известного времени и можно было еще не замечать. Однако теперь, при современных методах социологического наблюдения, это стало навсегда невозможно. "Еврейский вопрос" уже занял место в центре мировой истории, и по отношению к нему является неизбежным ответственным самоопределение. Если бы он был разрешим на почве образования территориальной еврейской державы, которая бы втянула в свое население если не все, то во всяком случае значительное большинство еврейства, вопрос был бы действительно поставлен к мыслимому решению. Однако

последнее не только оставалось до сих пор за пределами исторически достигаемого, но и вообще остается сомнительным в своей возможности.

Этому противоречит другая черта еврейства, также появившаяся с древнейших времен: его способность и даже особая склонность к ассимиляции, однако до известного предела. В разных местах своих исторических странствий, от Египта и Вавилона, Рима и Эллады, даже до наших дней, Израиль оставлял и оставляет своих национальных заложников, которые частью сохранились в изолированности "гетто", частью же ассимилировались, входя в культурно-политическое тело чужого народа, до полного внешнего слияния с ним, и, однако, через то не теряя своего собственного лица. И эта ассимиляция становилась тем легче и естественнее, что собственный религиозный его тип все более выветривался под влиянием поверхностного европеизма, но при этом тем ощутительнее проявлялись неистребимые времена расовые черты. Перед всем европейским человечеством (включая сюда и американское) встал жизненный вопрос о самоопределении и взаимоотношении между количественно незначительным, но качественно могучим еврейством, с одной стороны, и всем огромным численным большинством других народов, с другой стороны. Таково трагическое положение, в котором находится сейчас выветрившаяся в своем христианстве Европа, одержимая в то же время социальными страстями, в своем отношении к "все-расе", а вместе и "противорасе" еврейства. К этому интернациональному отношению, наряду с соперничеством и борьбой, еще привходит влечение, своего рода эрос ассимиляции с особой гибкостью и упругостью. Можно подумать, что на этом пути, на котором некоторая ассимиляция постигает все народы, в общем историческом котле растворится без остатка и нерастворимое, т. е. Израиль. Однако и это растворение есть только кажущееся, имеющее для себя известные пределы. Историческое чудо Израиля есть его неистребимость и, так сказать, субстанциальная целость, как "всего Израиля", который не только вообще существует, но и "в е с ь спасется", согласно пророчеству ап. Павла, и это б о ж е с т в е н н о предустановлено. Такова о нем

воля Божия, как в Ветхом, так и в Новом Завете, которая и исполняется на наших глазах со всей ее неотменностью и непреодолимостью. Израиль, как ось истории, есть вместе с тем и избранный народ Божий, которому вверены закон и пророки. Через него восприял свое человечество от Пречистой Девы Марии воплотившийся Сын Божий, и против этого антисемитам остается только отрицать самый этот факт, объявляя Христа "арийцем". Из среды его призваны апостолы, которые посланы Христом крестить и учить в с е народы, и исполнение этой заповеди, которое уже предполагает известную ассимиляцию, начинается с первых же веков существования церкви. Тогда — в известном смысле подобно, как и теперь — совершалась та "ассимиляция" вместе с интернационализмом, согласно которому в Церкви Христовой "нет эллина или иудея, варвара и скифа", но во всех Христос. Однако это воссоединение во Христе не только не отменяет мистической и исторической силы того факта, что Израиль соединен некими узами духовного брака со всем человечеством, но его утверждает. Перед лицом его он поставлен самим Христом, к тому избран и призван. И нельзя мыслить это избрание только как временное и уже миновавшее за исполнением времен и сроков. Тому противоречит универсальный характер этого избрания и посланничества: "шедше научите все языки, крестяще их", эта заповедь и слово Божие, Ветхого и Нового Завета, также есть в человеческом смысле слово Израиля, прозвучавшее на его земле, частью на его языке, частью же н е на его языке (на греческом, т. е. уже в ассимиляции). Поэтому то взаимоотношение, которое дано и задано в истории Израиля среди всех народов, свойственно природе и самого христианства, включено в его духовные судьбы. Поэтому есть и не может не быть, должно быть некое неизреченное и неисчерпаемое чувство благодарности от всех народов, по крайней мере, уже включенных в христианство (а далее и в него пока не включенных, но еще имеющих включиться) по отношению к Израилю. Здесь он также противопоставит всему человечеству в единственности своего избрания и своего служения. Конечно, ныне, когда христиане перестают быть ими, внешне и внутренне раскрещиваются, а еврейство заражается от них, как и само

в свою очередь их заражает своим безбожием и воинствующим антихристианством, как будто утрачивается и почва для неизменности этого соотношения и все тонет в пустоте и бескрасочности европейского позитивизма, гуманизма, национализма и нигилизма. Теперь провозглашается, что еврейство есть не религиозное, но расовое единство. Эмпирически это может быть и так, по крайней мере в пределах Европы, однако мистически все остается без изменения, ибо неизменно определение Божие, и под покровом безбожного европеизма совершается тайна спасения "всего Израиля", с ней в связи и обращенность ко "всем языкам". Он остается неким подлежащим к мировой истории, которая является как бы его сказуемым. И это надо понять как в мистических корнях, так и в историческом свершении.

В этом контексте имеется одна черта в современном антисемитизме, которую следует понять в ее природе и проявлении на обеих сторонах, именно тот р е л и г и о з н ы й коэффициент, который остается и ему свойственен. В природе Израиля таинственно и как будто противоречиво соединяются две черты: ассимиляция и расовая или племенная неистребимость, причем и то и другое делает его осью мировой истории. Самые крайние антисемиты, кричащие о всепроникающем влиянии Израиля, всюду отыскивающие его черты и всячески его обличающие, свидетельствуют тем самым одинаково как об его непобедимости и неотразимости, так и об его незаменимости в жизни народов. С одной стороны, "противо-раса", плод ассимиляции и в этом смысле всегда некоторая как бы подделка и двусмысленность в сопоставлении с расовыми аристократами в их национальной подлинности, есть нечто, так сказать, второсортное, — если и талантливое, то не гениальное. Оно не само по себе творчески довлеет, но есть тревожная и суетливая подделка, паразитарный нарост на чужом дереве. Но в то же время эта ассимиляционная восприимчивость делает еврейство открытым и обращенным ко всей области культуры, оно всем интересуется, ко всему способно и является физически руководящим, и притом все в большей и большей мере. Этот факт — в ясновидении ненависти — всего больше констатируется именно антисемитами, которые собирают

свидетельства того, что без евреев не может или, по крайней мере, не умеет обойтись европейская цивилизация, головка которой есть еврейская, хотя и всегда и неизменно в псевдорасовом облечении ассимиляции. В этом смысле всякая национальная культура, по крайней мере, начиная с известной эпохи господства интернационализма в жизни народов, есть подделка или, во всяком случае, смесь в смысле национальном. В этом состоит трагика еврейства в национальной жизни, взаимное притяжение и отталкивание, борьба и соперничество. Еврейство в ассимиляции, как сторона наступающая, одновременно не может не чувствовать притяжение и некоторую собственность на творчество чужой национальной культуры, но, вместе с тем, и непреодолимую ее чуждость и состояние борьбы с ней. В этом выражается динамизм ассимиляции, но вместе и ее граница и непреходимый предел. Народы же, осознавшие в своем национальном бытии чужеродное тело, как нечто нерастворимое и неосвоимое, при всей напряженности ассимиляции чувствуют болезненно это его присутствие. С инстинктивной непримиримостью к этому, они находятся в состоянии самообороны, однако соединяющейся с неодолимым к нему влечением. Израиль в рассеянии не имеет собственного национального лица, но неизменно сохраняет свое собственное национальное естество во всей его нерастворимости. Конечно, смешение, сложность есть удел всех национальностей и национальных культур во все времена, и теперь больше, чем когда-либо раньше. Однако разные слагаемые в этом смешении сменяются в истории, и только одна ее ось, Израиль, остается неизменна на протяжении в с е й истории перед лицом в с е х народов.

Эта трагика не измышлена антисемитами, хотя бы даже они силу этого факта и преувеличивали. Она должна быть преодолеваема лишь в свете высшего идеала и, конечно, не на путях зоологического истребительства, которое ни к чему и не приводит. Однако на протяжении многих веков этой борьбы были применяемы разные истребительные средства, как прямо погромного характера, так и изгнаний и ограничений в правах. Теперь они восстанавливаются в давно уже неслыханной и невиданной степени. Нельзя при

этом отрицать и того, что на стороне обороняющейся, а вместе исторически и наступающей еврейской нации могла выработаться — в разные времена по-разному — и защитная идеология против "гоев", которая теперь с таким злорадством обнажается в антисемитской литературе, хотя она представляет собою теперь преимущественно исторический интерес, как уже не соответствующая действительности.

Все это противоборство, соединяющееся и с культурным сотрудничеством в разные времена, протекало на почве р е л и г и о з н о й, взаимного неприятия иудейства и христианства. Это придавало ему религиозную глубину, однако вместе с безысходностью. Это была продолжающаяся борьба о вере, которая началась в Иудее еще за 19 веков до нашей эпохи и находится под знаком христианства и антихристианства. То была прикровенная или же откровенная и сознательная борьба о Христе: "За кого почитают люди Меня, Сына Человеческого? ... А вы за кого почитаете Меня?" (Мф. XVI, 13-15). Она отражалась — не прямо, но косвенно, — в жизненных отношениях "христианских" народов к антихристианскому еврейству (впрочем, это же столкновение распространялось за пределы и нехристианского мира, в который также проникало — и с неизменной нерастворимостью — еврейство). Однако в новейшие времена, в частности, и в наши дни, это противоборство все более перестает быть религиозным, оно приняло извне гуманитарные (хотя и не гуманные) образы. Религиозное самоопределение ныне, казалось, перестало быть существенным и решающим, уступая свое место чертам сравнительно второстепенным. В наибольшей мере это можно сказать относительно бывших христианских, а теперь уже полухристианских или просто нехристианских в своем самосознании народов. Как бы они не определялись теперь в отношении к еврейству, но, во всяком случае, не религия иудаизма является решающей. Поэтому с такой силой и исключительностью выдвигается национализм зоологический, расовый, как и принадлежность к еврейству также определяется признаком не религиозным, но национальным. Однако это не мешает признавать всю единственность этой расы, ее исключительный характер, борьба же с ней и одоление мыслится на почве расового

противоборства. Очевидно, это предельно обедняет и уничивает характер этой борьбы даже сравнительно с "темным" средневековьем, которое по существу было гораздо более глубоко и право в сравнении с теперешним расовым варварством. Но так же ли это обстоит на стороне еврейской, по крайней мере, для интеллигенции, у которой тоже выдохлось под влиянием социализма, гуманизма, культуртрегерства религиозное сознание? Имеем ли мы здесь дело просто с отсутствием религии, пустотой религиозного сознания? Конечно, этого нельзя сказать о той небольшой части еврейства, которая остается исповедующей иудаизм, религию Моисея, "Ветхого" (для христиан) Завета и разрабатывает его богословие, насколько это оказывается возможно и осуществимо. Однако не этим своим богословием оно влияет на мир, хотя это вместе со строительством синагог и выражает собой национальное сознание. Как религия, иудаизм и теперь естественно сознает себя в противопоставлении христианству. Однако не им определяется то, что можно назвать религиозным сознанием еврейства, насколько вообще можно о нем говорить. Но здесь оно выражается или отрицательно, как фактическое оставление всякой религиозной веры, или же как воинствующее безбожие, не останавливающееся перед прямым гонением на религию, фактически на христианство. Таковым оно явило себя на несчастной родине нашей. Здесь это гонение превзошло по свирепости и размерам все предыдущие, которые только знает история. Конечно, нельзя его всецело приписать еврейству, но нельзя его влияние здесь и умалять. То, что в истоках своих имело характер вызывающего и презрительного безбожия в смысле отсутствия религиозного сознания (у Маркса),¹⁸ здесь приняло характер антирелигиозного варварства и организованного методического похода на веру. Конечно, советское безбожие

¹⁸ См. мой очерк: «К. Маркс как религиозный тип». — точнее было бы сказать: а-религиозный, стоящий ниже и вне религиозной квалификации, на уровне предельного духовного мешанства, при всем своем "социализме". Маркс был вообще предельно прозаичен и недуховен, несмотря на то, что склонен был позировать в сторону мировых образов трагедии (Шекспира), но это не идет у него дальше шегольства литературными цитатами.

психологически и исторически есть явление сложное. В нем соединяется русская интеллигентщина с ее воинствующим религиозным нигилизмом, в последний же входят влияния западного позитивизма, материализма и атеизма, начиная по крайней мере с шестидесятых годов, но фактически еще и раньше, начиная с влияния энциклопедистов. Сюда входит, конечно, влияние и еврейства, которое само по себе уже представляет собой готовую благоприятную почву для антихристианских влияний. Здесь надлежит со всей силой и искренностью констатировать тот факт, что вообще в еврействе, — не говоря уже об ортодоксальном иудаизме, но даже в самом поверхностно-безбожном — нет и не может быть равнодушия к христианству и, прежде всего, ко Христу, но есть враждебность. Я всегда это знал "шестым чувством". Однако, для того, чтобы это понять и почувствовать, вопреки всей поверхностной видимости обратного, надо оценить во всей силе религиозную природу еврейства, именно как избранного народа Божия, которому просто не дано быть религиозно равнодушным. То самоопределение отвергнувшего Христа еврейства, которое совершилось 19 веков тому назад в Иудее, в частности в Иерусалиме, не было только преходящим эпизодом, касающимся лишь определенной эпохи и ее поколения. Оно имеет пребывающее значение и имеет силу в религиозных глубинах еврейства, сохраняя ее на все времена, одинаково в обоих своих противоположных полюсах: "распи Его", на одной стороне, и "благословен грядый во Имя Господне Царь Израилев", на другой. Таков здесь и голос крови, со всей силой его. В бешенстве расового антисемитизма это не уразумевается в своей религиозно-мистической значимости, поскольку здесь существует только слепая национальная страсть вражды и соперничества. Но ведение этого доступно для христианского чувства, которое открывает духовные очи, имеет орган духовного восприятия, мистическое чувствилище. И для него и через него всегда ведомо это фатальное, можно сказать, непобедимое и неизбежное неравнодушие еврейства к христианству, приистекающее именно из равнодушия ко Христу. Это борьба в нем самом, которая закончится, лишь себя исчерпав, тогда, когда

наступит время обетованного апостолом Павлом "спасения всего Израиля". При наличии же этого равнодушия к христианству, сознательной или даже бессознательной к нему враждебности, еврейство, конечно, представляет собой благоприятную среду, создает благоприятную атмосферу и для религиозного гонения на христианство. Сказать, что именно ему это гонение обязано своим происхождением, значит, конечно, утверждать заведомую неправду, такое гонение могло бы возникнуть, да и возникает в отдельных случаях, и при полном отсутствии влияния еврейства. Антихрист и антихристианство есть явление универсальное, в котором соединяются разные национальные и духовные потенции. Так было уже во времена "великой" французской революции. Но наилучшим тому доказательством в наши дни является антихристианский расизм, который соединяется с самым ожесточенным антисемитизмом. И вообще в наши дни антисемитизм все более теряет религиозную природу и становится расовым, каковым себя и провозглашает. Религиозное лицо еврейства как таковое его все менее и менее интересует. Это совершенно откровенно и провозглашается в наши дни. Поэтому и "спасение всего Израиля" или явная победа христианства над еврейством, которой пока, разумеется, тоже не усматривается, для такого антисемитизма, как имеющего характер религиозного антииудаизма, в сущности ничего не может изменить. Если же антисемиты с такой тщательностью и враждебностью собирают свидетельства об еврейской враждебности к христианам из религиозно окрашенных источников, то здесь их интересует все-таки не антихристианство как таковое, но национальный иудаизм, который с одинаковой готовностью находят как в Талмуде, так и у Маркса и всяческих вообще представителей социализма и большевизма. Вообще социальный утопизм разных оттенков в наши дни является своеобразной дегенерацией древнего иудейского мессианизма,¹⁹ в котором мессия является социально-революционным вождем, имеющим

¹⁹ Характеристику его в таком именно смысле мне приходилось давать еще в начале этого века: см. очерк «Социализм и христианство» в сборнике «Два града» 1907, т. II-ой.

осуществить земное царство, Zukunftstaat, своего рода "фюрер" национал-социализма на почве иудаизма. В этой последней роли и выступали в разные времена разные претенденты лжемессианства, например, Баркохба, а в наши дни... Маркс, который, впрочем, отличается от своих предшественников своей исключительной религиозной слепотой и духовной тупостью в своем материализме.²⁰ В этом смысле духовно он стоит, конечно, неизмеримо ниже своих предшественников, невзирая на всю свою "научность", впрочем, тоже совершенно мнимую.

Но из всего этого неизбежно напрашивается неожиданное заключение следующего содержания: расизм, как национал-социализм, в котором одновременно и с одинаковой силой подчеркиваются оба мотива — и социализм (каково бы ни было его особое здесь проявление), и национализм, представляет собой не что иное, как пародию и вместе повторение или по крайней мере вариант на темы иудейского мессианизма. При этом и расизм определяется в отношении к христианству или прямо язычески-враждебно, или же индифферентно, даже если и сохраняет некоторую умеренно-протестантскую окраску. Этой религиозной аморфностью своей он также приближается к революционному зелотизму революционно-мессианских движений. Последние же в религиозном отношении, конечно, далеко отходили не только от традиционного библейского учения, в частности еврейских пророческих книг, но и были окрашены в цвета религиозного синкретизма. Однако, при этом пламенный социальный революционизм соединялся здесь с не менее пламенным национализмом, который питался враждебностью к римским завоевателям, покорителям земли обетованной. Конечно, все эти движения были пространственно весьма ограничены по сравнению с масштабом теперешних событий. Однако в зерне духовном они содержали в наличности и самоопределение теперешнего расизма, как бы в проекции. Вообще вся древняя история, как и само христианство, протекает в таких размерах, которые для нас кажутся теперь миниатюрными. Однако они уже содержат в себе наличие

²⁰ См.: «Карл Маркс как религиозный тип», в том же сборнике «Два града», как и в отдельном издании.

духовных потенций, которые раскрываются в новейшей, и уже ставшей мировой, истории в наши дни.

Итак, еще раз повторяем: германский расизм воспроизводит собою иудейский мессианизм, который является противником и соперником христианства уже при самом его возникновении, он же является им — точнее, идеологически и духовно должен бы являться — в наши дни.

При этом от коммунистического интернационала он отличается своим национализмом, от национальных же движений, свойственных и нашей эпохе, — революционным своим социализмом. Фюрерство же, как личное воплощение в "вожде" духовного движения в некоем цезаризме народных трибунов, является как бы исторической акциденцией, которой как будто могло бы и не быть. Но его наличие довершает сходство и родство современного расизма и фашизма с иудейским мессианизмом. Место прежних "помазанников Божиих" на престоле "Божией милостью" заняли теперь вожди на трибуне волею народною: Гитлер, Муссолини, Сталин — одинаково, хотя и с различием оттенков. Их своеобразный мессианизм неудержимо приближается к абсолютизму и деспотизму партии, объявляющей свою волю волею народною, — *pars pro toto*. Таков большевизм и таков же расизм. И это соединяется с оборонительно-завоевательными тенденциями нового мессианства.

Неожиданность этого наблюдения, устанавливающего типологическую тождественность или, по меньшей мере, сродство расизма и иудейского мессианизма, конечно, не может не поражать, хотя она не представляет вообще чего-либо нового в истории, потому что социальный утопизм с чертами религиозного фанатизма и мессианизма вспыхивает то здесь, то там, в частности, в сектантских движениях в эпоху реформации (лолларды в Англии, гуситы в Чехии, Иоанн Мюнстерский в Германии, подобные же движения в Италии).²¹ Однако, эти движения остаются миниатюрными и как бы случайными в сравнении с теперешними размерами национал- и интернационал-социалистических движений: расизма, фашизма, большевизма, неизменно жертвующих личной свободой во славу коммунистического или

²¹ См. в моем «Очерке экономических учений», ч. I.

национал-социалистического истукана, который требует себе все новых жертв.

Однако на фоне этого общего сопоставления мессианства и расизма в отношении их внутреннего сродства проистекает и дальнейшее наблюдение, еще более важное. Мы видели уже, какое место в духовном оборудовании расизма занимает вражда к иудаизму, страсть антисемитизма, переходящая в некое бешенство, давно невиданное в мире, если даже и вообще когда-либо существовавшее в такой мере. Ее мы наблюдаем на первых шагах параноика Гитлера, и она является *faculté maitresse* идеологии расизма с Розенбергом во главе. При этом, как мы убедились, это не есть религиозное отталкивание или борьба, но именно национальная страсть, некая идиосинкразия, доходящая до крайних пределов и выражающаяся в практической политике в ряде мер, которые нельзя назвать иначе, как варварскими, и в особенности со стороны культурнейшего из европейских народов, народа Гете и Шиллера, Канта и Шеллинга, Гегеля и Новалиса и проч., и проч. Правда, теперь отыскиваются антисемитические мотивы у многих там, где это казалось бы и неожиданным (не говоря уже о мрачной злобе франкфуртского отшельника Шопенгауера). Вырванные из контекста, эти речения берутся под микроскоп, разводятся новые культуры этих ядовитых грибов с чувством злорадства и ненависти, вообще происходит на глазах грандиозное национальное самоотравление. Такие настроения культивируются с утратой стыда и морального чувства, и национальными пророками являются расисты...

Но это означает не больше не меньше, как то, что весь расизм есть не что иное, как антисемитизм, есть сублимированная **з а в и с т ь** к еврейству и соревнование с ним, притом не в положительных, но отрицательных его чертах, влечение — род недуга. Такая психопатическая влюбленность, которая делает его центром дум и дел, имеет характер навязчивой идеи, проистекает из этой сосредоточенности мысли на одном еврействе, именно в зависти и проистекающей отсюда враждебности к нему. Конечно, это покупается лишь дорогой ценой, — именно утратой национального стыда, зверским национальным эгоизмом, с отречением от христианства и в особенности от

Ветхого Завета. Такова тайна расизма, его источник. Гитлер и злоты антисемитизма суть религиозные, точнее, антирелигиозные (что есть тоже религиозная квалификация) маньяки, причем эта маниакальность — у каждого по-своему — развивается в целую доктрину или мифологему, идеологическую или политическую страсть (Гитлер и иже с ним). Антисемитизм всегда становится страстью, такова уже природа иудаизма, как в притязании, так и в отталкивании. Только там, где он является рефлексом, духовным заражением или послушностью поработенных народов (как мы это имеем теперь в областях германского поработения), он теряет всякую трагику страсти и облекается мешанской пошлостью. Но в первоистоках своих антисемитизм есть, повторяем, явление религиозного, точнее, антирелигиозного характера. Если иные (и даже многие) видят в нем проявление христианских чувств, некоторое исповедание христианства навыворот, то такая оценка, конечно, возможна только по темноте и ожесточению. Напротив, по духу своему, как и в своем практическом осуществлении, антисемитизм есть не только искушение, но и прямое противление христианскому духу. В антисемитском фанатизме нет ничего христианского, и теперь он освобождается от всякой мимикрии и не стесняясь являет свою расовую природу, объявляя еврейство не религиозным исповеданием, но расой, безотносительно к религиозной вере. Однако таков антисемитизм лишь в поверхностных своих слоях, соприкасающихся с обывательством и пошлостью, но не таков он в своих мистических глубинах, в душах своих "вождей". Здесь он есть личина или же сублимация прямого антихристианства, которое не может быть ничем иным, как сознательной или бессознательной враждой ко Христу. Она же питается — и приводит к личной (молчаливой или даже явной) вражде к Нему — соревнованием или завистью. И это мы можем в настоящее время наблюдать в идеологии и психологии вождей расизма. Так, до конца уже раскрылось антихристианство Розенберга, которое прикрывается притязанием исправить евангельский образ Христа, ему ненавистный. В Гитлере это выражается в систематическом замалчивании имени Христа и христианства,

что особенно рельефно проявляется в его последних военных речах, где, вместо того, имеется лишь расчетливо-холодное упоминание имени Божия. Гитлер в своем безумии не выносит никакого личного соперничества, которое, очевидно, все-таки ему видится во Христе, и потому молчит о Нем так, как будто Его никогда и не было: но *cum tacent clamant*. Подобную же антипатию, имеющую источником зависть и личную манию величия, следует предполагать и вообще в расизме, насколько можно судить об этом по бешеному, небывалому и иначе необъяснимому успеху их сочинений, который свидетельствует о глубоком упадке духовного вкуса, не может быть объяснен и какими-либо особыми достоинствами их сочинений, в общем стоящих на уровне памфлета, хотя бы объема толстых книг.²² Поэтому расизм религиозно представляет собой одно из проявлений той общеевропейской апостазии, отпадения от христианства, которое составляет одну из характерных черт "новой" истории, примерно, начиная с XVIII века, с "великой" французской революции, но и до нее. Но его нехристианство или антихристианство отличается исключительной напряженностью и активностью, в пафосе обьязычения, которое наблюдается теперь в германском народе. Этот неогерманский паганизм связан с культивированием военного духа, с духовным пленением германства у солдатчины. Как мы говорили, эта последняя есть, с одной стороны, порождение естественной самообороны, как проявления жизненной силы нации, поставленной перед лицом тяжелого испытания и национального унижения. Но, с другой стороны, поднявший голову милитаризм быстро и неожиданно привел страну в состояние настоящей воинской одержимости, опьянения достигнутыми успехами и варваризации. Будущее покажет, сколь далеко зашло его духовное вырождение.

²² Этому влиянию расистской идеологии соответствует небывалая и невероятная утрата чувства стыда и национального достоинства, которое наблюдается в настоящее время в практических мерах ограбления и всяческого насильничества, истязаний и прямого физического истребления еврейства. Особенно выразительна эта унижительная варваризация, как присущая народу, вчера еще высшей европейской культуры, никогда еще не опускавшемуся так глубоко. Конечно, в сохраняющейся еще духовно части германства это должно вызывать чувство национального стыда и покаяния, для которого еще не пришло, но придет свое время.

Однако эта солдатчина лишь прикрывает во вне то, что совершается внутри в связи с отпадением от христианства. Характерно, что германский милитаризм свой поход против России (каково бы ни было ее теперешнее состояние в образе большевизма) объявляет "крестовым походом", чему вторят и лютые его вассалы. Военная авантюра, направленная к уничтожению русской государственности и к превращению России в немецкую колонию, маскируется как освободительный поход. Общая и последняя цель германского милитаризма, всемирная супрематия, цезаризм "фюрерства", не терпит на своем пути существования России в о о б щ е, — а не большевизма. Последний и насаждался именно Германией, доставившей в Россию в запломбированном вагоне чумную бациллу большевизма — Ленина, — не будем забывать этого факта, который есть и исторический символ. И в начале теперешней войны состоялось соглашение большевиков и Гитлера. С вступлением же в войну Японии и Америки карты уже смешались и общая постановка вопроса безмерно еще усложнилась. Однако Провидению было угодно, чтобы судьбы мира и нашей родины были связаны с этим столкновением большевизма, под звериным ликом которого скрыта Россия, с германским империализмом, чтый да разумеет. Допустить же победу этого последнего означало бы не только упразднение России, что невозможно, — такова для нас историческая аксиома, — но и внутреннюю победу антихристианства в Германии, а далее и вне ее. Рассуждая отвлеченно, самой по себе здесь нет невозможности, однако есть историческая маловероятность, которая основана как на общих религиозных соображениях о судьбах мира, так и относящихся к судьбе Германии. Может ли Германия победить, достигнув своих завоевательных целей, или же, напротив, будет с шумом повержена, и лопнет этот исторический пузырь с истерическим своим фюрером, и, главное, может ли победить отпавшая от христианства — в руководящей своей части — страна. Легче допустить (как это уже и имело место в русско-японской войне) победу не-христианского или, может быть, е щ е н е-христианского язычества Японии, нежели победу христианской апостазии, в какие бы цвета крестоносцев она ни

маскировалась, т. е. страны, обьятой духовной болезнью, расизмом, и потому духовно обреченной на вырождение. Расизм, как и все вообще антихристианское язычество, не имеет в себе творческого начала для органического развития. Отпадение от Христа не может пройти безнаказанно и остаться без последствий, каковы бы ни были чисто человеческие достижения, дисциплина и воля, оборудование и вся вообще техника жизни. Германия все-таки не Япония и никогда ею стать не может. Она в своем расизме обречена на катастрофу и, несмотря на временные успехи, окончательно победить она не может, как и самый расизм неизбежно готовит разочарования, таит в себе вырождение. Вырождаются, конечно, все государства и народности, каждая в свое время и от разных причин: одни просто от естественного увядания и разложения, другие же, как Германия, от мании величия, которою она страдает в расизме, также имеющем свою меру. Никто сейчас (декабрь 1941 г.) не в состоянии определить, как и когда произойдет та германская катастрофа, но для нас несомненно, что она явится спасительной для Германии самой, поскольку будет освобождением от искушений расизма, духовным его извержением. Именно признание величия и духовного здоровья Германии, которая преодолет и теперешнее свое духовное заболевание, порождает в нас эту уверенность. История германства не кончена, она имеет свое будущее, хотя и не нам дано определить его. Но, конечно, это будущее зависит от той внутренней победы, которую предстоит одержать Германии над самою собою на путях духовного возрождения с освобождением от расизма. И военное поражение для нее будет спасительной милостью Божией. Разумеется, судьбы германства духовно связаны с реформацией и протестантизмом, с продолжением того еретичества, которое в них содержится.²³ Однако, несмотря

²³ Не развивая здесь этой мысли, однако, отметим, что расизм есть одно из выражений недуга всего протестантизма, именно непочитания и нечувствия Пресвятой Богородицы. Тоталитарность солдатчины и расизм и е-избранного народа, который притязает на избранность, связаны с этим ослеплением духовным, которое отражается решительно на всем жизненном самочувствии, историческом и космическом.

на него. даже и в протестантизме (не говоря уже о германском католичестве) содержится такое здоровое зерно евангельское, которое еще может прорасти. Но на пути к тому стоит все тот же роковой германский антисемитизм, зависть германства к еврейству, как Богом избранному народу, и собственное его притязание на избранность. Внешне, эмпирически это выражается в национальном самомнении, которое является даже естественным, принимая во внимание все достижения германского народа в области культуры и цивилизации, к несчастью, в наши дни с такой быстротой утрачиваемые и уступающие свое место варваризации национализма. Однако эта одаренность и культурные достижения обязывают и предостерегают от чрезмерностей этого, хотя бы даже и естественного, увлечения собой. Всякому народу присуще национальное самосознание, вера в себя, в свое призвание. Но на этой почве его подстерегает искушение национального самомнения, с признанием своей единственности и вообще всяческого превосходства над всеми народами. К сожалению, немецкий народ, по крайней мере, в лице своих духовных вождей, находится именно в таком маниакальном состоянии. И это есть не только недуг национально-душевный, но и духовный. Это есть притязание на и з б р а н н о с т ь, которая дается только Богом. И Богом избранный народ есть еврейский, "дары и избрание Божие неотменны". Каков бы ни был этот народ, нравится он кому-либо или не нравится, человеку не дано проверять суды и избрание Божие. Бытовой антисемитизм, даже имеющий известное бытовое основание, не идет обычно дальше личных вкусов, национальной психологии. Но германский народ постигло большее искушение, и, насколько можно судить, в своем роде единственное в истории. Решив о себе самом — сознательно или полу- или даже бессознательно, — что избранность и единственность принадлежит именно ему, он вознедуговал соперничеством и завистью к еврейскому народу, обратившейся в настоящую национальную страсть антисемитизма, и этот последний вошел теперь органически в национальное самоопределение германства. Можно сказать теперь, что оно есть антисемитизм. Последний является мрачной тенью еще более мрачного его недуга и греха, именно антихристианства,

причем психологически трудно даже сказать, что и от чего происходит. Но оба недуга между собой связаны и неотделимы. Одним словом, немецкий антисемитизм есть патологическая зависть к еврейству, пародия на народ Божий, расизм же есть расовая претензия.²⁴ Он не имеет в себе положительного духовного содержания и обречен на кризис, внешний и внутренний. Одинаково, как для блага самого германства, так и всего мира, чем скорее этот кризис совершится, тем лучше.

* * *

С этой онтологией расизма, как антисемитизма, извне сливается, но внутренне от него отличается антисемитизм эмпирический, бытовой, свойственный не только германству, но и всему миру, и, быть может, во все времена векового существования еврейства. Этот погромный расизм, с одной стороны, порождается подлинным обособлением, как естественным, так и искусственным (гетто) еврейства на путях истории. Частью же он имеет для себя и более глубокие корни, заложенные в действительном противлении еврейства христианству, а через то и христианам, в том христорождении, которое свидетельствуется уже Евангелием. Вражда иудеев ко Христу начинается уже с первых Его выступлений на общественном служении, его сопровождает на всем его протяжении и, наконец, приводит к крестной смерти, к распятию Голгофскому. Она продолжается и донныне, с разной мерой сознательности и интенсивности. Дом еврейства остается и донныне "п у с т" и за единичными пока исключениями в нем не раздается покаянного и ликующего вопля: "благословен грядый во имя Господне, осанна

²⁴ Как в отдельных случаях это обнаруживается с очевидностью. Как можно иначе понять, что современный расистский богослов, безусловно не лишенный остроты и знаний, может молча присвоить германскому народу водительство и образ ангела Михаила, ангела народа еврейского (Дан. X, 21; XII, 1).

в вышних". Если со стороны еврейства существует сознательная или несознательная, инстинктивная вражда ко Христу и христианству, то и наоборот, со стороны христиан, как верующих, так и неверующих даже, существует ответное чувство самозащиты и соревнования. Между иудейством и христианством есть отношение взаимной обиды и непризнания, с проистекающей отсюда враждебностью. Она отражается и в памятниках иудейской письменности, которые тщательно собираются антисемитами, а глаза ненависти зорки и внимательны (тот же Розенберг, от которого странно было ожидать особого уважения и пристрастия к христианству, в ряде памфлетов собирает соответствующие свидетельства). Если со стороны гонимого, презираемого христианами еврейства это является даже естественным и понятным, то для христиан такое отношение противоречит проповедуемой Евангелием любви к врагам и добротворению ненавидящим. Этим навлекается по отношению к христианам особая вражда еврейства. Но евреи умеют быть благодарны за христианское отношение к себе, когда оно исходит от христиан. К прискорбию, взаимные отношения христианства и еврейства остаются б о л ь ш ы м и, притом в большей мере и по-иному, нежели это имеет место для всех других религий, каковы ислам, буддизм, браманизм и др. Это проистекает, конечно, не из дальности или взаимной чуждости, как в вышеназванных случаях, но именно из-за близости, сродства и вытекающего отсюда соревнования и борьбы. Иудаизм есть все-таки Ветхий Завет для христианства, а последнее хочет стать Новым Заветом для еврейства, его продолжением и исполнением. Поэтому напряженная ревность, доходящая до вражды, является здесь естественной, она даже достойнее, чем взаимное равнодушие и небрежение. Отсюда видно, насколько т р у д н о осуществлять и сохранять христианское отношение к еврейству, которое здесь является стороной, одновременно наступающей и обороняющейся, и оно больно христорством и отвержением христианства. Еврейство умеет враждовать, как оно способно и любить. Образы любви еврейской дает нам св. Евангелие, — в апостолах, мироносицах и во всем вообще окружении

Христовом. И эта энергия любви не иссякла и не может иссякнуть даже донныне, но она не находит для себя взаимности. Христиане должны осуществлять христианское отношение к еврейству, даже и тогда, когда последствием того создается для еврейства господствующее положение в мире. И этого нельзя бояться христианам, потому что только таков есть путь преодоления еврейства, не извне, а изнутри. Вообще нет — и не может быть — более трагического и антиномического вопроса, нежели отношение между христианством и еврейством. Он не разрешается погромным или угнетательским расизмом, т. е. гонением на еврейство от христиан под предлогом христианства, быть таковыми переставшими.

(Окончание следует)

Жан-Пьер ЛИНТАНО

УГРОЗА ШКВАЛА *

Печатаемая статья богослова-доминиканца, «Вестник» ставит себе целью дать читателям разветвленную и уравновешенную информацию о сегодняшних проблемах римо-католической Церкви. Часто эти проблемы остаются нераскрытыми или односторонне освещенными. Они не новы, так как коренятся в давней эволюции Рима в сторону авторитарной экклезиологии, доведенной до абсурдных формулировок на Первом Ватиканском соборе (1870 г.). Несмотря на коррективы, внесенные Вторым Ватиканским собором, римская Церковь продолжает болеть от своей догматизированной авторитарности. Законные требования высокой нравственности вызывают смущение тем, что преподаются не как призыв к совести каждого, а как догматизированные запреты, основанные на спорной философии. — *Ред.*

В католической Церкви барометр стоит на "переменно". Происходит какое-то движение — хотя и сторонящееся крикунов, осторожное, сдержанное. Кипеть вода всегда начинает сначала на дне, и трудно сказать, предвещают ли эти порывы фронды настоящую бурю. Не так давно напоминалось уже, что Пий XII (несомненный автократ) считал желательным наличие в Церкви "настоящего общественного мнения". Но, хотя кое-кто утверждает обратное, этого общественного мнения в Церкви не существует, или во всяком случае оно мало заметно. Жизненно необходимая связь между тремя полюсами, о которых часто упоминает о. Конгар, т. е. между верующими, иерархами и

* Jean-Pierre Lintanf, "Avis de coup de vent sur l'Eglise". — *Le Monde*, 25 mars 1989.

богословами, — очень слаба. Начинается что-то вроде артериосклероза. Любое сомнение, любая критика, любое мнение, если оно буквально не отвечает установленному, — а значит любой насущный вопрос, — все это легко объявляется бунтом, извращением, ребяческой провокацией. Свободно и спокойно высказываться стало опасно.

Эти заметки написаны с целью прояснить спор, который ничего не выигрывает от того, что происходит подспудно. Я христианин, священник, доминиканский монах, и счастлив, что это так. Никто не уполномочивал меня говорить, но я уверен, что слова мои найдут широкий отклик.

Если бы я заговорил о благочестии, о почитании Девы Марии, о "сотворении из папы кумира", против чего недавно предостерегал сам папа Иоанн-Павел II, — тогда мне бояться было бы нечего. По всему миру могут распространяться магнитофонные пленки, прославляющие "те три светлые вещи, которые спасают мир: причастие, папа и Дева Мария", — никто и глазом не моргнет. Но если я заговорю о том, что возникла настоятельная необходимость обсудить вопросы управления Церковью, вопросы церковного учения, особенно учения этического, то сразу закричат об измене. Однако именно это я и попытаюсь сделать.

Авторитарный централизм

Беспристрастный наблюдатель вынужден констатировать — с грустью или с радостью, — что в управлении католической Церковью все ярче проступают черты авторитарного централизма. На это указывает многое.

Епископов назначает папа, этого никто под вопрос не ставит. Но совершенно очевидно, что Рим, вопреки обычаю, совершенно не считается — и это еще мягко сказано — с пожеланиями или возражениями заинтересованных Церквей. Австрия, Голландия, Бразилия, Германия только что испытали на себе эту новую манеру отношений.

Используется любой повод, чтобы минимизировать значение епископских съездов. Папские нунции, по призна-

нию многих епископов Европы и Африки, все в большей степени исполняют функции, совершенно отличные от дипломатических. Исполняют, через разные организации (самая известная из них — Opus Dei), или путем учреждения — через кооптацию — своего рода католической номенклатуры, внедряются своего рода опорные пункты, надежная сеть.

Недавно была реформирована Римская курия, и с тех пор два понтификальных совета (ранее — секретариаты) — "По вопросам христианского единства" и "По вопросам диалога с нехристианскими религиями" — подчиняются контролю Конгрегации по вопросам вероучения. И если кардинал из курии, в высшей степени обоснованно, печется о том, чтобы помочь небольшой группе молодых людей порвать с монсеньером Лефевром и вернуться в Церковь, считает возможным миновать при этом, обойти не только местных доминиканцев и магистра ордена, но и епископов, и даже — зачем скрывать? — монашескую конгрегацию, это заслуживает по меньшей мере беспокойства. И если эти молодые люди в течение недели (ну да!) посвящаются в иподьяконы, дьяконы и священники, и посвящение, в противоречие с каноном 1017, назначается без ведома местного епископа, то тут есть чему изумляться.¹

Слово Церкви должно быть симфонично. В этом богатство. Единство не есть одинаковость. Единство заключается в братском общении, а не в вялом единомыслии. Едина вера, но разнятся богословы. Ириней не то, что Августин, и Бонавентура не то, что Фома Аквинский. Вот уже лет десять, как слово, звучащее в Церкви, все более и более унифицируется, становясь апологией и иллюстрацией к тому, что предписывается сверху. Попробуйте упомянуть о "другом" пастырском богословии, о "другой" экклезиологии, о "другом" подходе к морали или покаянию, даже если все это почерпнуто из преданья! Кое-кто из моих братьев-доминиканцев знает, во что это обходится.

В некоторых документах предлагается "открыть дискуссию", — но только после того, как будут "закрыты" все жгучие вопросы. Дискуссия кончается, не начав-

шись. Богословам позволительно испытывать неловкость, когда их просят найти новые аргументы, чтобы обосновать тот или иной тезис или а priori отстаивать официальные установки, без них выработанные каким-то центральным комитетом, пусть и богословским. Их задача и их миссия не в этом.

Именно из благоговейной, горячей привязанности к Церкви, как не опасаться неподобающей сакрализации слова? "Ни монархия, ни демократия; Церковь — это теократия". Опасное утверждение, ибо если Церковь, как таинство и таинственное общение, не имеет другого главы, кроме Иисуса Христа, то в качестве зримой исторической институции она выступает как едва ограниченная монархия. Но только Бог — Бог.

В отношении морали церковное учение особенно неприступно. "Только свободная и научно-объективная дискуссия может рассеять заблуждения. (. . .) Администрация Римской курии, и в первую очередь Конгрегация по вопросам вероучения, до тех пор будет обречена производить впечатление пристрастности в пользу определенной богословской тенденции, пока ее состав не будет отражать законного многообразия современных богословских школ и нынешнего богословского мышления..." — Этот текст подписали не только Ив Конгар, Мари-Доменик Шеню, Ганс Кюнг, но и некто Йозеф Ратцингер² из Тюбингского университета. Правда, тому уже двадцать лет. И пусть одни об этом сожалеют, а другие радуются, но только пожеланье это не осуществилось.

Бастион морали

Иногда выдвигают следующую гипотезу. Постепенно лишившись власти в политике и культуре, Церковь ужесточила оборону этого своего последнего бастиона — частной морали, особенно во всем, что касается пола. Как бы там ни было, Церковь и может, и должна сказать свое слово относительно этого предмета, но ставка так значительна и вопрос так важен, что здесь требуется крайняя осторожность.

В связи с этим многие богословы, посвятившие себя изучению морали, сравнивают свое положение с положением католических экзегетов до освобождающих документов 1943 года. Им "предлагают-навязывают" богословие, опирающееся на спорную и оспариваемую антропологию. Абстрагируясь от разума, свободы, человеческих отношений, нормативным полагают биологически естественное. Документ под названием "Donum vitae"³ справедливо отмечает, что ни в коем случае нельзя отделять предназначение человека от его органической конституции. Но так же основательно и обратное предположение. Надо остерегаться сводить все к языческому натурализму; природа не есть Бог. "Всякий, кто пользуется противозачаточными средствами, поступает вопреки воле Божьей и отказывается признать, что Бог есть Бог". Трудно себе представить, чтобы эта словесная инфляция помогла кому-нибудь что бы то ни было осмыслить.

Разве преступлением будет сказать, что Церковь не может претендовать на нравственный messiанизм, который Иисус Христос отвергал в той же степени, что и messiанизм политический; что нравственность не есть собственность католической Церкви? Древняя пословица говорит: "То, что касается всех, должно обсуждаться всеми". Нравственная проблема нуждается в аргументах нравственности, а не в авторитаризме. Достойно сожаления, что римский документ, касающийся искусственного оплодотворения, даже не ссылается на всех тех людей — врачей, биологов, юристов — и организации — университеты, этические комиссии, семинары, — которые не дожидались этого документа, чтобы серьезно, иногда с тревогой, заговорить о действительно важном. Если бы вместо того, чтобы, никого не убедив, постановлять, Конгрегация по вопросам вероучения созвала, мобилизовала, собрала, одушевила с присущим ей умением, как бы она была услышана! Разве дух Ассизи не мог бы дышать и на полях этики?⁴

Во все времена Церковь полагала и учила, что совесть есть непосредственный закон, последняя инстанция нравственности. "Пусть не думают миряне, что правомочия их пастырей таковы, что они могут немедленно указать

конкретное решение всех возникающих у них вопросов, даже крайне важных, или что такова их задача". Это текст Второго Ватиканского собора. Тому, правда, вот уже двадцать пять лет. Если первый долг совести в том, чтобы просвещать себя, прислушиваться к себе, искать, то это не умаляет ее царственности, не превращает в рабыню. "Подчиняющийся закону только ради подчинения закону хуже животного". Так говорил св. Фома. Тому, правда, вот уже семь веков.

Определить свое лицо в изменчивом и текучем мире для католической Церкви есть неотложная потребность. Но утверждение себя не должно вызывать сектантских рефлексов, непримиримости, отталкивания, вражды и даже ненависти. Чуткая внимательность к традиционалистам не должна оплачиваться забвением всех тех, кто незаметно отходит, забвением этих христиан без Церкви, печальных, разочаровавшихся в своих ожиданиях.

"Перестройка", "гласность" — грустно и парадоксально, если эти слова станут склонять только на русском языке. Помимо расплывчатого благочестия и бездушной жесткости администрации, есть другой путь, путь рассуждающей веры, доверия, надежды, свободы. "Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства". Так говорил апостол Павел. Тому, правда, двадцать веков.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь идет об обстоятельствах реинтеграции общины интегривтов, причислявшей себя к Доминиканскому ордену, в Шемерле-Руа (Маенна). Осуществил ее кардинал Майер.
2. Йозеф Ратцингер, ныне кардинал, глава Конгрегации по вопросам вероучения.
3. "Donum vitae": инструкция от 10 марта 1987 года относительно искусственного оплодотворения, в которой Рим осуждает оплодотворение *in vitro*, даже и для состоящих в браке.

4. Это выражение связано со встречей в Ассизи представителей церковных организаций, которая по инициативе папы Иоанна-Павла II состоялась 27 октября 1986 года.

ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

I

НА РЕЙНЕ

I

Рейнские воды скорее
лаводков вешних в сто крат
мамки своей Лорелеи
мимо летят и летят.
И золотое сеченье
солнца клубится дымком
в обеспеченье
ангельских сил молоком.

В тутошной грозной глубинке
без шишаков и брони
с демонами в поединке
не проиграли они.
Было б верней кулаками,
но не касаясь земли,
звонкими рати клинками
благовестили вдали.

Дети в обносках, в метели
двигаясь, свечи зажгли.
Как там... Низы захотели,
ибо верхи не смогли.
И в разворот окоёма,
разом поверхностью всей
всплхнув, погасла плерома.
С тех приснопамятных дней

в башен руинах по склонам
древние птицы живут,
зоркие, сколь благосклонны
к падали, редкостной тут.
С дальних лишь троп Гёльдерлина
слышится лакомый писк.
Вереск с душком розмарина
это и есть тамариск.

И молотящая семя
потусторонних миров
машет, как мельница, всеми
крыльями роза ветров.
Искру, что вьющийся волос,
гонит холодная в на-
электризованный хворост
средневекового сна.

...Мне отплывающий в Лету
больше корабль по душе.
Он в навигацию эту
верно последний уже.
Словно с записками стрелы
пушены в небо с кормы.
Вот потому-то по белой
палубе мечемся мы.

2

Нерукотворная флора,
ирисы вкупе с репьем
в парусном своде собора
вытканы над алтарем.
И басовитая льется
музыка, словно с небес.
Кажется, что остается
каждому жизни в обрез.

Где серокрылые ели
кучно теснятся вдали,
дети в обносках, в метели
двигаясь, свечи зажгли.
Смотрят на нас, как живые,
в штольнях веков-рудников
лица уже испытые
маленьких тех батраков.

Сыплется сверху немерен
из мешковины помол.
Непролезающий в двери
хворост в вязанках тяжел.
Белый ли, темный ли, алый,
весь в мириадах огней,
Отче, яви нам хоть малый
краешек ризы Твоей!

...В средневековых руинах
над виноградниками
к ночи затих голубинный
спор со стервятниками.
И шевеля бахромою
крыльев, то скопом, то в ряд
над закипевшей рекою
зоркие птицы летят.

Баржи груженные — к цели
вовсе неведомой нам
еле
движутся встречно волнам.
И в розариновом мраке
предупреждающий
все ослепительней бакен,
тускло мерцающий.

Близится час рукопашной
ангелов с духами лжи.
Так почему же так страшно
мне и тебе — подкажи.
Словно с записками стрелы
пушены в небо с кормы.
Вот потому-то по белой
палубе мечемся мы.

1989

* * *

Так тучи низки,
что хочется голову в плечи
втянув, от тоски
вернуться к рифмованной речи.
Куда их несет,
настошь переполненных снегом,
над чьим растрясет,
навек осчастливив, ночлегом?

Который уж год
моя дармовая неволя
за окнами ждет
заокского белого поля.

Там ангел крылом
поводит, спустившись заране
к обложенной льдом
и не остывающей ране.

...Под градусом шел
и зарился вором
на крупный помол
миров над реликтовым бором.
О, там, где темней
сияние по-над рекою,
прижаться б к твоей
холодной цигейке шекою,

усыпанной чуть
подтаявшей манной.
Под утро уснуть,
уснуть на груди недреманной.

Ты ближе жены
была на заре над заречьем,
где выстужены
последние сени и печи.
Не то чтобы срок
мотали за слово в кубышке,
а за колосок
колючего инея — к вышке.

1 марта 1989

ТОГДА ЕЩЕ КЛЕВЕР ПАХ...

Тогда еще клевер пах
за нашей околицей.
В полдень летал впотымах
овод по горнице.

Там тишина взхлѣст
громом утроена
в синих почти до слез
неба промоинах.
И — на припѣке уж.
Сослепу кров ища,
впредь не увижу уж
эти сокровища.

У валаамских глыб
сняв котелок с огня,
Господи, я ль погиб,
мир ли окрест меня

выкосил тихий мор?
Норы ли вырыты,
в коих скулят с тех пор
сызмала сироты,
переходя на рык.
Вымершим вторящий
— это и есть язык
русский глаголящий.

апрель 1989

* * *

Дарье

Миллиметровая стружка
месяца, словно с крыла
перышко, в стужу
раскалена добела.
Если б не черные рядом
дыры в слепящем снегу,

стало бы новым Царьградом
больше на том берегу.

Плакала там бы над воском
жарким Пречистая,
чья цельбоносная слезка
чуть маслянистая.

Месяц один впотьмах
перебивается.
Впрок воронье в ветвях
преумножается.
Где они — отклик сыновий,
верность дочерняя...
Луковки русских зимовий
— жертва вечерняя.

1989

II

* * *

Кроме русских морей я еще полюбил и иные:
столько связано с ней
— этой новой землей!

Как прозрачны накаты волны и
сколько тусклых огней!
Массой зелени всей налегли на ограду
роз несметных венцы.
И отлевно, соборно токуют цикады
на костях сарацин.

Это тут, на излучке кремнистого тракта
у дуплистых олив,
словно, Господи, падает с глаз катаракта,
ибо Ты незлобив,
и — плывут по нему крестоносные рати,
огибая углы
скал, и реют у них на подхвате
по-над бездной орлы.

Ала на капетингском древке орифламма,
статья, дело к резне.
Далеко-далеко полумесяц ислама
брежит в голубизне.
Или просто песчинка рыбацкого бота
выбирает улов
нескончаемый из закровов перемета
для пасхальных столов.

SAMOS

1

Пятнам седьмого пота
между лопаток — век.
Правит рыбачьим ботом
в выцветшей майке грек.
Мастерские сметливы
пассы его с кормы.
И шелестят оливы
текстами Паламы.

В хижине-храме рядом
с осынями свечу

тёмную — от лампы
гаснувшей засвечу,
кажется, тем утра
Божьего темь угла.
Пленка к оконцу зноя
радужно прилегла.

И черепичной крыши
с древнею сажей рос
выше
куст византийских роз,
словно улов, несметных,
ветром качаемых,
ветхих, новозаветных,
смолоду чаемых...

2

Гребень на зное
клонит скала.
Милой льняное,
словно крыла.
И на пригреве
щерят резцы
юркие в гневе
ящерицы.

Ночью при звездах,
пахнут когда
розами воздух
и резеда,
рано впервые
пробует вслух
голосовые
связки петух.

Ялики, боты
выслал Господь
в даль на работы,
соли шепот
бросив в несметный
между валов
новозаветный
царский улов.

30 апреля 1989

* * *

Где чайки, идя с виража
в пике, прожорливы,
за радужной пленкой лежат
— мечта государей — проливы.

Но возле полуденных стран
нас, словно куницу в капкане,
с опорой на флот англичан
смогли запереть басурмане.

Эгейская пресная соль
под небом закатным.
Еще, дорогая, дозволю
побаловать нёбо мускатным.

На линии береговой
напротив владений султана,
быть может, мы тоже с тобой
частицы имперского плана.

Но, Господи, где тот генштаб,
его не свернувший донныне,
чтоб мысленно мог я хотя б
прижаться губами к святыне!

Дай жаждущей рыбиной быть,
чье брюхо жемчужине радо,
и тысячелетие плыть
и плыть до ворот Цареграда.

1 мая 1989

* * *

Перекручены либо раскрыты стволы
придорожных олив на припеке
у отвесной скалы,
к чьей коре прикипели потоки.
И эгейский прибой
басовитей любой
древнегреческой песни,
перешедшей на хрип.
В брюхе каждой из рыб
поликратов светящийся перстень.

И готовую всей синевою отвечать
сходству с розой на ризе
губернатор Афона поставил печать
на ладонью разглаженной визе.

Многотонные стонут валы налегке.
Отвечающий им величавый,
словно парус, в рывке
закогтил на древке
вновь державу двуглавый.

У него на виду,
задыхаясь, пойду
по тропе, осыпавшейся в шхеру,
мимо дрока в цвету
— вверх к отшельнику сербу в пещеру.

...В тесной скинии там
без кивотов и рам
можно встретить, огарок нашаря,
много русских святых,
и видней среди них
убиенного лик государя.
Из тяжелой бутылки подзарядив
на ночь маслом лампы,
авва вновь молчалив.

Лишь на шорох олив
штормовые неслесны накаты.

* * *

Стяг золотой с грозным орлом,
белые двери — и
Пасха прошла вся под крылом
павшей империи.
И за кормой, раздаваясь вширь,
рос — и его роса
тускло поблёскивала — пустырь
Отчего космоса.

Жизнь отстроилась на золе,
дабы смел речь вести.
Видел, что ящерицу в дупле,
душу я в вечности.

Чью и из чьих только памятных рук
жертву принять не успел.
В Лавре афонской с оливками лук
в знойные сумерки ел,
слыша за зубчатую стеной
древний распев морской.

И подпевает ему мужской
ночью у Иверской.

Н. Г. ЧУЛКОВА

«ТЫ — ПАМЯТЬ СМОЛКНУВШЕГО СЛОВА...»

Из воспоминаний о Георгии Чулкове*

В культурной жизни России начала XX века имя Г. Чулкова было довольно значительным. Он был человеком большого общественного темперамента (по словам М. В. Добужинского, — «самый неистовый энтузиаст, каких я знал»), на протяжении многих лет был редактором, секретарем или ведущим сотрудником символистских изданий «Новый путь», «Вопросы жизни», «Перевал» — 1906 г., альманаха «Факелы» — 1906–1908 гг., «Золотое руно» — 1907–1909 гг., «Аполлон» — 1910 г., «Народоправство» — 1917 г. Перу Г. Чулкова принадлежит огромное количество статей о модернистской литературе (о Блоке, Вяч. Иванове, Ф. Сологубе, Л. Андрееве, И. Анненском, Н. Минском и др.), о писателях века XIX (Ф. И. Тютчеве, Ф. М. Достоевском, И. С. Тургеневе, Г. Ибсене, В. Соловьеве), а также ряд статей «на злобу дня» — о самоубийцах, терроризме, о войне и революции.

Г. И. Чулков был активным участником, а иногда и организатором диспутов на различные культурные и политические темы, выступал с докладами и лекциями. Г. И. Чулков, по словам А. Белого, был «интересным и безукоризненно честным писателем» («Начало века», М.—Л., 1933, с. 388). В семитомном собрании сочинений Г. Чулкова, выпускавшемся издательством «Шиповник» в 1909–1913 гг., большую часть занимают художественные произведения — романы, рассказы, повести, драмы, стихи.

* Публикация и предисловие Л. Ильиной.

Но главным достоинством Г. И. Чулкова, «литератора *par excellence*», было, как он сам признался в воспоминаниях об Ал. Блоке, «с полуслова понимать символический язык» (*Письма Ал. Блока*, Л., «Колос», 1925, с. 115), с энтузиазмом проникаться чужими идеями и с бойцовским жаром их проповедовать.

В 1930 году издательство «Федерация» опубликовало книгу Г. И. Чулкова «Годы странствий», в этой книге автор вспоминает о самых значительных встречах своей жизни, о важнейших символистских начинаниях 1903–1916 гг., — однако некоторые главы носят конспективный, подробно не разработанный характер, и, вероятно сам создававший это, Г. И. перед смертью (скончался он в 1939 г.) оставил своей жене завещание — «рассказать все, что было видно и слышано в нашей с ним жизни».

Большие (309 страниц машинописного текста), подробные воспоминания Н. Г. Чулковой действительно написаны как дополнение к «Годам странствий» — Н. Г. Чулкова сохранила композицию мемуаров своего мужа — первые главы посвящены истории их знакомства, аресту Г. И. Чулкова за революционные выступления в 1902 г.; жизни в Сибири, в Нижнем Новгороде; в следующих главах Н. Г. рассказывает о «встречах с замечательными людьми». Н. Г. Чулкова оставляет без внимания тех людей, о которых подробно пишет Г. И. Чулков — Вал. Брюсова, Мережковских, вносит подробности в воспоминания об Ал. Блоке (эта глава, единственная из воспоминаний, была опубликована в сб.: «А. Блок и современность», М., 1981, с. 237), о Л. Андрееве, Ф. Сологубе, А. Белом, С. Городецком, и, наконец, особенно подробно Н. Г. Чулкова пишет о тех встречах, которые не описаны в «Годах странствий» — главы об Анне Ахматовой, о Вяч. Иванове, о Е. П. Иванове, об А. Н. Голубкиной, А. А. Пушкиной, А. Герцык; отдельные главы в воспоминаниях посвящены «кочевью» Чулковых — в Риме, Флоренции, в Париже, в Швейцарии, в Царском Селе, в Мураново, в Оптиной пустыни.

В данной публикации мы предлагаем вниманию читателей две главы о Вяч. Иванове (как наиболее полные и важные по материалу, в них освещенному).

Воспоминания Н. Г. Чулковой, человека, с которым «многие делились своим горем и скорбями» (А. Ахматова), «с таким умом, чуткостью, самообладанием, с такой любовью ко всему прекрасному» (В. Щеголева), отличает несуетная простота тона, внимание к необходимым для понимания внутреннего мира человека бытовым подробностям жизни, непредвзятость оценок, ненавязывание прошлому (эпохе начала XX века) критериев настоящего, того времени, когда писались мемуары — 40-е — начало 50-х годов.

Сейчас, когда из забвения возвращаются многие имена художников «серебряного века» русской культуры, когда издаются и переиздаются забытые произведения, важно иметь представление и о человеческом облике людей, их создавших. Воспоминания Н. Г. Чулковой служат этой цели восстановления прошедшего.

Печатаются «Воспоминания» по авторизованной машинописи, хранящейся в музее-квартире А. Блока, экземпляр текста находится также в ИРЛИ и ГБЛ (ф. 371, карт. 6, ед. хр. 1; Р1, оп. 35, л 194).

Надежде Григорьевне Чулковой

Каким отзвучием былого
И как целительно жива,
Ты память смолкнувшего слова,
Нашедшая свои слова!
Так мне помыслилось невольно,
Когда я получил от вас
Живых страниц простой рассказ,
Где строго, может быть, подчас,
Но так спокойно, так безбольно
Прикосновение к старине,
Столь памятной и вам и мне,
Где дышит — что невозвратно (...)
Сокрывшееся — словно зримо,
Былым привольно дышит грудь:
Оно дарит бывалой силой —
Напутствием в дальнейшей путь —
Каким бы шел тот путник милый,

Чью память сердце бережет,
Чей сказан был завет — и вот
Идут страница за страницей
Неторопливой чередой —
Как вехи — верной вереницей,
Былому воздают сторицей
И веют жизнью молодой.

Юрий Верховский

12.XI.1950

Москва

Вячеслав Иванов

В 1905 году у нас в редакции «Вопросов жизни» появился поэт Вячеслав Иванович Иванов и его жена, Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал. Они тогда только что приехали из-за границы. Он вошел в строгом визитном костюме, в черных лайковых перчатках. Она — в прелестном легком платье из черной тафты. Пышные, льняного цвета волосы и красивая шляпка. Оба элегантно и изящно просты в общении с людьми.

Еще раньше, в 1903 году, живя в Нижнем Новгороде, под гласным надзором, Георгий Иванович с восхищением читал книгу стихов В. Иванова «Кормчие Звезды». Теперь пред нами предстал он сам, этот мудрый и мудреный поэт. Наш интерес к нему все возрастал.

Вячеслав Иванов поселился в Петербурге на Таврической улице, д. 35, напротив Таврического сада, в большом многоэтажном доме с башней наверху. В этой башне только одна квартира, которую и занял В. Иванов. В ней несколько комнат — пять или шесть — и маленькая кухня. Все комнаты были неправильной формы — то очень длинные и узкие, то полукруглые — в зависимости от архитектуры этой верхней надстройки дома. Окна тоже были разной величины и формы. В большой столовой, узкой и длинной, было только одно узкое окно. Днем в этой комнате было темно. Обставлена квартира была остатками хорошей старинной мебели.

доставшейся Лидии Дмитриевне от ее предков. Вечером горели свечи в канделябрах. Было много ковров и тяжелых занавесей. Так за этой квартирой и укрепилось название «Башня», вошедшее в историю. «Вечера» или «Среды» на «башне» стали обычным названием собраний у Вяч. Иванова. Собрания эти были замечательны как по составу посетителей, так и по необычайной приветливости и обаятельности хозяина и хозяйки дома. И Вяч. Иванов, и жена его Зиновьева-Аннибал были блестяще образованы и обладали особенным даром располагать к себе людей.

В их салоне можно было встретить и знаменитого актера или актрису, и ученых, и художников, и философов — петербуржцев и москвичей — преобладали писатели и поэты, нередко бывали и политические деятели. Хозяева говорили на многих иностранных языках. Среди гостей бывали и иностранцы, которые здесь чувствовали себя, вероятно, так же хорошо, как в гостинице у кого-нибудь из своих соотечественников.

Дома у себя и Вячеслав Иванович, и Лидия Дмитриевна позволяли вольности в туалете. Он носил обыкновенно бархатную или суконную блузу с белым воротником (как у Блока), а Лидия Дмитриевна облекалась в хитон греческого типа, оставляя обнаженными шею и руки. Задрапированная ткань какого-либо светлого тона застегивалась на плече аграфом. Ноги были обуты в сандалии. Валерий Брюсов как-то в письме к Георгию Ивановичу сказал про Лидию Дмитриевну: «Сибилла в разодранных ризах».

Вячеслав Иванович в эти годы носил небольшую рыжеватую бородку. (Таким изобразил его на портрете К. А. Сомов). Говорил много и красно, поражал обилием знаний во многих областях культуры — искусства и науки. И он, и жена его много путешествовали в разные страны: Францию, Англию, Италию, Египет. Подолгу жила там, совершенствуясь в языках. Вяч. Иванович был филолог. Он мог писать стихи на разных языках — даже по латыни.

На длинном столе в столовой стояли обычно два хрустальных кувшина с красным и белым вином, окорок жареной телятины, сыр и мятные пряники и пастила к чаю. Лидия Дмитриевна сама готовила пищу и ставила

самовар. Вообще прислуги у них не было. Лидия Дмитриевна была настоящей русской барыней в хорошем смысле — умела вести беседу с самыми утонченными эстетами и мудрецами, любила и умела поговорить и с простой деревенской бабой. Любила землю и народ. Под влиянием Вяч. Иванова она стала увлекаться декадентством, отзывалась на все, что проповедовалось и провозглашалось в литературе и поэзии. Она стала писать в духе Вяч. Ивановича, будучи по природе своей гораздо проще. Ее книги «Тридцать три уroda» и «Кольца» кажутся какими-то вымученными.¹ Зато книга рассказов «Трагический зверинец» — проста и глупа, как она сама. Эта книга — автобиографическая. Девочка из «Трагического зверинца» — это сама Лидия Дмитриевна в детстве, да, пожалуй, и взрослая — только в других условиях жизни. Эту книгу она посвятила К. А. Сомову, который тогда писал портрет Вячеслава Ивановича. Рассказ «Медвежата» посвящен М. В. Сабашниковой, художнице, жене поэта Макса Волошина; «Волки» — М. А. Волошину; «Чудовище» — К. А. Сюннербергу, критику и философу; «Мошка» — М. Л. Гофману, поэту; «Царевна кентавр» — Георгию Чулкову; «Черт» — тоже К. А. Сомову; «Воля» — поэту С. М. Городецкому. Книга эта издана в издательстве Вяч. Иванова «Оры» в 1904 году.

Лидия Дмитриевна происходила из старого дворянского рода и имела какое-то родственное отношение к Пушкину — (Аннибал), Вяч. Иванович был из разночинцев.² В молодости Лидия Дмитриевна покинула мужа по фамилии Шварсалон и, взяв своих трех детей — Сережу, Костю и Веру, — в сопровождении двух преданных ей девушек-служанок, уехала в Париж учиться пению у Виардо. Пение ей, кажется, не удалось. По крайней мере, когда я слышала ее напевающей, мне казалось, что пение — не ее призвание. В Риме она встретила молодого ученого В. И. Иванова и они полюбили друг друга. У В. Иванова в России (кажется, в Харькове) тоже была жена и дочь. Зиновьева была богата, ученый — беден. Она стала помогать ему в его образовании. Они много путешествовали для его

филологических изысканий. В то же время у них родилась дочь — Лидия, и вот он, уже многосторонне образованный, является в Петербург как известный поэт и филолог.

В 1905 году, когда я узнала Ивановых, время было богато всякими исканиями, и декадентство захватило многих. Вспоминались нравы времени упадка Рима. Находились и подражатели римлянам — в моде была Александрийская школа.³ Появился поэт М. А. Кузмин с его «Александрийскими песнями» и мушками на лице. Он пел свои стихи, аккомпанируя себе на фортепиано. Сочинял музыкальные комедии в стихах и сам их пел. У Кузмина были последователи и подражатели. Он был дружен с художником Сомовым, а Вяч. Иванович с ними обоими.

На вечере у Вяч. Ивановича я видела однажды Максима Горького; с ним была тогда его жена, актриса Художественного Театра, Марья Федоровна Андреева — блиставшая тогда красотой. В этот вечер на «башне» обсуждался вопрос о новом театре, в котором должны были объединиться писатели всех направлений, и символисты в том числе.* Помню, Горький сказал: «Мы должны быть вместе — это как драгоценные камни, отражая друг друга, переливаются разными цветами, так и мы, работая вместе, будем помогать проявлению наших талантов». При этом он сделал жест рукой, точно держал в горсти эти драгоценные камни. М. Ф. Андреева тоже принимала участие в этой беседе о театре как актриса. На вечерах у Иванова обычно давалась какая-нибудь тема для беседы, и тут хозяин блистал талантом и начитанностью.

Один из этих вечеров, при многочисленном собрании посетителей, закончился неожиданным событием. В самый разгар беседы и тут, как и в редакции «Вопросов жизни», появились полицейские чиновники во главе с начальником полиции, очень прославившимся тогда в Петербурге (забыла его фамилию) и объявили, что присутствующие задержаны и подвергнутся обыску. Поочередно одного за другим приглашали гостей в отдельную комнату для обыска.

* На одном из вечеров, посвященных эросу, присутствовал и участвовал в беседе А. В. Луначарский. — прим. Н. Ч.

Пришлось перестроить программу вечера и покорно ждать конца этого томительно скучного дела. На столе было вино и чай. Некоторые занялись разговором за чаепитием. Сестра Зинаиды Гиппиус, художница Татьяна Николаевна, стала рисовать портрет солдата, неподвижно стоявшего у входа в комнату, где производился обыск гостей, — другие разговаривали, нервно поглядывая на дверь этой комнаты, куда неизбежно предстояло войти каждому из гостей. Никто не беспокоился, конечно, о своей безопасности: заговорщиков тут не было, — но «испытание» это утомляло и раздражало. Уже давно рассвело и начался день, а еще не все были обысканы. Но предстояла еще новая неприятность — одному из гостей Ивановых. Когда, освободившись наконец, все стали собираться домой, оказалось, что у Дмитрия Сергеевича Мережковского кто-то украл бобровую шапку — дело было зимой. Перерыли всю одежду в прихожей, шапки не нашли. Об этом было кем-то куда-то заявлено, но шапка так и пропала.

Вяч. Иванов называл свои собрания «Symposion», по примеру и в подражание «Пиру» Платона. Устраивались еще и другие собрания, более интимные и более близких друзей — на них не приглашались женщины. В противовес этим собраниям Лидия Дмитриевна собирала по вторникам своих друзей-женщин и назвала эти собрания «Θίσιος»⁴ На этих вечерах, помню я, была Маргарита Васильевна Сабашникова, художница и поэтесса, которая потом написала прекрасный портрет Лидии Дмитриевны, уже посмертный, жена А. Блока, Любовь Дмитриевна Блок, рожденная Менделеева, — дочь знаменитого химика. Всем давались имена исторических или мифологических героинь древности. Сабашникова названа была Примавера, Лидия Дмитриевна носила имя Диотимы, Любовь Дм. Блок — Беатриче. У меня тоже было какое-то имя, но я сейчас не могу его вспомнить. Эти собрания женщин происходили недолго — кажется, три или четыре раза, — потом Лидия Дм. заболела; весной следующего года они уехали к друзьям на лето в имение в Могилевской губернии, и там она заразилась скарлатиной и умерла в октябре 1907 года. У меня сохранились два ее письма с упоминанием об этих вечерах.

«7 ноября 1906 г. Дорогая Надежда Григорьевна. Троице из членов «Θίσιος'а» оказался неудобным вторник. Потому отложили собрание до вторника 15 ноября. Мне очень хочется Вас видеть. Приходите в среду, если успеете как-нибудь днем ко мне. Целую нежно. Лидия Зиновьева-Аннибал».

Вот еще одно письмо: "Понед. Дорогая Надежда Григорьевна! Если бы имела малейшую возможность, была бы у Вас уже не раз, но больна поистине телом и душой. Очень полюбила Вас. Снялась какая-то завеса между мною и вами, и хотя не сказались слова, но зато для себя я это почувствовала, ошибаюсь ли я за вас? «Θίσιος» еще раз откладывается на неделю из-за отъезда в Финляндию «Примаверы». Я так с Вами сердцем в эти несносные для вас времена. И с верою жду лучших. Ваша Лидия».

Привожу еще одно письмо, написанное незадолго до ее предсмертной болезни.

«Загорье. 12 июля 1907 года.

Моя дорогая, любимая, скучаю по Вас сердечно. Недостааете мне Вы. Истинно! О, если бы Вы могли приехать! Мы прожили бы тогда хорошее время вместе. Дорогая, дала ли я Вам экземпляр «Зверинца»? Хочется для ласковых слов. Здесь вроде рая и в душе и в природе. Как-то у вас? По письмам вашего Зори кажется — у вас светло и он отдыхает душой. Я его очень люблю. Очень он нам недостает. Что если бы вдвоем? Да, здесь рай. Работалось дивно, да и теперь на время вдруг оба застряли с работой. Ничего, вывезем, Бог даст! С часу на час жду Веру и томлюсь беспокойством, ибо мыслью не знаю, где ее найти: она где-то в долгом пути. Живу, как всегда, данной минутой и до конца ее пью, на минутку вперед не заглядывая. Напишите. Очень прошу, каждое словечко дорого. Привет дорогой Любовь Ивановне, моей симпатии. И еще обеих благодарю за детей.* Они здесь очень счастливы. Глушь, леса, вода, дали, тишина. Хожу босой в сандалиях.

Ваша всей душой Лидия.

Мне очень нравится статья Г. И.»**

* Дети Лидии Дмитриевны, Костя и Лида, гостили у нас на даче в Финляндии в этом году.

** Не помню, какая это была статья. — Н. Г.

В это время Г. И. Чулков выступил в печати с задорной и неосторожной, по молодости, статьей «О мистическом анархизме», которая вызвала большую полемику в журналах «Весь» и других. Вот на эти «несносные» времена и намекает в своем письме Зиновьева-Аннибал.⁵

Все это и всякие увлечения в литературе и личной жизни Вяч. Иванова, конечно, принесли немало волнений и огорчений жене его — всегда ему верной и поневоле всегда участвующей в его переживаниях. Как-то, заболев воспалением легких, она позвала меня к себе и жаловалась мне на Вяч. Ивановича за его нечуткость и холодность. Это было за год до ее смерти. Ее отправили в больницу, а Вяч. Иванович в то время поехал куда-то по литературным делам, чем еще более огорчил ее. В это время он увлеклся Маргаритой Сабашниковой — художницей-антропософкой. Она приехала из-за границы, и с Максом Волошиным, как его жена. Почему-то остановились Волошины у Вяч. Иванова, вот тут-то и началась между Сабашниковой и Вяч. Ивановым какая-то странная игра, доставлявшая Лидии Дмитриевне огорчения.⁶ Это было в 1906 году. Летом 1907 года Ивановы уехали в Витебскую губернию в имение своих друзей «Загорье», куда звали и нас к ним погостить. В октябре этого года я получила от Вяч. Иванова телеграмму: «Лидия больна. Не можете ли приехать». Еще и раньше я ухаживала за нею в болезни, и она верила, что я способна ей помочь. Известив телеграммой Вячеслава Ивановича о приезде к нему, в тот же день поехала в Загорье.

На станции меня ждал экипаж, и возница вручил мне записку от Вяч. Иванова:

«Дорогая Надежда Григорьевна. Просто не верится в возможность такой дружбы, доброты и великодушия, как ваша. Благослови Вас Бог! Я почти уверен, что вы запаслись теплым платьем. У нас здесь почти ничего нет. Посылаю Вам на дорогу плед и одеяло. Как раз сегодня стало холодно. Ждем с нетерпением. Положение больной серьезно. Ваш Вяч. Иванов».

В это время в ближайшем к Загорью селе была эпидемия скарлатины, и Л. Д., ходившая ежедневно в это село за продуктами, заразилась и слегла. Скарлатина осложнилась

дифтеритом, медицинской помощи вовремя не было оказано, и когда приехал вызванный из города доктор, положение было очень тяжелое. Уход плохой. Когда я подошла к постели больной, она перекрестилась. Я пробыла у них только два дня, а на третий она скончалась. 17 окт. 1907 г. При ней был Вяч. Иванович и незадолго перед этим приехавшая из-за границы старшая ее дочь Вера Шварсалон, ставшая после ее смерти женой Вяч. Иванова, своего отчима. Накануне смерти Л. Д. пожелала позвать священника.* Перед смертью Л. Д. пыталась мне что-то завещать, сделать какое-то распоряжение, но не успела: сделалась гангрена горла, и она с большим трудом могла говорить. Когда она отходила, Вяч. Иванович плакал, целовал ее в губы, весь содрогался от рыданий, говорил ей в уши нежные слова, в то же время указывал мне на ее синие пальцы. Она хрипела, и из горла ее вылетали пленки разрушенной ткани.

Хоронили ее в Петербурге на кладбище Александро-Невской Лавры, и на похоронах были многие из литературного мира, да еще родственники Лидии Дмитриевны и знакомые ее — петербургская аристократия. Брат Лидии Дмитриевны Зиновьев был тогда петербургским губернатором.⁷

После смерти Лидии Дмитриевны в доме Вячеслава Ивановича жила его падчерица, Вера Константиновна Шварсалон, и ее два брата, Сережа и Костя, а также и младшая дочь Лидии Дмитриевны от Вяч. Иванова, Лида, девочка лет десяти. Все эти дети жили до этого времени в разных местах — за границей и в России — у друзей Лидии Дмитриевны. Теперь все собрались в одном доме. Хозяйством управляла давнишний друг их, Марья Михайловна Замятина, до самоотвержения преданная семье В. Иванова. Она же отчасти исполняла обязанности секретаря В. Иванова и вела все его дела: исполняла поручения, ездила в издательства, получала деньги и вообще избавляла его от житейских забот, предоставляя ему возможность посвящать свое время творчеству и общению с друзьями и многочисленными посетителями.

* Она исповедалась и причастилась. В бреду потом говорила: "Пойдем на богомолье. Нынче большой праздник". А последние слова ее были: "Христос воскрес".

В первые годы после смерти Лидии Дмитриевны Вячеслав Иванович писал много стихов, посвященных памяти Зиновьевой-Аннибал, в которых воспевал ее как подругу и «жрицу или Вакханку, сгоревшую в пламени его любви». Все эти посвящения собраны им в одной книге с названием «Cor ardens» — «Пламенеющее сердце». Книга эта была издана в 1911 году в Москве в изд. «Скорпион». Она украшена фронтисписом работы К. А. Сомова — близкого друга Вяч. Иванова и его жены, Лидии Дм. На первой странице посвящение гласит:

«Бессмертному свету
Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал.
Той, что, сгорев на земле моим пламенеющим сердцем,
стала из пламени свет в хранине гостя земли».

На следующей странице:

«Той,
чью судьбу и чей лик
я узнал
в этом образе Мэнады
с сильно бьющимся сердцем

— как пел Гомер —
когда ее огненное сердце
остановилось».

И дальше следует стихотворение:

М Э Н А Д А

Скорбь нашла и смута на Мэнаду,
Сердце в ней тоской захолонуло.
Недвижимо у пещеры жадной
Стала безглагольная Мэнада.
Мрачным оком смотрит — и не видит,
Душный рот разверзла — и не дышит.
И текучие взмолились Нимфы
Из глубин пещерных за Мэнаду:
Влаги, влаги, влажный бог!⁸

Я привожу только половину этого стихотворения, только для того, чтобы показать манеру и стиль его творчества. Дальше в книге этой идут другие стихи, все также обращенные к ней или говорящие о ней. Кому неизвестна поэзия Вяч. Иванова, пусть не думает, что это нарочитый язык, вызванный скорбью об ушедшей подруге, — нет, это его постоянный стиль, его обычная манера говорить и писать, это почти его разговорный язык. Центром этой посвященной памяти умершей Лид. Дм. книги является его знаменитый «Венок сонетов», т. е. венок из пятнадцати сонетов.⁹

После смерти Лид./ии/ Дм./итриевны/ у Вячеслава Иванова не было уже таких многолюдных собраний «на башне», как прежде, по средам. Теперь его гостями были наиболее близкие ему — поэты и художники. Собирались чаще, вечера были интимнее. У Вячеслава Ивановича поселился полюбившийся ему поэт Михаил Алексеевич Кузмин.

Портрет Кузмина, написанный его другом Сомовым, совершенно передает черты его лица — огромные глаза (кажется, он их подводил) и печальное выражение.

Кузмин писал стихи и сам же перекладывал их на музыку и пел их, аккомпанируя себе на фортепиано. Голос слабый и пение «композиторское», т. е. по-домашнему, без особой тренировки голоса, но выразительнее специалистов-певцов. Он пел свои стихи и оперетты. Мне особенно запомнились его «Александрийские песни» и «Куранты» — прослушав их раз, хотелось их напевать, подражая ему.

Вот одно из них:

Если б я был древним полководцем,
Покорил бы я Эфиопию и Персов,
Свергнул бы я фараона,
Построил бы себе пирамиду
выше Хеопса
и стал бы
славнее всех живущих в Египте!

.....

Sonetto di risposta

*Сроднился дух мой с дружественной Башней,
Где отдыхают шепчущие Оры,
С ночным огнем иль с факелом Авроры
В отрадный плен влекусь мечтой всегдашней.*
Ю. Верховский

Осенены сторожевою Башней,
Свой хоровод окружный водят Оры;
Вотше ль твой друг до пламенной Авроры
Беседует с наперсницей всегдашней?
Все радостней, Верховский, все бесстрашней
Меня творят звучащих спутниц хоры.
Их строй заклил Гекаты бледной своры.
Мой вождь — Эрот — не помнит шалых шашней.
Купается в струящихся напевах
Мой юный дух, преодолевший мрачность.
Пусть этот век не слышит иноверца,
Пусть гимн любви потонет в буйных гневах:
Улыбкою обетною Прозрачность
Отвечствует обетам детским сердца.

В. И.

Coda

Бетховенского скерцо
Сейчас Кузмин уронит ливень вешний...
А за окном уж ночи все кромешней.
Будь осени поспешней.
Не заперта на Башне дружбы дверца,
Живой Сонет, а с нами —

Вячеслав Иванов

В 1909 году на башне был поставлен спектакль — драма Кальдерона «Поклонение Кресту». Ставили пьесу режиссер Всеволод Эмильевич Мейерхольд и художник Судейкин. В качестве актеров были: поэт Вл. Ал. Пяст; Вера, падчерица Вячеслава/Ивановича/; его дочь Лида; Сережа и Костя Шварсалон — пасынки Вяч. Ив.; Вл. Ник. Княжнин-Ивойлов и др. Об этом спектакле много говорили и он остался в памяти

участников, как необычное событие. Мы были в это время за границей, и я знаю о нем только по рассказам очевидцев да по снимкам, сделанным во время представления. Об этом спектакле подробно написано в книге воспоминаний Вл. Алексеевича Пяста — «Встречи».¹¹

В 1906–1907 годах, еще при жизни Зиновьевой-Аннибал, у Вяч. Иванова на «Башне» издавались книги его и некоторых писателей. Издательство носило название «Оры». Изданы были, насколько помню, Вяч. Иванов — «Эрос», книга стихов; Зиновьева-Аннибал — «Тридцать три уroda», Георгий Чулков — «Тайга», Александр Блок — «Снежная маска», стихи — Сергей Городецкий — «Перун». Стихи: Зиновьева-Аннибал — «Трагический зверинец»; Максимилиан Волошин — Стихи; Вяч. Иванов — «По звездам». Статьи и афоризмы; Алексей Ремизов — «Луг духовный»; Ю. Верховский «Идиллии и элегии» (стихотворения).

В это же время действовало издательство «Факелы», которое выпустило три альманаха-сборника: два беллетристических и один — философский. В этом же издательстве вышла так много на шумевшая книжка Георгия Чулкова «О мистическом анархизме». Со вступительной статьей Вячеслава Иванова. В беллетристическом отделе «Факелов» участвовали также Вячеслав Иванов, Блок, Федор Сологуб, Михаил Кузмин, Сергей Городецкий и другие, и не только символисты, но с ними Иван Бунин, Леонид Андреев и др.

Книгу Георгия Чулкова «О мистическом анархизме» встретили дружным осуждением журналы всех направлений. Ругали и беллетристические и философские сборники «Факелов». Так что редактору этих книг пришлось защищать свои идеи, не имея для своих заявлений ни одного печатного органа. Но мало этого: испугавшиеся сотрудники тоже начали отмежевываться от философских высказываний Г. Чулкова, и некоторые из них, в том числе Вяч. Иванов и А. Блок, заявили об этом печатно. Полемика перекинулась и за границу. В парижском журнале «Mercure de France» появилась статья об этой книге, и в этой статье толковалось всось и вкривь о какой-то новой литературной

школе, провозглашенной будто бы Георгием Чулковым. Это еще больше запутало дело.¹²

Я привожу письмо в редакцию петербургской газеты «Товарищ» Дмитрия Владимировича Философова, беспристрастно объясняющее дело:

«...Г-н Семенов, постоянный сотрудник французского журнала «*Mercur de France*», свой последний отчет о русской литературе посвятил мистическому анархизму ...причем Вяч. Иванова и Блока зачислил в мистические анархисты. Пчелы декадентского улья загудели. Блок заявил, что он «не имеет ничего общего с мистическим анархизмом, о чем свидетельствуют его стихи и проза». Я присутствовал, можно сказать, при самом зарождении этого течения, отлично знаю, что именно Вяч. Иванов и Блок были совершенно солидарны с Георгием Чулковым. В свое время предполагалось даже устроить при содействии тогдашнего режиссера театра г-жи Комиссаржевской, В. Э. Мейерхольда, маленькую мистико-анархическую сцену, для которой и был написан знаменитый «Балаганчик» Блока. Вяч. Иванов написал предисловие к брошюре Георгия Чулкова. Пока «мистический анархизм» оставался экзотическим цветком, выросшим в парниках декадентской кружковщины, — ни Вяч. Иванов, ни Блок от него не отказывались, а самодовольно радовались своей выдумке. Но когда критика начала свой поход против этой новинки, Вяч. Иванов и Блок сейчас же от своего возлюбленного детища отказались, предоставив Георгия Ивановича на съедение обозлившихся товарищей. А. Блок удостоверяет, ссылаясь на свои стихи и прозу, что он не мистический анархист.¹³ Но мне эту прозу и стихи изучать пришлось, по совести утверждаю, что г. Блок именно мистический анархист».¹⁴

Вот какую бурю подняла эта книга. Прошло много лет. Умер Георгий Иванович, и в его бумагах я нахожу письмо запечатанное и адресованное мне. В нем, между прочим, он отрекается от статьи «Об утверждении личности», напечатанной в книге «О мистическом анархизме», и кается в легкомыслии своем и торопливости.

«Родная моя Надя. Случайно раскрыл вторую книжку «Факелов», изданную в 1907 году, и перечитал свою статью

«Об утверждении личности». Эта статья — дурная статья, и я дорого дал бы, если бы можно было ее уничтожить. Смерть не за горами. Я пишу это письмо, чтобы оно было свидетельством после моей смерти от всех этих неосторожных, торопливых высказываний... Мой взгляд тогдашний на историческое христианство ложен. Ложно также мое тогдашнее понимание догмата. Я и теперь не отрекаюсь от иных моих чаяний, надежд и предчувствий, но я решительно заблуждался в оценке богочеловеческого процесса. Главное мое заблуждение, противоречившее, кстати сказать, моему внутреннему опыту, это уклончивое отношение к исповеданию той Истины, что две тысячи лет назад была воплощена до конца и явлена была человечеству в своей единственности и абсолютности. Пусть это письмо будет ключом к моему нынешнему пониманию мира. Возможно, что когда-нибудь найдется человек, который, «пыль веков от хартий отряхнув», заинтересуется книгами, мною написанными. Пусть это письмо освободит меня до известной степени от ответственности за мои юношеские грехи. Я довольно их делал и в зрелом возрасте. Но такая статья, как «Об утверждении личности», — воистину «вопиет». Решительно ее зачеркиваю. Я исповедую, что галилеянин раввин Иисус, две тысячи лет назад распятый по приказу римского чиновника Пилата согласно воле еврейских националистов, ожидавших Спасителя, как Израильского царя, был истинным Спасителем всего мира, и воистину воскрес «по писаниям пророков». Я верю, что прекраснее, мудрее и свободнее не было на земле существа — не было и никогда не будет. Я верю, что Он единственный.

Кому же мне было написать об этом, как не тебе, моя родная? Ты, правда, знаешь, как я теперь думаю и во что верю, но это письмо, тебе адресованное, пусть будет также свидетельством для всех. Я хотел бы, чтобы все мои литературные опыты (о, какие несовершенные!) получили оценку в свете этого моего исповедания. Только тогда можно понять мой духовный путь.

Мне было трудно. У меня не было в юности руководителя. Я жил Писанием, но без Предания. Моя личная жизнь, ты знаешь, была слепая. И до сего времени я влачу бремя моей

слепоты и греха. Но — видит Бог — я был «алчущим и жаждающим правды», хотя и заблуждался и падал — и так низко!

Любящий тебя
Георгий Чулков».

Стихотворение Георгия Ивановича «Вячеславу Иванову» говорит об этом раскаянии в самонадеянности и утверждении своей воли.

Могу ли осудить, поэт,
Тебя за мглу противоречий?
Ведь миру мы сказали: «Нет!» —
Мы, буйства темного прелтечи.

Ведь вместе мы сжигали дом,
Где жили наши предки чинно,
Но грянул в небе вещий гром,
И дым простерся лентой длинной.

И мы, поэт, осуждены
Свою вину нести пред Богом,
Как недостойные сыны
По окровавленным дорогам.

Нет, нет! Не мне судить тебя,
Когда ты, поникая долу,
Гадаешь — быть или не быть —
В сей миг — последнему глаголу.¹⁵

Георгию Чулкову
(В ответ на его стихотворение)

Да, сей костер мы поджигали,
И совесть правду говорит,
Хотя предчувствия не гали,
Что сердце наше в нем сгорит.

Гори ж, и тлей на самозданном
О, сердце — феникс — очаге!
Свой суд приемля — в нежеланном,
Тобою вызванном слуге.

Кто развязал Эолов мех,
Бурь не кори, не фарисействуй.

Поэт Трагедия: «Все грех,
Что Воля деет. Все за всех!»
А воля действенная: «Действуй».

В. Иванов¹⁶

(. . .)

Приехав в Россию в 1913 г., Вячеслав Иванович поселился в Москве на Зубовском бульваре.¹⁷ В Швейцарии у них родился сын Димитрий. В начале войны 1914 года мы застряли в Швейцарии. Потом революция 1917 г. Весной 1917 г. я приехала в Москву из Царского Села. Мы стали жить неподалеку от В. И., на Смоленском бульваре.

У меня был сын, Володя, двух лет. Сын Вячеслава/Ивановича/, Дима, лет четырех, приходил к нам играть с нашим Володей. Но был голод. Вячеслав/Иванович/ оставил свою большую квартиру и переехал в Нащокинский переулок в одну комнату. Все вещи и обстановку разместили по знакомым. Вера не умела хозяйничать и была чем-то серьезно больна. Было жалко на нее смотреть. Ее видели иногда на рынке продающей старую одежду. Промучавшись два года от голода и болезни, она умерла в августе 1920 года. Умерла от общего туберкулеза в больнице Московских клиник. Сама сказала, умирая: «Я не знала, что так легко умирать». Годом раньше умерла, и тоже в больнице, верная почитательница Вячеслава/Ивановича/ и его помощница — Марья Михайловна Замятина. В том же году, в сентябре, мы похоронили нашего сына Володю.

Вскоре после смерти Веры Вячеслав/Иванович/ с дочерью от Зиновьевой-Аннибал, Лидой, и сыном Димой уехал в Баку, приглашенный в университет читать курс истории древней литературы.¹⁸

Дети Вячеслава/Ивановича/ оказались способными к музыке. Дочь — пианистка — позднее стала композитором. Мальчик играл на скрипке. Но во время пребывания в Баку, по несчастному случаю, потерял четыре пальца на правой руке и не мог продолжать музыкального образования. В 1924 году Вячеслав/Иванович/ приехал в Москву с дочерью и сыном хлопотать о командировке в Италию. Он читал в Академии Художественных Наук свою работу: «Религия Страдающего

Бога».¹⁹ А у нас читал свою маленькую оперетту в стихах — «Любовь — мираж», изящную и остроумную.

Второй раз мы слушали чтение им этой же комедии у Михаила Осиповича Гершензона. В Москве он прожил месяца два или три, и часто бывал у нас на Смоленском бульваре. Много он беседовал с нами, да и было что рассказать друг другу о пережитом за эти годы разлуки с 1920 по 1924 год.

За месяц до его отъезда я уехала в Калужскую губернию в закрытый тогда уже монастырь Оптиной пустыни, прославленный своими подвижниками-старцами. На лето там сдавались для жилья бывшие кельи монахов. Я прожила там до конца лета. Эта обитель отличалась необыкновенно живописной природой — дремучими лесами, лугами и красивой речкой Жиздрой. В то лето там жили наши знакомые — художник Лев Александрович Бруни и его брат Николай и их семья.

В одном из писем ко мне от 27 августа 1924 года муж мой описал последний вечер, проведенный у него Вяч. Ивановым перед отъездом в Италию: «Вчера был у меня Вяч. Иванович. Рачинский* был в ударе. Вячеслав/ И/ванович/ наслаждался им. Вчера мы долго обнимались и целовались. Я его перекрестил трижды, и он, со слезами на глазах, шутя бормотал: «старец! старец!» И я, с чистым сердцем, его обнимал. Сегодня он уезжает в Италию. Он сделал тебе надпись на книге «Кормчие Звезды». Текст надписи таков: «На память о незабвенных минутах жизни, мудрой, твердой, верной Надежде Григорьевне Чулковой с глубокой любовью и преклонением. Вячеслав Иванов».

Над смертью вечно торжествует
В ком память вечная живет.
Любовь зовет, любовь предчует;
Кто не забыл — не отдает.

Вторая цитата из стихотворения «Pieta».

* Григорий Алексеевич Рачинский — профессор, философ, историк литературы, исследователь творчества Гёте, знавший лично Тургенева, Достоевского, Влад. Соловьева и др. современников.

От века Он, безжизненный, — на лоне
Тоски твоей,
О, темная, на звездном небосклоне!
О Мать Скорбей!

Это относится к Изиде — Богоматери — Богоматери.
Третья из того же цикла:

За боль любви, за плач благодаренья,
За ночь потерь,
За первый крик, и смертный акт боренья,
И смерти дверь, —
Зане Тебя, по Ком в разлуке страждем,
Разлукой зрим,
Бог жаждущих, чьей страстной чаши жаждем, —
Благодарим!

В/ячеслав/ И/ванович/ уехал в Рим 27 авг. 1924 г., а стихи его о встрече с Римом (я их привожу) помечены: «Рим, осень 1924». В 1924 он прислал нам свои новые стихи.²⁰

Девять сонетов о Риме заканчиваются шестистишьем:

Postscriptum

Уж расставались мы, когда, подвижник строгий,
Близ хижины твоей пробился светлый ключ.
Все также ль чистый бьет? все также ли гремуч?
Как верно ты бредешь крутой своей дорогой
С мечтой заветною о Саровских местах.
Со звонкой песнею на радостных устах.

В этом стихотворении Вячеслав/ И/ванович/ говорит о расставании с Георгием Ивановичем в 1924 году, когда так много говорили и философствовали два старые друга, когда он, уезжая, был менее радостен, чем провожавший его «строгий подвижник».

После восторженных чувств по поводу его возвращения в Рим, в стихах В. Иванова стала слышаться грусть по родине и тоска одиночества. Георгий Иванович просил у него разрешения напечатать его стихи, которые мы здесь читали с восхищением. Но он ответил телеграммой: «Печатать не

надо. Стихи сохранить для посмертного издания» («pour un livre posthume»).

* * *

Вячеслав Иванов в повседневных разговорах и при самых прозаических житейских обстоятельствах выражался философским языком.

На «Башне», где он жил, — его друзья называли жилище его «Олимп». Этажом ниже помещалась школа живописи художницы Елизаветы Николаевны Званцевой. Эту квартиру называли «Под-Олимп». Между прочим в этой школе преподавали Бакст, Бенуа и Добужинский и другие художники «Мира Искусства».

Однажды у Вячеслава/Иванова/ не оказалось дров для печки. Он сошел с Олимпа в Под-Олимп и попросил Званцеву дать ему дров. Званцева, боясь, что у нее не хватит дров на завтра, когда будет позировать обнаженная натурщица, сказала, что дров у нее нет. Тогда В. И., подозревая, что это не совсем так, спросил: «У вас нет дров конкретно или абстрактно?» (Это мне рассказала художница Е. Ив. Кармина, которая жила тогда вместе с Е. Н. Званцевой).

* * *

Однажды, когда я упомянула в разговоре с Вячеславом/Ивановым/ об одной красивой даме, появлявшейся в обществе иногда в претенциозных костюмах, он спросил: «Эта та, у которой такой великолепный дурной вкус?»

Письмо В. И. Иванова из Италии:

«Дорогой друг Георгий Иванович!

Сердечное тебе спасибо за письмецо милое; светло ты меня им утешил. Как бы обнял я вас с Надеждой Григорьевной, горячо любимой. Обнял бы и Юрия Никандровича,²¹ друга затворившейся ныне и молчаливствующей Музы моей; тревожная о нем забота и скорби меня не оставляют.

Тебе прежде всего скажу, что давно собирался написать тебе, как я тебе обязан, как глубоко благодарен: с тех пор собирался, как еще прошлым летом узнал от прибывшей в Рим Ольги Александровны,²² что твой, пусть преувеличенно, и даже сверх меры хвалебный (здесь цель, думается, оправдывает средство!), отзыв о моей (хромой на обе ноги) «деятельности» существенно решил дело в ЦЕКУБУ в мою пользу; а ведь в итоге этого доброго твоего дела (хотя ты и покривил ради него душой) меня с детьми до сих пор кормят в нашем добровольном изгнании. Этого оказательства истинной дружбы твоей и дети мои никогда не забудут. Часто думаю я о вас, и живо встает в душе ваш домик и особенный духовный воздух в смиренной тесноте его, — эта мистическая (почти как в римских катакомбах) заветная затаенность в нем, — снится порой и святая могилка в нашем Новодевичьем монастыре...²³

Но хорошо то, что бодро работаешь, и счастлив ты, что «мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут». Хотелось бы немного твоих стихов и Юрия. Можно? И 38 новых стихотворений Тютчева тоже меня волнуют.* Что кое-что мое в рифмах, к тебе занесенное ветром, ты читаешь другим, — беды в том, конечно, нет; а с «Красной Новью» напрасно меня сватал. Я ответил отказом, который, может быть, криво истолкован. Между тем слова «берегу стихи для посмертного издания» («préserve mes poésies pour un livre posthume») — сухая правда. Теперь мне нужен затвор.

Не забывай меня за листом бумаги: напиши еще — мне радость. Любящий тебя Вячеслав.

30 марта 1928».

* Изданные Г. И. Чулковым. — Н. Ч.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Зиновьева-Аннибал Л. Д., «Тридцать три урожая». СПб, «Оры», 1907; Зиновьева-Аннибал Л. Д., «Кольца», СПб, «Скорпион», 1904.
2. См.: Иванов Вяч., Младенчество: Поэма. Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. — Л., 1978, с. 345-377.
3. Ср.: Оценки эпохи первой русской революции в воспоминаниях Е. Ю. Кузминой-Караваевой (Блок в воспоминаниях современников. М.-Л., 1980, т. 2, с. 58-76).
4. *Θασος* (греч.) — сонм, сборище.
5. Имеется в виду книга Г. Чулкова «О мистическом анархизме», СПб, «Факелы», 1906. С вступительной статьей В. Иванова «Идея неприятия мира».
6. См.: Иванов Вяч. Дневник. — Собр. соч. — Брюссель, 1978, т. 3, с. 744-754.
7. На похоронах Л. Д. Зиновьевой-Аннибал присутствовал весь литературный Петербург; вот как об этом писал В. В. Розанов: «...Вчера был на похоронах Лидии Дм. Ивановой, жены Вяч. Ив. Иванова. / . . / Поразительная смерть ее. И поразителен был день похорон. Пели монахи. А ведь она всю жизнь служила эросу, у них в квартире началась религия эроса. / . . / Конечно все это было почти сплошь русская шутливость, молодое дурачество: но все-таки. О смерти, гробе и /2 сл. нрзб./ черных монахах они всю жизнь не вспоминали и не думали. И вдруг у этих /1 сл. нрзб./ скарлатина, гроб! И умерла, бедняжка, от скарлатины, детской болезни, сушее дитя, какая и была в жизни. Она была удивительно беззлобна. Ни одного ни о ком дурного слова! А ее часто поносили «умники». Ее милой, полувеселой, беззаботной улыбки. без перехода в смех, невозможно забыть. Была истинно добрый и прекрасный человек. А что она служила «эросу», то кому от этого хуже? / . . / Вяч. Иванов очень растерян. Не могу представить, что он станет делать без нее». (М. И. Ивановой, 28 окт. 1907 г., фонд музея А. Блока /бывшая коллекция Н. П. Ильина/).
8. Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. — Л., «Сов. писатель», 1978, с. 163.
9. Там же, с. 210.
10. Там же, с. 179.
11. В. Пяст. Встречи. М., «Федерация», 1929.
12. Е. П. Семенов.
13. А. Блок. «Письмо в редакцию». «Весь», 1907, № 8, с. 81.
14. Л. Философов. Дела домашние. «Товариш», 1907, № 379, 23 сент.
15. Стихотворение было написано 15 авг. 1919 г. и называлось «Поэту».
16. Стихотворение написано 3 дек. 1919 г. См.: Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., «Сов. Писатель», 1978, с. 285.
17. Н. Г. Чулкова не описывает встреч с Ивановым в Риме — об этом пишет Г. Чулков в «Годах странствий» (с. 242-243); первая и вторая глава о Вяч. Иванове не следуют в тексте «Воспоминаний» одна за другой (глава «Вяч. Иванов 1905-1909 гг.» — третья по счету, глава «Вяч. Иванов 1913-1928 гг.» — четырнадцатая по счету), поэтому в тексте появляется хронологический разрыв. Осенью 1913 г. Вяч. Иванов возвращается в Москву из Рима.
18. См.: Альтман М. С. Из бесед с поэтом Вяч. Ивановым. Уч. зап. Тартуского университета, вып. 209, Тарту, 1968.
19. См.: Иванов Вяч. «Эллинская религия страдающего бога». «Новый путь», 1904, № 1-4, а также «Религия Диониса». «Вопросы жизни», 1965, № 6-7.
20. Далее Н. Г. Чулкова цитирует девять «Римских сонетов» Вяч. Иванова. — См.: Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы, с. 296-301, а также стихотворение «Поэзия» (с. 279), «Умер Блок» (с. 291), «Земля» (с. 204), «Каменный дуб» (с. 302) и стихотворения, не вошедшие в этот сборник, которые мы включили в текст публикации.
21. Ю. Н. Верховский (1878-1956) — поэт, литературовед, близкий друг Вяч. Иванова, Г. Чулкова и А. Блока.
22. О. А. Шор-Дешарт (1894-1978) — критик, литературовед, ближайший друг, ученица и постоянный сотрудник Вяч. Иванова, редактор *Собрания сочинений* Вяч. Иванова (Брюссель, т. 1-3, 1971-1979). В 1927 г. О. А. Дешарт приехала из Москвы в Рим.
23. На Новодевичьем кладбище в Москве был похоронен четырехлетний сын Чулковых Володя.

ПИСЬМА В. РОЗАНОВА К Н. ГЛУБОКОВСКОМУ

Сейчас мы переживаем время нового рождения, открытия для читателей В. В. Розанова — философа, писателя, журналиста и одного из самых оригинальных русских людей начала нашего столетия. Именно он, домашний, "тихий и кроткий" (как он говорил про себя), он, любящий и благословляющий все русское, церковное, православное, сконцентрировал в себе, в своей душе и своей судьбе вековые вопросы человека к Богу и миру. Он был борец против "христианства" за христианство, бунтарь против Бога ради Бога — т. е. борец против казенщины, формализма и сухости за Страх Божий, Любовь Божью, жизнь и теплоту. И он сам знал, что в этом его "значение в истории". "Чтобы пронизал душу Христос, — писал он в "Опавших листьях", — ему надо преодолеть теперь не какой-то опыт "рыбаков" и впечатление моря, с их ни "да" ни "нет" в отношении Христа, а надо пронзить всю толщу впечатлений "современного человека", весь этот мусор, и добро, преодолеть гимназию, преодолеть университет, преодолеть казенную службу, ответственность перед начальством, кой-какие танцишки, кой-какой флиртишко, знакомых, друзей, книги, Бюхнера, Лермонтова... и — вернуться к простоте рыбного промысла для снискания хлеба. Возможно ли это? Как "мусорного человека" превратить в "естественное явление"? Христос имел дело с "естественными явлениями", а христианству (церкви) приходится иметь дело с мусорными явлениями, с ломанными явлениями, с извращенными явлениями, — иметь дело с продуктами разложения, вывиха, изуродования. И вот отчего церковь (между прочим) так мало успевает, когда так успевал Христос.

Христианству гораздо труднее, чем Христу. Церкви теперь труднее, чем было Апостолам. — ...Старые, милые бабушки — берегите правду русскую. Берегите: ее некому больше беречь". (Опав. листья, Короб 2, с. 401).

Эти слова были опубликованы в 1915 г., во Втором Коробе знаменитой книги Розанова "Опавшие листья". Заготовками этой книги, дневника, исповеди, сборника блестящих афоризмов, так же, как предшествовавшей ей в этом жанре книги "Уединенное" (1911), можно считать письма Розанова, которые он писал разным лицам.

Среди них особое место занимают письма к Николаю Никаноровичу Глубоковскому (1863–1937) — профессору СПб Духовной Академии по кафедре Священного Писания Нового Завета, автору капитальных трудов по истории христианства. Именно ему Розанов на протяжении 11 лет пишет "нечто заветное для автобиографии" и оставляет завещание: "сохраните эти строчки и после моей † напечатайте". Для этой публикации мы выбрали пять из самых больших исповедальных писем Розанова. Но прежде приведем отрывки из тех писем, где Розанов дает характеристику самому Ник. Ник. Глубоковскому и говорит об их отношениях друг к другу: "...всякий вид /нрзб./ дружелюбия и даже просто доверия меня греет и привязывает. В моих глазах способность к ней людей, т. е. способность другому дать дружбу — есть измеритель нравственного достоинства (...) Слава Богу: наши духовные имеют безмерную терпимость, когда не видят в человеке злого умысла ("злодеяния") и легкомыслия (шалопайства мысли), чего у меня нет и никогда не было. Я думаю, Бог меня оправдает, как я свою девочку 9-летнюю Таню, когда она на одни упреки сказала матери, сжимая виски (за границей этот год): "Не знаю, мама. Я точно заблудилась". Каково в 9-летке! Но ведь и мы для Бога "9-летки" и наши блуждания..." (26. XII. 1905).

"Подвизайтесь в трудах, церкви и отечеству на пользу". "У Церкви, как и у государства, есть свои римляне. Вы — из них". (31. III. 1909).

"Благодарю Вас за вечно милую память, в которой сказывается "простая православная душа" под экстра-ученостью. И слава Богу: без учености еще обойтись можно, обходилась "толикое пространство лет Русь", а без простой православной души просто замерзла бы, да и с ума бы сошла. Как подумаешь об этом — "со всеми помирисься" (30. XII. 1910). О воспоминаниях Н. Н. Глубоковского: "в них сказалась душа русского попавича"... "читая поражался: ведь ничего подобного этим горячим чувствам своей земли, своего рода у интеллигенции, журналистов, у чиновников, да и вообще нигде нет на Руси. Это поразительно. Это наша "крепость Божья" (в Карфагене!), которую не взять врагам... Столько я от Вас видел, слышал, прочел в писульках, чего-то теплого, доброго, участливого, внимательного, несмотря на адское расхождение в идеях, где это я встретил, у кого? "Ближайшие" в литературе спокойно предавали "за понюшку табаку" — за успех и прославление в какой-нибудь газетишке... И все — мятется. Все — временно. Все — суетно. Все — пустой звон. А теплота, в сущности, и содержится в поношенных поповских ризах... Так я и стал заворачивать оглобли к лопам; кстати — и дед мой поп,

какой-то "Аристов" был" (27. XII. 1911). "Слава Богу, что Он дал нам доброту. Не "умы" наши важны, а важно, что мы иногда бываем хорошие люди. Господь да благословит Вас..." (4. II. 1915).

После всех этих благостных слов Розанова исповедальные пять писем покажутся написанными другим человеком. Но в этом и была суть Розанова — доведение противоречий до самой мучительной точки, когда разрешить их может только чудо (что и произошло с ним перед смертью). Хотя в этих письмах Розанов рассказывает о известных вещах — своем бедном детстве, женитьбе на возлюбленной Достоевского, "инфернальнице" Аполлинарии Сусловой, встрече с "благородными людьми и благородной жизнью — в Ельце" — В. Д. Будягиной, ее матерью Александрой Михайловной и дочкой "Санюшей", второй "незаконной женитьбе" с "незаконными детьми" (Суслова, бросившая Розанова, до самой смерти не давала ему развода), хотя все эти факты известны из книг Розанова и его "Автобиографии", напечатанной в газ. "Русский труд" в 1910 году, — в письмах мы находим важнейшие подробности жизни писателя, слышим его взволнованный и гневный (он говорит обо всем этом в первый раз) голос. Кроме того, письма эти, как и все почти, вышедшее из-под пера Розанова, отмечены особым, неповторимым стилистическим звучанием. Хранятся письма в рук. отделе ГПБ (ф. 194, оп. 1, № 757).

1905. 6. 11

...Может быть я поступаю резко и грубо, весьма возможно, что чего-то там сам я не замечаю, не принимаю во внимание, но за вычетом всех ошибок, мне думается, правильна моя мысль: что что-то не так во всем христианстве, что это есть совсем не то, за что мы его принимаем. Это просто крик сердца, мне самому дорого стоит (жена моя очень верующая, и мне страшно больно от нее в чем-либо отделяться в вере). Я понимаю силу слова ап. Павла, согласен, что он "первый по Христе" в силе слова, величии гения (Христа я совсем не считаю человеком, в рядах людей), но "напоследок" я прямо возненавидел его за то, что он такие мучительнейшие темы, как отношение 2-х Заветов, отношение язычников к евреям, вопрос об обрезании и проч. и проч. обошел, а не разрешил с помощью патетических афоризмов, которым (для мысли измученной) грош цена... Я

вообще думаю, что в христианстве скрывается какая-то страшная тайна, которая разрешится через 1000 или 500 лет. Мы теперь ничего о нем не понимаем (...) После Христа все до-Христово стало неинтересно, не нужно, похолодело. Христос был сильнее всего мира: с этим я согласен, и что он "победил" это слишком очевидно, осязаемо. Победил — Красотою, Трагедиею в Нем: перед этим все пали и заплакали. Мне ужасно печально думать и я пишу Вам с последней горечью, что иногда мне в Христе величайшее обольщение, совлечение человечества с /1 нрзб./ неисчерпаемых древних пучин в бездну любезного и обаятельного, но именно в бездну и даже Бездну (...) Не знаю. Не знаю. Ничего бы я не пожалел, чтобы умереть "в вере отцов", и слова литургии: о "христианской кончине живота нашего" — редко не выдают слезу из моих глаз. Но передо мной вот уже 6 лет все смутилось. Началось почти с пошлости: брак, семья, развод, консистории, незаконные дети. Потом, что ли, "чем дальше в лес, — тем больше дров"? — Да откуда это? Да Христос ничего не сказал о "главном"... и тут начинают мои самые черные сомнения: слишком "по-байроновски", высокомерно и менторски Он в отношении "прозы жизни", которая есть "сок и кровь" ее.

Словом, во мне взбунтовался мешанин против аристократа, даже мешанинишко, жалкий, необразованный, но "со своими неотъемлемыми правами" — против страшного ума и силы, взбунтовалась Вандея против "победоносного" Парижа, принесшего "свет человекам". Все это мне очень грустно думать, но я думаю, что я прав. Когда я думаю: ну, а как на небе? Куда я пойду "там". То утешаю себя мыслию: неужели Господь захочет меня наказать вечною мукою только за то, что я не могу иначе думать? И все силы употребляю, чтобы в жизни сохранить не блестящие добродетели, но быть тем тихим и непритязательным существом, о коих Христос же сказал: "их есть Царство Небесное". Мне кажется: ад не для "мешан". Он — для гордых, непокоряющихся — а я если и не покоряюсь, то до последней степени смиренно, — только потому, что "я не могу иначе". Поэтому со своими /1 нрзб./ сомнениями я живу спокойно, хотя иногда недостаток "христианской кончины живота моего" мне очень тяжел: и будь я горд — я бы завтра

повесился. Но слава Богу — Бог дал мне смирение, это благодаря моему бедному происхождению, бедным родителям и что, например, я до того не способен к языкам, что никогда не мог одолеть немецкого, а французский чуть-чуть после многомерных страданий. Следовательно, — гордиться мне нечем: и я сижу в уголке, думая: "Господь меня помилует". Но в Евангелии и Христе — все для меня сомнительно, и даже все очевидно "не так", "не то, что кажется". (...) Ваш искренне В. Розанов.

1907. 14. 11.

Дорогой Николай Никанорович! Горячо благодарю за присылку "В /?/" и письма на память. Без лести: до чего изящен у Вас печатный стиль (в письмах — наоборот, рыхл, расплывчат — конечно, от усталости). Я, глядя, смеялся: "это Фру-Фру бежит (в "Ан/не/ Кар/ениной/", лошадь Вронского), а у нее ноги тонкие, сухие, породистые". Сам я от усталости скверно пишу: но сохранил вкус к хорошему письму. Ведь Ваша речь — чудная, и с удивительной теплотой сказанная. В других местах — ученость, а тут — сердце. (...) Да ведь Вы и случаен, а Горчаков — это закон, норма церкви... просто черносотенное сонмище невежд, блеск прежде всего (...) Предсоборное Присутствие даже не заикнулось о любви в браке, как единственном собственно "каноническом" основании брака. Просто ее не существует: "Такая мелочь" (...) Вот где горе: в гордости. Ее не может не быть у церкви, ибо она была уже у Апостола из Апостолов. Грустно все это. И еще страшно, когда я думаю /2 нрзб./. Не знаю, куда мне деться с моими сомнениями. Грустно жить. Жена у меня очень верующая... И поразительно; чем жена моя больше привязана к церкви, тем я больше ненавижу все церковное... ибо на такую веру человеческую церковь ответила... Горчаковым, "соборами", ап. Павлом, Евангелием, чем-то ловким, искусным, обольстительным, и сухим, безжалостным внутри себя. Не кляните, но и у ап. Павла — все "слова" одни, а иного ничего он не любил кроме себя, своей личной биографии и своего слова... Ничего

не было более бездушного в истории — как христианство. Это моя аксиома! Что-то ужасное, какая-то пошлость! Влюбленность в себя! (...) Люблю "вечерний звон" и проч. Лампаду пред образом люблю. Люблю подробности старые, милые, но центр дела — ненавижу. И у меня все это не теория, а практика, "вот-вот", из дома, из крови, из быта. Ничего придуманного. Ну, не очень осуждайте. Очень грустно мне. А знаете, что раз лично меня "посетил Бог" (страхом), года 1 1/2 назад сидит у меня Вася Успенский /В. А./, болтаем, и я как-то неосторожно сказал: "да оттого, что в этих словах Иисуса не было правды" (не помню о чем). Вдруг жена, с другого конца стола, закричит (она из типа кротких, но это у нее от боли): "Как же ты говоришь, что нет правды в словах Христа: так ты значит хочешь сказать, что Христос иногда говорил сознательную неправду. Так кто же говорит правду, кому в мире верить, тебе что ли". Все это — приблизительно. И вдруг что-то случилось, и я точно почувствовал, что "Христос здесь" (в комнате), на меня нашел такой чрезвычайный страх, что я весь затрепетал, (2 неразб.) и совершенно не мог быть один: и попросил Успенского ночевать у нас (он еще — от семинарии, богослов): и не говоря ни слова, он остался (никогда не бывало). Все почувствовали, что что-то случилось, и что я чрезвычайно боюсь. Христос вошел в комнату не как бы судья мне и несмотря на меня (эти расслоения /?/ я чувствовал), а как страшная, подавляющая Тайна, как что-то большое, всю комнату наполняющее и больше дома, страшное и сильное. Я почувствовал себя комаром, которого вот-вот раздавят.

Больше не бывало, — вообще больше я никогда не боялся. Ну, устал. "Будем любить друг друга, как есть".
Ваш В. Розанов.

1907. 23. V.

...ну зачем Вы меня разубеждаете, что Вы (приблизительно) не черносотенец. Ведь я Вас отлично знаю, дружен (в душе) с Вами, и если в печати называл

Вас "охранителем", — то чтобы "тише /1 нрзб./, то правоверие, которое обычно против всяких новшеств в семейном вопросе. Я был уверен, что Вами это сразу принято.

Вы просто очень образованный и очень порядочный человек. Вы одиноки? Надо на это почти плюнуть: ведь наши дни (да и когда их не было в истории) "малоначитанные" и "малоразмышляющие". Но мне кажется, надо иметь мужество и великодушие любить и "врагов своих" /1 нрзб./ и пошлых людей, ибо они природно хороши.

Тронули меня глубоко Ваши слова: "Мне Вы всегда близки почему-то, и я думаю, мы хорошо понимаем" и проч. Спасибо, дорогой. Я всегда люблю это вот теплое прикосновение дум. Лучше лекций, учености, славы. Тут я согласен со "старцами". Вообще во многом согласен: в то же время, как хочется мне разрушить "иконостас" церкви. Верите ли, часто шепчу: "всех их надо за бороды стащить из-под купола". /?/ Причина — семья и вообще неурядица. В 1886 г. меня кинула 1-ая жена, на которой я женился еще студентом, по моральнейшему поводу: очень гордая, страстная, "легитимистка" и проч. и проч. Страшно стильная женщина, начитанная — ей было 38 лет, когда я с нею встретился, еще в 8 классе гимназии. Я любил ее последний день, и хотя она соглашалась любить и жить со мною "так" (и была уже) я (ведь знаете мальчишеский героизм) потребовал венчания. У нее был чудный закал и стиль — для гостинных, лекций, вообще суеты: и никакого быта, никакой способности к ежедневной жизни. Промаялись 4 года, и она (по-видимому влюбившись в юношу-еврея) кинула меня, жестоко и беспощадно, как она все делала. А вообще она страшно была, патологически жестокий человек: а влюбился я прямо в стиль ее души. Что-то из средних веков, из католических кафедралов, хотя русская, народная. Ну-с, маята.

...Прошли годы, и я встретил (духовные) бабушку 50 лет, дочь ее 26 лет и внучку 7 лет. И полюбил чистою нравственною любовью вот весь их милый и маленький домик, такой благородный, бедный, нуждающийся. Уверен, что "вдовица в Сарепте Сидонской" была точь-в-точь, как

этот чистенький домик в Ельце. Маята-мука. (...) Мы тайно обвенчались, без записи и свидетелей, en trois, мы и поп. Рождаются дети — все "незаконные", жена моя — не по-моему, а по друзей моих, частью неверующих, "как святая" — в ложном положении. Попы, духовное ведомство — "переминаются с ноги на ногу".

Теперь слушайте: любил я с кроткими детьми ходить в церковь, к Введению, на Петербургской стороне. Я всегда был задумчив и рассеян. Психология мечтателя и созерцателя. Я не вижу того, что другие все видят: зато могу годы, не отводя глаз, рассматривать песчинку, которой другие не замечают. Вот моя практическая слабость и теоретическая сила. Теперь будьте страшно внимательны: стоя в церкви, с такой безграничной любовью к этой церкви, ко всему, всему в ней, виду, пению, священнику, дьячку, всему молящемуся люду, я как-то однажды подумал: "А ведь все это меня не любит". Не умею передать — слов не было. Было ползучее чувство, морфологическое изменение в душе. — Я, моя Варя (жена), эти вот дети, которых я сюда привел, всему этому храму противны, чужды, ненавистны, как "беззаконники", нарушившие их "святые уставы", — в основе и отдаленно все мы — "враги Христовы", и "Христос против нас прав" просто по существу: "суть скопцы Царствия ради Небесного", хорошо вступать в брак, а лучше не вступать (Ап. Павел)... С глубокой медлительностью, вот "как яблочко зреет", вся безграничная моя любовь к церкви и безграничный идеализм скромного, тихого семьянина /1 нрзб./ незыскательного, негордого — обратились (через годы) в столь же неумолимую ненависть (ярость) ко всему "Сему Царству", не говоря уже о храме, и к Тому, Кто дал первый толчок к девству, первый оборот от ветхозаветного идеала семьи — прочь и прочь. Словом, все совершилось органически, — идеи, догадки, сопоставления потом пришли. (...) Теперь я Вам скажу другое: я верю, что со мною Бог, вот как бы "чувствую Его за пазухой". До сих пор (50 лет) во мне сохранилось это мое вечное трудолюбие, абсолютная трезвость мысли, спокойствие души, после — это малое; сохранилась (без преувеличения) моя скромность, просто "недуманье о себе", /1 нрзб./ безграничная расположенность к людям (даже

и к врагам, напр., литературным, презирающим меня — ей-ей!), простота, глубокая житейская наивность. И я думаю: "да неужели это от черта? неужели со мною черт?" Не явно ли, что Бог меня хранит, что он недалеко от меня — и проч. И иногда резюмирую, думаю: в истории должно было что-то случиться "вроде меня", дабы раскрылась какая-то (может и не точь-в-точь так, как я думаю) неправда церкви и христианства, и вот это, я, моя личная судьба, 1-ый брак — до того идеалистический и 2-ой вне всякой чувственности (...) — все это устроено, создано Провидением, чтобы "вышло все, что вышло".

Устал я и поздно.

Друг мой, я уверен, что все это совершилось для "судьбы" и "истории". И как мне никогда этого не приходилось излагать, т. е. вот особенно тогдашнего состояния в церкви, — то сохраните эти строки и после моей † напечатайте, — это не тщеславие и не хвастовство, но для "освещения истории", а Вы — историк. Потому что "мое это столкновение с церковью" (я не умею иначе думать) есть тоже история. Ну, простите.

Целую и обнимаю. В. Розанов.

1910. 12. IX.

Дорогой и милый Николай Никанорович! С волнением и страхом и смятением (жалко и страшно) читаю о † Мих. Попова. Как хорошо Вы сделали, что написали все это, и как вот этих подробностей недостает для "Истории церкви", подходящей посему на тело без кишок и легких, и сердца... И пробудило это все во мне: сказать Вам нечто заветное. Сказать также, что у меня есть желание, чтобы это осталось для "автобиографии".

Вот:

Как мне грустно, как мне тяжело, что я и практически (в биографии), и теоретически (мыслью, философией) разошелся с церковью: а сердце мое, вся моя внутренность только и лежит в одной единственной церкви, и больше ей-ей ни к чему в мире, особенно же не лежит к литературе,

которую, вот года 3, я прямо начинаю ненавидеть... Но бросим злобу и скажем о любви. Простите за личности.

Скучающий учитель в Ельце, я познакомился в 1887-88-89-90 гг. с чистым "уголком духовенства", и вот до 1910 года я встретил много людей, частью "великих" или "знаменитых", все же ни в ком ни разу не нашел того света, такта, благородства, утонченности душ и сердец, того (внутреннего) преимущества быта, которые нашел там.

Моя привязанность (перешедшая в брак) началась с того, что увидел то, чего во всю жизнь мою не видал (...) и я "стал не философом, а смиреннейшим русским человеком", — вот как у Вас на рисунке сидят "русские люди" перед порогом дома: "слева сидит поп, в середине матушка" и проч. Затем я стал всматриваться, понимать, вдумываться, вслушиваться и смотреть. Я Вам когда-то писал о пьянстве у духовных, и это — есть. Не писал о худших вещах: и это тоже есть (по части VII заповеди прямо что-то чудовищное); и вот все в том же "уголке", — так и в Библии (а не у Гомера) описан Содом и Гоморра: но чего нет у Гомера, да и нигде нет в литературе, — в Библии даны отношения, слова такой глубины, нежности, такого проникновения в душу. Так подобным же образом часто в этом уголке я видал такую особенную меру души человеческой, особенную красоту и сияние ее, такие особенные отношения "к ближним", каких решительно никогда и ни у кого не встречал, и которые отвечают на все вопросы духа, удовлетворяют все тревоги, тоску, недоумение души, все заливая светом и простотою.

И вот с 90 г. по сей день, т. е. уже 20 лет (можно бы "усомниться", заподозрить, проверить) я по крайней мере 3-х лиц, а теперь пожалуй и 4 (падчерица) знаю как-то в смысле идеала полной завершенности, с устоя чего не сойду (до могилы). (...)

Эта-то вот 82-летняя теперь старушка, почти невидящая, слабо понимающая, ежедневно бывающая в церкви и пишущая нам "М. Д. де Цел и обн. Л. М. А. Р." (Милые и дорогие дети Целую и обнимаю вас любящая ваша мать Александра Руднева), — и была собственно чертой (тогда ей было лет 60, — бодрая и умная) на жизни, на биографии, которую /нрзб./ как на непрерывном добре, спокойно и

разумно делаемом. Я и до сих пор не помню, кого бы я видел такого умного человека, как эта дьяконица, не разбирающаяся в "ять", но умна она была совершенно особенною формой ума — глубоко искреннего, порывистого, все понимающего в отношениях человеческих, всякую душу человеческую — и почти веселого, и улыбающегося на мир, когда "хорошо", и "прибегающего к Богу" — когда печаль.

Ее слова, ее письма к нам (за 20 лет), ее способы воззрения на человека, на "должности человеческие", ее чувство Бога и церкви — все было непрерывным поучением в течение 20 лет. И лучшего человека я до сих пор не знаю. Теперь уже она "предалась земле" от старости... но глядя на нее думаешь: так вот думает и чувствует "святой человек", по глубокой тихости и милovidности образа, характера. /В молодости она/ поехала "на долгих" к Варваре Великомученице в Киев и дала у мошей обет какой-то и назвать дочь Варварой в память святой. И родила "в целости", и вот это моя милая жена, которая все переняла от матери, но от хрупкости и болезней у нее все "крепкое русское", все "духовное чистое" высветилось (именно от болезней, — но в тайне души я связываю это и с молитвами больной-беременной матери у Варвары Великомученицы в Киевском монастыре) душою такой милой, гармоничной, благородной религиозности, что ни с чем не умею сравнить (...) Тернавцев бывало всегда ее поцелует и называет: "Сестра Вы моя дорогая". И еще раза два до меня мелькнул слух, что ее называли: "В. Д. /Варвара Дмитриевна/ — совсем иконная святая", — и что это было сказано шепотом, укромно, и почти с испугом. Как я сказал — она всегда больная (при цветущем и юном виде), к духовному сословию она совсем равнодушна и почти не симпатизирует, — видев все "виды" в нем (брат — такой пьющий, но видала и худшее и прямо ужасное): но таков ее ум, что все эти "виды виданные" нисколько ее не пошатнули в отношении Церкви и Бога. Вот это сочетание сердца и ума (...) как и у ее матери — меня и поразило и поражает (...) Первого мужа, горячо любимого, она похоронила будучи сама 22 лет: он медленно (год) слепнул и умер, сойдя с ума (воспаление мозга). Все они были бедны,

жили только домиком... Так я их и застал в Ельце, бабушку, дочку и внучку, 60, 26 и 7 лет.

Теперь жена моя увя, после качественного/?/ года 4 назад существа сердца (миокардит) уже совсем разбита, и чувствуется, что ей недолго жить, — и я не хочу жить, не хочу жить, хоть дети и маленькие: от 9 до 15 лет. Просто не интересно... Я видел лучшее, что Бог дал мне увидеть, — ее, — и больше ни на что я не хочу смотреть. Детям оставляю "кое-что", и пусть растут, как знают: от нужды суровой избавлены, а до избытка пусть прирабатывают.

Вы знаете, дорогой Николай Никанорович, что почти самое важное, ценное в жизни: это увидеть настоящего человека... Есть "настоящий" ум (Менделеев), "настоящая" сила (у Наполеона), "настоящая" поэзия (Пушкин): но, пожалуй, и даже наверное важнее всего этого "настоящий" человек, у которого бы отношения к Небу и земле, далекому и близкому, "кровному" и только знакомому — вылились бы в "настоящие" мерки, в "настоящие" формы... Чтобы гордости не было и не было унижения, хитрости не было — и не было "простоватости", тут Солнце творит, природа творит: глядя, вы не понимаете, что тут можно было бы "вытянуть подлиннее" или "немного укоротить". Солнце сказало "да", и человеку остается повторить только "да".

Написал это неделю назад; что-то оторвало от письма (...) Я чувствую, что душой Вы мне близки и я Вам. И слава Богу. Быть кому-нибудь "близким" — не самое ли важное дело... Какая вообще суета наша жизнь, и на что она уходит.

Ваш искренно В. Розанов.

Посылаю "что есть", приблизительную "ерунду", но "с душой".

1916. 3. I.

Верно "и живот наш Аду приблизился", дорогой, милый Николай Никанорович: и "по многом богословствовании и многописании" оба мы видим, что все сие было "всуге". Как печальны такие мысли, навеваемые из древней Библии. И как

вообще печален и пугающ ее древний дух. На пороге рая — братоубийство, а и затем, до Самого Христа и Бога нашего, — смерть, несчастья, падения, бессильные и недолгие восстания из праха. Как вообще плачевна и скорбна сия юдоль?

Потом пришло Царство Его. Утешенье неутешенное. Все как-то странно: мелкие свары, злословья. Сколько догматических споров, попытки "определить" неопределимое.

Все трудно и скучно. Целую Вас и обнимаю. Дай Господь Вам сил и здоровья в новом 1916 году. А как трудно России? Вы еще не читаете журналов: и не видите на каждом шагу сочащуюся измену. (Наше "ура-православие", а журнал "Летопись" М. Горького).

Любящий В. Розанов.

СУДЬБЫ РОССИИ

Прот. Михаил ЧЕЛЬЦОВ

ВОСПОМИНАНИЯ 1918–1922 гг.*

Дерябинская тюрьма (продолжение)

В Дерябинке в нашей камере сохранился не снятым большого формата образ Святителя Николая. Он стоял у стены посредине камеры, и с первых же дней нашего пребывания был взят в особое попечение группой торговцев Гостиного Двора, — особенно братьями-старообрядцами. Какими-то путями доставали лампадное масло и поддерживали неугасимый огонек в лампадке. К праздничным службам добывали церковные свечи и ставили их у иконы: бывало по-праздничному. Не только верующие, но и безбожники, — не только русские, но и евреи (их было в камере человек с пять, не более) — с благоговением относились к иконе и всегда горящей при ней лампаде, и ни разу никто не позволил не только кощунства, но даже неблагоговейного отношения к этой нашей святыне. У нас у всех как-то утвердилось мнение, что пока икона со светящейся лампадой с нами, нас Святитель сохранит и заступится; но не помилует он и того, кто кощунственно коснется и тем более погасит огонь. И тюремное начальство, каждодневно утром и вечером проходившее мимо иконы, старалось показывать вид, что оно не замечает иконы и огонька. Только так приблизительно за неделю до моего выхода из Дерябинки, рано утром, подходит к моей койке один из братьев-старообрядцев и нервно-взволнованно сообщает, что в эту минувшую ночь начальник Дерябинки, проходя по камере, ни с того ни с сего подошел к иконе и

* См. начало в "Вестнике" № 156.

погасил в лампадке огонек. Смотрю по сторонам вдаль в направлении к иконе и вижу кучки нервно рассуждающих людей. Единогласно решили опять возжигать огонек. Действительно, через 2–3 дня это начальство было смещено, посажено в тюрьму и будто бы расстреляно за какие-то служебные проступки. Это обстоятельство произвело сильное впечатление даже на неверующих.

Молиться перед иконой все вместе, так сказать церковью, мы начали по инициативе самих богомольцев. Вскоре же по переселении нашем в эту камеру подходят ко мне двое–трое и говорят, нельзя ли нам в субботу под воскресенье собраться и по-праздничному помолиться. Я обрадовался этому предложению. Со мной было Евангелие с Псалтирью на русском языке, и только. Но из переговоров с другими узнали, что есть у нас в камере чтецы и певцы церковные, может сорганизоваться даже маленький хорик. И в субботу мы начали всеношную. Почти полностью отправляли ее. Только, конечно, стихиры никакие не выпевали, а лишь один стих: "Господи возвах". В канон пели "Отверзи уста моя..." Шестопсалмие и кафизмы читали по-русски. Отправили службу на славу. Чтецы и певцы оказались недурные — опытные. На другой день — в воскресенье — совершили обедницу, — опять с чтением Апостола и Евангелия по-русски. Русское чтение всего того, что прежде обычно выслушивалось моими богомольцами в славянском чтении произвело на них сильное впечатление: они прежде всего в нем все поняли, и понятое прошло в сознание и коснулось сердца, а сердце — истрадавшееся и измученное — было открыто для слов, призывающих всех труждающихся и обремененных к успокоению с возложением надежды на Господа. После богослужения все чувствовали себя легко и умиротворенно. Многие подходили ко мне и говорили: "Почему это, батюшка, все ныне за службой было понятно? Вероятно, вы как-нибудь особенно читали?" — Понятие же было оттого, что читались Псалтирь и Евангелие с Апостолом по-русски, на родном понятном языке. Я объяснил это. "Вот бы в церквах у нас всегда так читали: все бы мы ходили", — отвечали мне. Это неожиданное открытие явилось для меня, казалось мне тогда, наилучшим

подтверждением моего тогдашнего мнения о необходимости совершать богослужение на русском языке. На эту тему мы и поговорили тогда немало. Но недолго мне пришлось пребывать в этом приятном мнении...

Начатые однажды наши праздничные богослужения мы стали совершать каждый праздничный день. Ободренный успехом начатого дела, я выписал из дома кое-какие богослужебные книжки со славянским текстом всеношных чтений и Новый Завет на славянском языке. После 3–4 богослужений с русским чтением я провел богослужение на славянском языке с совершением его теми же чтецами и певцами. И смотрю: мои богомольцы в полном восторге и недоумевающе любопытствуют, отчего это нынешняя служба еще лучше и торжественнее прошла: все было по-прежнему понятно, но как-то иначе читалось — складнее, величественнее, — те же как будто слова, но иначе прочитанные. Произошло же только следующее: незнакомство со славянским языком делает непонятным и неинтересным наше богослужение; когда же я совершил в Дерябинке хотя бы читаемое по-русски, оно было ясно и правильно воспринято, стало знакомо содержание богослужения; а поэтому, когда снова по-славянски читали, то содержание было уже знакомо, а выражение в славянском языке делало чтение более гармоничным, звучным, величественным, и показалось, естественно, более торжественным. Славянский язык своею особой стройностью, звучностью и выпуклостью передает не только мысль ярче и определеннее, но музыкальнее звучит и придает богослужению особую прелесть, праздничность. Русский язык грубоват, жесток для слуха, дает много слов для выражения одной мысли; к тому же он своею обыденной постоянностью не способен дать отвлечение от будничного настроения, и сообщить, увеличить праздник. Праздник, чтобы ему быть действительно праздником, требует не только праздничной одежды для тела, но праздничного облачения и для мыслей и для настроения; тут тяжелые будни с их заботами, тяготами, горестями и бедами забываются, и человек уносится в сферу инобытия — прекрасного, радостного, мирного и спокойного. Особый стиль требовался для поэтических

произведений; особый язык требуется и для богослужебной поэзии — этой лирики души. Так тюремное богослужение с переменной славянского чтения на русское и обратно — русского на славянское — отклонило меня от прежних суждений о русском языке в нем: не переменять, а растолковывать и упрощать славянский язык.

Дерябинка и другое мне внушила: как неразумно и для церковной жизни опасно оставаться нам при старом стиле: он совершенно отучит городских, по крайней мере, жителей от праздников. Так, в тюрьме подходят ко мне и говорят: "Что же, батюшка, сегодня у нас всенощная будет?" Или: "Почему у нас сегодня всенощной нет?"... И обратно: приглашаю я своих богомольцев ко всенощной, а они недоумевающе смотрят на меня и спрашивают: "А какой же завтра праздник?" Живя по новому стилю и по нему отправляя свои дела и службу, забывают числа старого стиля, а с ним и праздники. Сначала небольшие праздники забудутся, а потом и большие, а с течением времени отвыкнут от храмового провозждения и вообще праздников.

Наряду с праздничным богослужением стали устраивать ежедневные утренние и вечерние общекамерные молитвы пред иконой. Обычно после проверки кто-либо из наших богомольцев громко, на всю камеру, выкрикивал: "На молитву собирайтесь", — и один за другим собиралось от 30 до сотни человек. Я читал несколько молитв, общеизвестные из них пелись всеми, читалось дневное Евангелие, из него я делал вывод — приложение к нашему положению, — и благословлял — чаще всего всех поодиночке или реже — общим благословением. Как во время ежедневных молитв, так и праздничных богослужений, как бы они долго не продолжались, в камере устанавливалась общая тишина; шумные разговоры, споры и тем более песни совершенно прекращались. Кто не участвовал в молитве — сидел или лежал на койках за чтением или за тихой беседой. Ни одного случая нарушения нашей молитвы чем-либо непристойным я не помню.

Начальство Дерябинки, конечно, знало о наших богослужениях, ибо знала о них вся тюрьма, и из некоторых камер приходили к нам под праздники и посторонние; но показывало оно вид неведения и незамечания. Надзиратели же, нас охраняющие, иногда даже предупреждали нас о неожиданном несвоевременном прибытии в камеру к нам кого-либо из начальства. Сторонкой же, через канцелярских работников или через надзирателей, начальство нас нередко попугивало за моления; меня грозило упечь в Петропавловку или отправить в Кронштадт, икону снять, а богомольцев, коих застанет за молитвой, посадить в карцер. Хотя эти угрозы всерьез не принимались, тем не менее меры предосторожности всегда предпринимались. Молитву и службу всегда совершали после переклички. Предварительно высматривали и осведомлялись у надзирателей, далеко ли ушло от нашей камеры начальство. Иногда даже ставили у входных дверей камеры свою собственную стражу. Пение за службой чаще всего было тихое, вполголоса. Было два или три момента, когда начальство наше почему-то особенно резко и настойчиво начинало угрожать нам за молитвы, ругая всячески меня. Некоторые из более трусливых, кои всегда оказывались из интеллигентного чиновничества и молодежи офицерской, даже на время прекращали являться на молитву; но молитва ни разу не прерывалась до самого последнего дня моего выхода из Дерябинки.

Молитва не только доставляла религиозное утешение и успокаивала тревожную душу, но и вносила разнообразие и даже развлечение в нашу монотонную жизнь. Каждый день все одно и то же: те же лица и те же разговоры. Та половина камеры, где я лежал, так устойчива была в своих жителях, что за все время моего пребывания в ней переменилось не более 10–20 человек, и то — к концу моего жительствова. Сравнительно частые перемены бывали в другой половине, куда я редко проникал. День проходил сравнительно спокойно, а начавшиеся длинные вечера тяготили и своим полумраком при редких лампах, затруднявшим чтение, и всякими слухами и ожиданиями, к вечеру обычно сгущавшимися, и тьмой неизвестности надвигавшейся ночи, когда из тюрьмы, хоть и редко, а все-таки брали и

неведомо куда отправляли. К октябрю было решили начать по вечерам беседы с докладами на определенные темы, но тут вышло строгое приказание не собираться кучками в одном месте.

Самым радостным в жизни всех нас были дни передач. Таких дней, помнится, было два в неделю. Накануне дня передач мы должны бывали собрать все отсылаемое обратно домой, крепко завязать, пришпилив или как-нибудь привязав и маленькую записочку с самым общим сообщением о своем житье-бытье, с перечнем посылаемого и с указанием желательного получить. Эту посылку нужно было отнести вверх, в другую комнату, где староста нашей камеры или от него уполномоченное лицо принимало наши посылки и ставило их в определенное, для каждой камеры собственное, место. Предполагался, а иногда и действительно происходил осмотр наших посылок надзирателями тюремными, а чаще всего самими же заключенными, на то от начальства доверенными. На другой день теми же лицами от наших родных принимались передачи и, по просмотре их — нет ли в них чего-либо недозволенного, особенно писем, избегающих цензуру, — передавались нам. Помнится, не особенно ревностно цензура относилась к просмотру как от нас отправляемых, так и нам передаваемых передач; письма без цензуры проходили довольно часто. Передачи мне не были изящны и изысканны, но обильны и сытны, и я мог делиться с неимущими — особенно из других камер, где были не в малом количестве привезенные из провинции. За последние недели две кто-то неизвестный, как потом я узнал — купец Языков, приказал присылать на мое имя большие корзины, штук по сотне в каждой, прекрасных сельдей. Я, разумеется, раздавал их по камере; однажды смог несколько из них отослать даже домой из тюрьмы.

Для некоторых была развлечением игра в карты на деньги. У нас в камере она мало наблюдалась; в соседней камере ее любили многие; туда ради нее ходили некоторые и из нашей камеры. Ею стал было увлекаться один из бывших в той камере батюшек — о. архимандрит Феодосий Алмазов. На него

обратили с этой стороны внимание некоторые из церковников и просили меня воздействовать на него, ибо де он производит большой соблазн для одних и служит мишенью издевательств для других. Я говорил с ним, и он действительно прекратил игру, "игру от скуки", как он говорил.

Был в нашей камере один молодой человек, по-видимому со средним образованием, преданный до фанатизма языку эсперанто. Он его пропагандировал с величайшей настойчивостью и удивительным долготерпением. С кем он ни говорил, он пропагандировал свой язык. Вошло в посмешище самое это эсперанто, да и он сам был предметом частых смешков и даже небольших издевательств. А он ничего этого не замечал и творил свое дело. Он добился даже разрешения на право сделать в нашей камере официальный доклад-беседу о эсперанто. Доклад превратился в веселое времяпрепровождение с шутками и остротами.

В начале октября был втиснут в нашу камеру Абрамов, известный прямишник с Литейного, до революции большой критик и желчно-раздражительный пробиратель всего нашего церковного уклада с точки зрения общесектантской. И в Дерябинке он не успокаивался и постоянно толковал со мной и с некоторыми церковниками о том, что и как и почему у нас дурно и что и как надо исправить и устроить. Редко он сидел на месте: все суетился, бегал от койки к койке, толковал и пропагандировал свое. С ним в наш церковный мирок было внесено беспокойство и раздражение против него... Бедный человек! Его большевики расстреляли. Вот уж совершенно напрасно: он был совершенно ни для кого не опасный болтун, просто беспокойный человек.

Из духовных лиц одновременно со мной сидели, кроме о. Феодосия Алмазова, с которым я почти совершенно не разговаривал, еще и о. Алексей Ливанский из Мариенбурга. Этот общительный и любезный собеседник, услужливый сотоварищ, большую услугу оказывал мне тем, что давал мне возможность приобщиться хотя изредка имевшимися у него запасными Дарами; исповедовали мы с ним один другого. Он

много рассказывал о своей жизни и работе в качестве плававшего на корабле военного священника. В камере и в тюрьме он держал себя в стороне, незаметно: выявление им себя, как священника, ему казалось опасным, почему и меня он нередко останавливал и предупреждал. В Дерябинку он попал несколько раньше моего; вышли из нее мы с ним в один вечер.

Был еще священник из с. Ополье Ямбургского уезда о. Гавриил Семеновский. Он мыкался по тюрьмам, кажется, с июня месяца; много потерпел и много пострадал. Посажен был что-то в связи с утайкой им будто бы чего-то из своего хозяйственного обихода во время реквизиции. Он держал себя в тюрьме как светский человек, и его, в штатской одежде, редко кто знал, как священника. Он был тоже в другой камере, с очень серым и неинтеллигентным населением, и нередко заходил ко мне побеседовать. Он чаще всего рассказывал о своем житье-бытье в деревне, о причинах и подробностях ареста, о мраке и тяжести Ямбургской тюрьмы. Он был всегда желчен, всем недоволен, хотя и уверенно говорил о своем скором выходе из тюрьмы. В свою деревню ехать служить он не собирался. Пробыл в тюрьме гораздо более моего.

Быстро прошел нашу Дерябинку тогда диакон церкви экспедиции, а теперь священник в Полюстрове о. Николай Перов.

Он очень сильно сокрушался в тюрьме, чего-то опасался, нервничал и плакался. Как будто у него было что-то беспокойно или неблагополучно в семье. Пробыл у нас он дней 5-7 и вышел на волю, передав мне в наследство большую краюху хлеба.

Вспоминая теперь все пережитое и перечувствованное в Дерябинке, после того, как я побывал почти во всех других тюрьмах, я должен сказать, это действительно был лагерь, или даже богадельня. Тяжесть сидения зависела не от условий Дерябинки, а от времени с его запугиваниями, угрозами, с его страшным красным террором. Интеллигентное общество, умные, деловые разговоры, доброжелательные сокамерники, сравнительно большая свобода движения в

пределах тюрьмы; возможность, по крайней мере для меня и некоторых других, часто проходить и ходить по круглому двору и постоянно без всяких стеснений стоять у открытого окна и любоваться красивым видом безбрежного моря — все это делало жизнь в Дерябинке недурною. Я имел даже возможность написать и переслать два обширных письма домой и два — владыке-митрополиту Вениамину. А некоторые устраивали даже свидания на расстоянии с родными и знакомыми. Одной стороной Дерябинка выходила на безлюдный, бездомный переулок с длинным забором; по нему никто не ходил и не стояла никакая стража. Это было примечено и дано было знать родным, что они, проходя, как бы прогуливаясь по этому проулочку, могут смотреть в окна этой стороны тюрьмы, где в это время, в определенные часы, будут у окна стоять заключенные. И сравнительно долгое время дерябинцы платками и разными жестами переговаривались с родными. Понятным и дорогим было уже одно то, что друг друга могли видеть и знать, что живы и здоровы и никуда не отвезены. В то время эти вести были весьма ценны. Часто нашим родным за верное возвещали, что того-то или столько-то тогда-то увезли или увезут из Дерябинки — и в самые неприятные места. Так, однажды к моей жене явилась некая негодница в одеянии сестры милосердия и с большим сочувствием к ее горю передала ей, что я в эти дни буду увезен в Кронштадт; что меня в тюрьме всего обокрали и мне не в чем выбраться; что нужны деньги и теплые вещи для меня; что эти вещи и деньги она может передать, ибо ей всюду и все знакомы; но если ей дадут около 50 рублей, то она похлопочет и меня в Кронштадт не повезут. Конечно, семья была страшно перепугана, начала бегать искать денег, ибо теплых вещей никаких у нее моих не было, и, к счастью, никаких денег она не могла найти и отдала этой негоднице только, кажется, несколько вещей из моего белья... Неудивительно, что семья моя с нетерпением также ждала дня передач, когда самым фактом принятия от нее посылки и получения ею обратной от меня с маленькой хотя бы записочкой она удостоверилась о моем наличии в Дерябинке и хотя бы о внешнем благополучии.

С половины октября пошли по тюрьме слухи, что ввиду больших арестов в городе Дерябинка предназначена к разгрузке и в первую очередь будут освобождать давних ее обывателей. И действительно, некоторых стали выпускать. Даже и самое маленькое основание к надежде бодрит и веселит, настроение у нас у всех повысилось. У нас же — духовных — появилась еще более прочная надежда. Стало известным, что сидевших в Петропавловке священников освободили. Ну, думали, если из этого крошечного ада можно выйти на свет Божий, то не оставят и нас в Дерябинке еще на долгую мариновку. А тут появился, доселе не знаю откуда и как проникший, слух, будто бы только от митрополита Вениамина идущее известие, что для допроса и освобождения нас едет из Москвы какое-то особое лицо, специально для разбора и ликвидации наших дел командированное. И вот какое-то лицо действительно явилось однажды вечером в тюрьме, и наряду с другими немногими вызваны были к нему для допроса и мы: я, Ливанский и Семеновский. Я был вызван к нему в комнату. Это был еще сравнительно молодой человек, с двойной фамилией, мною забытой; он в конце допроса дал мне свою визитную карточку, долго мною хранимую, но потом уничтоженную, как бы во время неоднократных у меня впоследствии обысков она не попала кому-нибудь в глаза и не причинила ему больших неприятностей, — следователь по особо важным делам и в частности о нас, духовных, из Москвы.

После некоторых им предложенных мне вопросов — самых общих и формальных — он спросил меня: знаком ли я со священником о. Л. Богоявленским и о. Философом Орнатским. Любопытство следователя о знакомстве с о. Орнатским мне и тогда и теперь отчасти понятно: Орнатский был расстрелян как почтенный за контрреволюционера и то или иное отношение мое к нему могло рисовать и мою политическую физиономию. Но для чего потребовалось ему знать о моем знакомстве с Богоявленским, я и доселе понять не могу. Об Орнатском я ответил, что не раз имел случай быть вместе с ним в разных собраниях духовенства, но более близкого знакомства не вел с ним; что он за человек, не знаю; только одно могу сказать: что почти по всем

церковно-общественным вопросам на собраниях я с ним расходился. Богоявленского знаю лучше, как соратника по Епархиальному Совету; о нем могу сказать, что он человек очень аккуратный, весьма далекий от всякой политики. — "А не хитрый ли он человек?" — На этот вопрос следователя я ответил, что он человек умный и не без хитрости. Больше, кажется, меня ни о чем не спрашивали. Когда же я на его вопрос — сколько времени я сижу в тюрьме — ответил, что почти два месяца, то услышал от него такое утешение: "А вы не обижайтесь: в такое время трудно бывает разобрать, кто прав, кто виноват; страдают и невинные". Такое признание тогда меня умилило: вот, думал я, какие еще есть добрые и отзывчивые люди среди большевиков. Припомнил я, что и на бывших прежде допросах русские допрашивавшие относились ко мне хорошо и были, казалось, готовы освободить меня, и если все-таки отправляли далее в тюрьмы, то из-за страха самих их перед ассистентами при них — евреями, так грозно и бранчиво меня, как вообще священника, аттестовавшими... В заключение следователь сказал мне, что Богоявленский уже несколько дней как на свободе, что я тоже, вероятно, буду освобожден, и что я должен быть благодарным митрополиту Вениамину. Следователь в комнате был не один, и последние его слова были произнесены полупрошептом.

Как потом я узнал, митрополит Вениамин очень сильно поспособствовал нашему и в частности моему освобождению. У нас в Питере был священником о. Михаил Владимирович Галкин, из молодых да ранний, большой карьерист и для своих своекорыстных целей не брезгающий средствами. Всегда и повсюду себя рекламируя как самого ревностного пастыря, искренне и самоотверженно верующего, он с первых же дней власти большевиков как-то незаметно перекочевал к ним и занял у них большое ответственное положение в комиссариате Юстиции, в отделе, ведающем делами нашей православной Церкви. Живя в Москве, он нередко наезжал в Питер. Он знал все наши арестантские положения и мог ухудшать их, в силах был и улучшить их. У всего духовенства он вызывал чувство брезгливости. К нему-то, побеждая в себе все тяжелое и неприятное, с

опасностью подвергнуться нареканиям и укорам от духовенства и мирян, и обратился в этот раз, как и впоследствии потом не однажды делал, митр. Вениамин, с просьбой ходатайствовать за нас, сидящих в тюрьмах. Митр. Вениамин лично ездил к Галкину на квартиру, и результатом его унижения ради нас и было наше освобождение. Вечная молитвенная ему память!..

Освобожден я был вместе с Ливанским дня через 3–4 после допроса. Известие о сем пришло утром; частным образом немедленно было из канцелярии сообщено нам, а вечером мы ушли из тюрьмы... Когда утром стало известным о моем выходе из тюрьмы, то некоторые церковники обратились ко мне с просьбой–поручением: как только станет возможным, собрать всех, сидевших в Дерябинке, в Казанском соборе и отслужить Господу благодарственный молебен за спасение жизни и благополучный выход из тюрьмы, и панихиду о убитых и умерших. Не подозревали мы в то время, что некоторым из нас не раз еще придется сидеть в тюрьмах, много удастся приобрести новых друзей и гораздо более тяжелое, ужасное и для жизни опасное претерпеть и перенести...

Не могу не вспомнить, что прощание мое с тюрьмой было очень сердечным. Меня благодарили за пастырское поведение мое в Дерябинке и сердечное отношение ко всем; мне, могу сказать, не завидовали, только сожалели, что я покидаю их, у которых больше не остается священника и все доброе, заведенное при мне, должно будет прекратиться. Так, действительно, и было: молитвы расстроились, богослужение некому было совершать...

При прощании ко мне подошел некто из сидящих в Дерябинке. С ним доселе я ни разу не говорил, но мне было известно о нем, как человеке неверующем, насмешливо и дерзко относящемся к религии и все время подшучивавшем над нашими молитвами. Он подошел ко мне, подал руку и сказал (слова его я запомнил хорошо): "Вы мне показали пример истинного священника; теперь я по крайней мере не буду осуждать и бранить огульно все духовенство. Вы многое сделали и для меня. Спасибо!" Сказал и, быстро отвернувшись, отошел от меня. Эти его слова были лучшей для меня радостью и благодарностью.

Часов в 9–10 вечера 13/26 октября я был уже дома. Приход мой домой не был большой неожиданностью. Я смог из Дерябинки уведомить домашних о возможно скором освобождении и об обещании следователя. На лестнице своего дома я встретил Ан. Конст. Живягину, уходящую от нас; она, конечно, вернулась опять к нам. Скоро стало известным по всему Институту о моем возвращении домой, и ко мне быстро пришел Вас. Ант. Косяков с расспросами о моем житье–бытье в тюрьме и о здоровье теперь. Вечная ему благодарность от меня и от всей моей семьи. Только благодаря ему в августовские дни я остался живым, когда всех взятых в то время священников — свыше 10 человек — расстреляли или утопили. Он своим ходатайством перед Луначарским и защитой меня перед ним подвинул того потребовать моего освобождения еще с 10–й Роты. И если я не был освобожден тогда, то только сам я виноват в этом. "Как его, т. е. меня, можно освободить, коли он все время на допросе говорил о вере..." — сказали В. Ан. Косякову после моего допроса на 10–й Роте; а он здесь стоял и ждал меня увидеть свободным. Бог с ними, что не освободили; только бы не казнили. А этим я обязан В. А. Косякову. Вечная ему память!..

Второй арест. Выборгская бывшая военная тюрьма

Не пробыл я дома на свободе и недели, как опять был арестован. Было это числа 20–21 октября (по ст. ст.), часов в 11–11³⁰, — наши только что собрались ложиться спать, как явился смотритель Института в сопровождении человек пяти полустражи–полухулиганов, одним из коих предъявлен был мне ордер на мой арест без всякого предварительного обыска в квартире. Не только удивлен, но я был ужасно поражен такой неожиданностью. Я все еще пребывал в наивном мнении, что раз я отбыл свою тюремную повинность, то уже в дальнейшем свободен от нее, — по крайней мере на ближайший год. Отсюда неволью вырвался у меня возглас при прочтении предъявленного мне ордера: "Да я только что вышел из тюрьмы! За что же опять–то меня арестовывать?" На что получил вполне резонный ответ: "Нам

это неизвестно. Одевайтесь, — поедем!.. Наученный тюрьмой, я собрал спальное белье, взял что-то из хлебного и поехал.

Невдалеке от дома посадили меня в автомобиль; рядом со мной сел какой-то страж, и поехали. Поехали сначала на какую-то Роту; страж мой, что-то сказав другому, сидевшему вместе с шофером, ушел в какой-то дом, где пробыл минут 15–20, и снова в одиночестве пришел и поехали. Ехали недолго; остановились почти на углу Загородного и Забалканского. Опять мой страж ушел. Сидевший с шофером тоже отошел от своего соседа. Отсутствие продолжалось минут 30–40. Шофер, вероятно от скуки, попытался вступить в разговор: "И за что это вас арестовали?" — "Не знаю", — ответил я. — "Ну и люди! Сколько вот уже народу поарестовывали..." Вернувшийся страж привел с собой еще кого-то, интеллигента лет 35–40, коего посадили вместе со мной. Ну, подумал, значит я не один. Что еще кого-нибудь будем захватывать, или поедем, куда надлежит...

Больше никуда не заезжали. Ехали долго. Мы все трое, сидевшие вместе, сидели молча, не разговаривая. Проехали Неву, еще какую-то речонку; поехали какими-то узкими переулками или с совершенно немощеными улицами, или с настолько разбитой мостовой, что качало нас в машине из стороны в сторону и пришлось буквально ползти. Наконец, остановились. Ввели нас в помещение, оказавшееся, как впоследствии я узнал, одним из полицейских участков Выборгской части. Устройство такое же и здесь, что и на 3-й Роте, где я сидел в августе, только еще более тесное: с такими же решеткой и кроватью, с очень узким расстоянием между первой и последней. Здесь находилось уже человека 3–4, мне все незнакомые и меня не знавшие. Но мой спутник оказался знакомым с одним из бывших уже тут — пожилым господином, тоже интеллигентом. Между ними начался разговор, который не раз возобновлялся и в течение следующего дня, который нам пришлось провести вместе... Заметно, интеллигенты эти были из людей весьма осторожных и даже запуганных; разговор они старались вести как можно тише, часто озираясь по сторонам — не подслушивает ли их кто... Но и мое ухо, привезенного неведомо куда и посаженного

неведомо с кем, было весьма чутко напряжено и невольно ловило слова их. Уловить же я мог немногое. Спутник мой оказался молодым ученым ботаником по фамилии Буш; собеседник его — тоже ученым и тоже, кажется, насколько помню, ботаником из Ботанического сада. Причину своего ареста они не могли понять и установить. То ставили ее в связь с красным террором по поводу убийства Урицкого, то в зависимость от наступающих дней большевистского праздника 25 октября. Одно для них, а потом и для меня, ясно было: это борьба большевиков против интеллигенции.

Ночь прошла без сна; было холодно, голодно и томила неизвестность положения и причин ареста. Общего разговора не было. Каждый думал свою думу. Никто из внешних, т. е. ни от начальства, ни от поставленной у нас стражи, нас не беспокоил... Со середины дня принесли и передали передачи к кому-то из сокамерников. Я получить таковую не надеялся. Я не мог и предположить, чтобы мои семейные могли узнать место моего заключения: так я далеко и таинственно от них был увезен. Эта неизвестность моего заключения для моих родных сильно меня тяготила; их беспокойство, их искания, их хлопоты живо представлялись мне. Но русский человек, даже и в такие страшные, кровавые дни, какие были в 1918–1919 годах, когда жидовствующие принуждали его быть зверем, не мог не обнаружить исконного своего качества: доброты и сострадательности. Как я узнал потом, кто-то из арестовывавших меня не мог не сдаться на мольбы моих семейных и сказал им адрес, куда меня повезут. Отсюда-то часам к 2–3 дня, совершенно неожиданно для меня, — передача пищи мне от семьи. Радостно было не то, что получил пищу, а то, что мое место известно семье, а если его не скрывают, значит и положение мое не особенно безнадежно.

Меньше суток я пробыл в этом участке. Часов в 8–9 вечера нас ввели всех в зал. Тут скопилось уже человек 30–40 подобных нам арестованных, или только что привезенных, или сидевших в других помещениях. Поставили нас в ряды. Явившееся начальство — высокий, с грубыми ухватками и дикими, дерзкими выкриками дяленька-здоровеннейший дитинушка — обругал по-русски оказавшихся среди нас

человек пять женщин; крикнул на меня словами: "и этот тоже сюда же лезет" (слова эти мне стали понятными только потом, когда узнал причину ареста всех, и в том числе меня) и преподал наставления окружившим нас солдатам, как нас вести и как по дороге с нами справляться. Не забуду таких его слов: "чуть что — не жалеите эту сволочь: бей ее"... А сволочь эта была все исключительно интеллигенция.

Повели нас по грязи, под дождем, какими-то переулками. При таких условиях бежать и скрыться было нетрудно; к тому же было очень темно. Но мы все были так послушно воспитаны, а теперь к тому же и запуганы, что думали не о побеге, а как бы поскорее добраться до покойного и теплого помещения...

Привели нас в Выборгскую бывшую военную тюрьму. Здесь в канцелярии приняли нас недоумевающе, но приветливо. Недоумевали потому, что тюрьма была еще совершенно не подготовлена к нашему приему; в ней недавно была только что произведена какая-то большая чистка помещения после каких-то грязных обитателей. Приветливость канцелярии действовала на нас ободряюще, но смущало наименование ее "военной", соответствовавшее содержанию в ней военных преступников на военном положении. Значит, — невольно рассуждали привезенные сюда, по канцелярии рассыпавшиеся и оказавшиеся многие между собой знакомыми, — нас будут здесь содержать строго и считают нас за важных особ. Это заключение наводило уныние на большинство. Кроме нас, пришедших из одного со мной участка, сюда одновременно или почти одновременно с нами были приведены и из других участков, и тоже почти исключительно интеллигенты. Тут-то и стала выясняться истинная причина ареста громадного большинства из нас.

Арестованными и сюда приведенными оказались лица, значившиеся в списках разных партий: кадетов, трудовой партии, социал-демократов и др. Большевики в ожидании своего праздника пришли почему-то сами в состояние испуга. Убоялись они переворота или возмущения на празднике и постарались от своих партийных врагов избавиться хотя бы на время праздников, посадив их по тюрьмам. То же самое они проделали потом и в 1919 г. и в те же самые дни. Я не

принадлежал никогда ни к какой партии, но числился в списках кадетов в качестве кандидата в районную Думу.

После Февральской революции были организованы районные городские Думы. Начались выборы в них. Я стоял далеко от этого дела. Но вот однажды в воскресенье, после обедни, — это было приблизительно в марте 1918 г., — я получил письмо от проф. университета А. П. Нечаева с просьбой дать свое согласие на выставление меня в списках кандидатов в районную Думу. Письмо принесли какие-то две дамы, коих я доселе не знал. Они стали меня сильно уговаривать дать свое согласие, приводя и чисто церковного значения доводы. Склонили они меня уверением, что их список кандидатов пойдет не под флагом кадетских партий, но как список интеллигентных лиц. Поверив такой беспартийности этого списка, я дал свое согласие. В действительности оказалось не так. Моя фамилия была помещена в списке от имени кадетской партии, и я, таким образом, неожиданно и нежелательно для себя соединил себя с кадетами. Вместе с ними прошел сначала в кандидаты, а потом и члены Нарвской районной Думы; однажды даже и заседал в ней, ничего не поняв в рассуждениях об устройстве какой-то сапожной мастерской; вместе с кадетами должен был и посидеть дважды в тюрьме. В таком же положении оказался и протоиерей Василий Пигулевский, с коим мы вместе попали в Выборгскую тюрьму.

Просидел я в Выборгской тюрьме 8 дней — самые большевистские праздники. Это сидение походило больше на тюрьму, чем в Дерябинке; но и тут было не тяжело, особенно в первые дня 3-4. Еще во время пребывания нашего в канцелярии обозначилось, что преступники мы, надо думать, не особенно уже большие, что привод нас сюда есть только изоляция на некоторое непродолжительное время. Уже из канцелярии начали некоторых — человек до пяти — освобождать по каким-то телефонным приказам. Разместили нас, почти всех интеллигентов кадетской партии, во втором этаже, по двое в камере, очень просторной, без запора на день, со свободным (конечно сравнительно только) хождением из одной камеры в другую. Многие знакомые между собою и

до тюрьмы здесь приобрели новых знакомых. Образовались общие беседы, пошли интересные разговоры. Я, как священник, опять, как и в Дерябинке, стал предметом общего внимания (о. Пигулевский, как ходивший в светском костюме, естественно, не входил в поле общего внимания), и к расспросам — кто я, како мыслю, стали невольно присоединяться потом вопросы чисто церковные и религиозные; появились религиозные разговоры и беседы, и меня попросили делать доклады. У меня из дома было захвачено маленькое Евангелие, и я стал читать и объяснять Нагорную проповедь Спасителя. Мои беседы привлекали большое количество слушателей — исключительно интеллигентов. Выбиралась для них большая из камер, и она вся бывала переполнена. За моими беседами шли вопросы и общие на них ответы. Нередко говорилось о том, почему русский народ оказался таким, по-видимому, кощунственно-богохульным, почему русское православное духовенство с таким незначительным было влиянием, отчего оно теперь так гонится и презирается и т. п. Никогда не забуду слов Изгоева, сотрудника из газеты "Речь": "Ваши, т. е. православного духовенства, — страдания необходимы, чтобы смыть грех исторического духовенства и спасти Россию. Страданиями Христа спасено человечество, — вашими омоется нечестие и купится спасение русского народа". Не помню, чтобы кто-нибудь возражал против этого положения Изгоева... В этих беседах окончательно выяснилась и причина нашего общего тюремного заключения.

При этих беседах, в таком добром интеллигентном обществе, легко чувствовалась и переживалась тюрьма. Но недолго пришлось вести их. На них кто-то обратил внимание; начальству тюрьмы они были поставлены на вид, и нас со второго этажа перевели в первый, рассадили поодиночке и камеры постоянно стали держать на запоре.

В одиночестве было тяжело; невольно вспоминалась Дерябинка. Впрочем, начальство тюрьмы, по-видимому, старалось нам сделать возможно лучшее. Каждое утро нас целой большой группой одних интеллигентов посылали то в кухню рубить капусту, чистить картошку или на двор рубить дрова. Особенно приятно и желательно было второе.

Очутившись снова вместе, мы опять начинали наши беседы, споры; гадали и предполагали о всевозможном: о ближайшем — нашем положении в тюрьме и о выходе из нее, и о дальнейшем — о судьбах России и русского народа. Часа 2–3 утренних, проведенных так в общении, скрашивали скуку остального целого дня. Делать было нечего, читать тоже нечего было. Не помню, откуда-то я достал одну книжечку, перевод с немецкого.

В этом одиночестве врезалась мне фигура и только одна фраза, сказанная мне неким гражданином, который назвал себя Иваном Ивановичем Байковым (кажется, так), социал-революционером, несколько лет бывшим в ссылке в Сибири за свою партийность. Подошел он к окошечку в двери моей камеры (окошечко не закрывалось и не запиралось) и буквально сказал мне следующее: "Зачем вас-то они (т. е. большевики) тревожат? Что им нужно от религии? Я вот неверующий, но веру других мы (т. е. социал-революционеры) никогда не тронем. Я от царя не раз сидел в тюрьмах, а теперь революция — снова меня посадили в тюрьму. Вот они какие революционеры, эти большевики-то..."

Больше из своего одиночества я ничего не помню. Ходил из угла в угол в очень узкой камере, или лежал на койке. Думал, когда-то меня отпустят и как это я необдуманно поступил, связав себя с партией кадетов... Большевикский праздник 25 октября прошел в тюрьме тихо и спокойно, — без всяких торжеств. Только вместо маленькой порции черного хлеба выдали нам по сайке из сравнительно белой муки.

С сотрясенной нервной системой после Дерябинской тюрьмы, взволнованный вторичным арестом и суточным сидением в какой-то незнакомой клетке на Выборгской стороне, я болезненно тяжело чувствовал себя в одиночестве Военной тюрьмы, и не раз глаза наполнялись слезами. И когда на 8-й день ареста надзиратель, подойдя к моей двери, объявил мне, что я освобожден, — я расплакался, и добрый надзиратель стал меня утешать. Это был первый плач в тюрьме! Второй раз я заплакал, когда 1/14 августа 1922 г. объявили мне на Шпалерке, что расстрел заменен

5-ю годами. В остальные разы — в тюрьмах и при обысках — нервы всюду и всегда мне не изменяли.

Это освобождение, собственно сравнительно быстрое освобождение (ибо все были освобождены, только после меня) произошло опять благодаря хлопотам дорогого Вас. Ант. Косякова. Он, на другой же день после моего ареста, возбудил ходатайство об освобождении меня и еще кого-то из профессоров Института перед Луначарским. Последний потребовал нашего освобождения; тех освободили, меня оставили. Как потом передавали мне, Луначарского озлобило то, что его ходатайство с его речительством за нас не в полной мере было удовлетворено. Он это почел за недоверие к нему — народному комиссару, и он поставил вопрос о доверии к нему. И только тогда, скоро после праздника, я был освобожден.

Обыски 1919—1920 гг.

В течение этих лет я и моя квартира подвергались двум или трем обыскам. Они производились в порядке общего сыска то оружия у граждан, то золотых, серебряных и др. ценных предметов. Меня и семейных они мало беспокоили, ибо ничего из разыскиваемого у меня не было. Тем не менее они причиняли мне каждый раз неприятности различные... Так, во время одного обыска, в ящике конторки, где хранились у меня различные железные хозяйственные вещи и орудия, нашли какую-то небольшую принадлежность от ружейного снаряда, занесенную кем-то из детей и негодную к употреблению. Обыскивающий привязался к ней, стал грозно говорить и укорять меня за держание и хранение у себя таких опасных огнестрельных вещей; отобрал ее у меня и составил даже целый акт насчет этой находки.

В другой раз обыскивающий, роясь среди писем ко мне и прочитывая некоторые из них, наткнулся на одно письмо от девятидесятых годов, где какой-то мой корреспондент неодобрительно отозвался о правительстве того времени. "Что это у вас за письмо? Ишь как дурно пишут в нем о начальстве! За это письмо — знаете что?" Удивленный, я замечаю, что письмо очень давнее и говорится в нем о правительстве давно

минувших дней. Тогда обыскивающий, простой рабочий, по-видимому смилостивился надо мной и дал мне буквально такой совет: "Вот что, отец, уничтожь ты эти письма, а то попадутся они в другой раз кому-нибудь на глаза, увидят брань на начальство и посадят тебя в тюрьму. Доказывай ты там, что письмо относится к давним временам; пока ты это докажешь, вдосталь насидишься в тюрьме..." Подумал-подумал я над этим советом рабочего и решил поступить согласно с ним. Уничтожил все письма ко мне, кои я хранил в течение 20 лет, кои были от разных лиц в церковной иерархии высоких, как например, Сербский митрополит Михаил, наш митрополит Антоний и др., содержали в себе весьма интересные и важные сообщения и суждения о церковно-общественных делах и по вопросам миссионерским, церковной реформы и др. Много, очень много ценного я уничтожил, сожигая эту свою громадную переписку. Как мне теперь ее жаль!..

В третий раз разыскивали и отбирали ценные вещи. У меня из таковых была только дюжина столовых ложек. И решили мы их спрятать. Положили их на чердаке в детскую коляску, забросав бумагой и ненужными книгами. Обыскивающие проникли и на чердак и там разыскали нашу похоронку, принесли ложки к нам в комнату и с резким выговором прочитали правоучение на тему о том, что Советская власть совсем не хочет лишать необходимых для граждан вещей, отбирает лишь предметы роскоши, и что нехорошо так дурно думать и относиться к ней.

Все эти обыски происходили по ночам, будили от сна, подымали с постели: заставляли открывать все ящики и шкафы, но, впрочем, ни разу не трогали постелей и никого из семьи не обыскивали. Чаше об этих обысках знали заранее, как происходящих где-то около нас; известны были и предметы сыска. Каждый раз в Институте обыски начинались с других квартир и помещений и я предупреждался быть готовым к принятию этих гостей. Хотя и был известен общегражданский характер обысков и заранее указывалось, что именно будет разыскиваться, но всякий раз они приносили волнения и нервные раздражения. Недоверие к власти, ее произвол и беззакония

внушали только боязнь и ожидание всяких неожиданностей и даже невозможностей.

Третий арест. Кресты.

Это было в августе — числа 24–26 (по ст. ст.) 1919 г. Опять у большевиков были какие-то страхи, и они собирали людей различных партий. Забран был и я, однажды уже отнесенный ими к кадетам. Подробности самого ареста и сидения в Крестах у меня не сохранились в памяти. Арестовали ночью — в 1 ч., — после небольшого, безрезультатного обыска, к тому же внешне — формально и поверхностно произведенного.

Привезли в автомобиле на Гороховую. Здесь в какой-то канцелярии долго я сидел, чего-то ожидая, совместно с двумя евреями, арестованными, как потом я от них узнал, по подозрению в какой-то спекуляции. Потом отправили нас в другое помещение, где происходил обыск. Обыскивал пожилой солдат. Сначала обыскивал евреев, обыскивал их весьма тщательно, можно сказать с пристрастием: выворачивал все карманы, снимал обувь; отобрал у них ножи, часы, большой кусок хлеба. Смотря на всю эту процедуру, и я развязал свой маленький узелок с небольшим кусочком хлеба и готовился его уже отдать. Но обыска у меня, к моему радостному удивлению, совершенно не произвели. У меня только спросили: нет ли у меня ножа или серебряных вещей; и после моего ответа, что кроме вот этого узелка с куском хлеба у меня ничего нет, меня оставили в покое, и мало этого: вдруг солдат передает мне хлеб, отобранный у евреев. Я в смущении отказываюсь его взять и слышу: "Возьми, отец; в тюрьме все пригодится; а эти люди богатые, сытые..." И с добродушной улыбкой отдает его мне.

После этого нас опять всех трех отправили в камеру на Гороховой № 65, где я год тому назад уже был. В этой камере все было по-старому: тесно, грязно, вонюче; обитатели ее — больше из простого народа. Пробыл я здесь одни сутки. Опять позировал перед фотографом. Таким образом, в альбоме преступных типов на Гороховой имеется два моих снимка — 1918 и 1919 гг. К вечеру с большой партией отправили меня в Кресты.

Кресты — это самая настоящая тюрьма, и отношение к арестованным самое строгое, внушительное. Посадили меня в 4-м этаже вдвоем с одним рабочим из партии трудовиков: рядом и напротив в камерах рассадили других партийных людей. Здесь оказались некоторые знакомые по Выборгской тюрьме, но видиться с ними пришлось только однажды в сутки — по утрам. В камерах не было в то время ни умывальника, ни "параши"; поэтому по утрам отпирали камеры минут на 30–50; все бежали в общую уборную, — кстати сказать, очень грязную и вонючую, расположенную как раз напротив моей камеры. В эти-то минуты происходили краткие разговоры, обмен новостями, сплетнями, книгами, газетами; здесь начинались новые знакомства. И опять в моей памяти не сохранились фамилии моих сотоварищей по тюрьме. Просидел я в Крестах 18 дней. Это были тяжелые дни. Со своим сокамерником разговоров общих идейных не могло быть. Человек он был добрый, простой и сердечный, но жил своей собственной жизнью, в области воспоминаний о службе и о семье; читать было нечего; у меня была только одна Библия. Помнится, других книг я не хотел иметь, желая в одиночестве лучше изучить Библию. Из нее я действительно очень много прочитал. Но это было все-таки очень однообразное чтение. Утренние беседы с запуганными людьми-интеллигентами нагоняли только тоску и уныние. Август–сентябрь 1919 г. были временем красного террора. Поэтому разговоры вертелись около известий об арестах, расстрелах, ссылках, и все это преподносилось как не только возможное, но почти как и неизбежное и для нас всех. А тут в середине моего сидения в Крестах в газетах было помещено известие о каком-то заговоре и приведен список расстрелянных; в нем оказались главным образом кадеты. Какие мрачные мысли после этого поползли в голову!..

Доселе не знаю, кого благодарить на этот раз, что сидение мое в Крестах было непродолжительное. Другие из кадетов сидели там долго и после меня, и возили их даже зачем-то в Москву. Меня вызвали вниз к следователю. Этот предложил мне ряд вопросов, интересуясь главным образом моим отношением к партии кадетов. Я выяснил ему всю настоящую правду о том, как я попал в кадетский список. Дня через

два после этого я был освобожден. Это было 13 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня. Из тюрьмы я успел заехать домой и попасть к началу всенощной в Троицкий собор, где я в то время, с конца июля, был настоятелем.

Кресты — самая мрачная и суровая тюрьма. И воспоминания у меня от них весьма тяжелые. Внешне бедная там, жизнь была сосредоточена на одних внутренних переживаниях и страхах.

Четвертый арест — в Кронштадте.

В мае или начале июня 1920 г. я сопровождал митрополита Вениамина в Кронштадт на освящение придела в Николаевском морском соборе. У нас были пропуска туда и разрешение на пребывание там в течение двух или трех дней. Это право было, конечно, предъявлено местным властям. Но они с самого первого дня въезда нашего стали придирается ко всему, относящемуся к нам. Так, в первую же ночь мы были разбужены каким-то стуком в дверь, громкими разговорами и т. п. Но хозяин квартиры, о. протоиерей Виктор Васильевич Плотников (потом епископ Венедикт), не тревожил ни владыку митрополита, ни меня. Наутро узнали, что приходили посланцы от властей осведомиться о нашем праве на пребывание и о наших видах на жительство, т. е. проверить, что мы за личности. Как будто бы днем этого нельзя им было сделать! Начало не внушало ничего доброго: приходилось быть постоянно на страже. Поэтому, когда были приглашены на обед к настоятелю собора о. П. И. Виноградову, то обусловили, чтобы там кроме нас было не более двух-трех посторонних лиц.

Владыка Вениамин был принят в Кронштадте весьма любезно. Его всюду приглашали служить, и разрешенного времени на пребывание в Кронштадте оказалось мало. Тогда кто-то из хозяев, нас пригласивших, исходатайствовал нам еще один или два дня пребывания в городе. И мы спокойно остались, но за это и заплатились.

В день отъезда из Кронштадта мы обедали у церковного старосты одной из церквей города. Были все в самом

спокойном и мирном настроении. Вдруг приходит какой-то служащий откуда-то и предъявляет требование, чтобы мы немедленно явились в местную ЧЕКУ. Зачем? Почему? Неизвестно. Кто-то из хозяев решил отправиться в ЧЕКУ, чтобы лучше все разузнать и разъяснить, как думалось, какое-то недоразумение. Ушел и пришел с известием, что нас решили арестовать и задержать в Кронштадте за якобы незаконное, без всякого разрешения, удлинение времени нашего пребывания в Кронштадте. Что же это такое? Оплошность с нерадивостью каких-то одних властей, не предъявивших данного нам разрешения другим властям? Или сознательное издевательство над митрополитом, а вместе с ним и над нами, в отместку за всенародно-любовный прием ему в городе?

Быстро закончивши обед, пошли по требованию. Помещение приемной, где нас оставил сопровождающий, было грязно, неуютно. Никто с нами не говорил, ни о чем не спрашивали. Сидим — ждем; времени проходит более часу; близится час отхода парохода, с которым мы должны были выехать, а нас все оставляют в недоумении. Наконец, к нам подходит какой-то гражданин неопределенного вида — из "типов" — и объявляет, что мы поедем сейчас вместе с ним до Петрограда и что ни о билетах на проезд, ни о местах на пароходе и на поезде нам не следует беспокоиться. "Тип" этот держит себя с нами любезно и предупредительно, но сдержанно и начальственно. Мы начинаем понимать наше настоящее положение арестованных; остается лишь неизвестным, куда и для чего нас везут. Как впоследствии узнали, нас хотели было арестовать и оставить в тюрьме в Кронштадте; но из переговоров с Питерской ЧЕКой выяснилось, что нас требуют на Гороховую.

До парохода нас довезли на извозчиках: на пароходе, потом на вокзале и в поезде "тип" услужливо делал все необходимое для нашего транзита, но всегда держал себя как-то умело вдали от нас, не показывая вида, что он наш охранитель и страж.

Николай ТРОНСКИЙ (Москва)

О новомученике священнике Николае Троицком

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ !

С давних времен в Православной Церкви существует обычай, когда начинается молитвенное почитание еще не прославленных Церковью святых праведников. Такое почитание было установлено на Поместном Соборе Русской Православной Церкви, последнем свободном соборе, 1917–1918 гг. В разгар гонений на Церковь, по предложению патриарха Тихона, было установлено молитвенное поминовение всех усопших в нынешнюю лютую годину гонений исповедников и новомучеников. Днем такого поминовения стал день мученической смерти митрополита Киевского Владимира, 25 января, или следующий воскресный день. Верная духу Поместного Собора 1917–18 гг., Русская Зарубежная Церковь причислила к лику святых не только новомучеников, но и праведного отца Иоанна Кронштадтского, великого молитвенника за Русскую землю, и блаженную Ксению Петербургскую, общецерковное прославление которой было совершено на Поместном Соборе в 1988 году. Сегодня, как известно, Бюллетень Христианской Общественности проводит сбор подписей под письмом к патриарху Московскому и всея Руси Пимену о канонизации отца Иоанна Кронштадтского, местночтимого уже в Русской Зарубежной Церкви и множеством его почитателей в СССР.

В отношении Новомучеников Российских Московская Патриархия вела кампанию замалчивания и лжи, пытаясь вычеркнуть их из жизни Церкви, извратить их подвиг, придать делу характер гражданского неповиновения "справедливым требованиям советских властей". Однако пришло время, когда московская иерархия вынуждена сказать верующему народу правду, заговор молчания, дискредитирующий патриарха и его епископат в глазах верующих и всего мира, был нарушен

в известном интервью патриарха Пимена газете "Известия" и особенно в выступлении митрополита Ювеналия в программе ТВ "Взгляд", где не только признавались новомученики, но и ставился вопрос о их канонизации (с фарисейской оговоркой: после реабилитации их советскими властями).

Ниже будет рассказано об одном из новомучеников, протоиерее Николае Троицком, клирике Калужской епархии.

Пройдя обычный путь провинциального священника, отец Николай встретил революцию в селе Никольское Калужской губернии (впоследствии отошедшей к Тульской области). У отца Николая и матушки Елены было трое детей; сын Андрей и дочери Мария и Вера. В характере отца Николая гармонично сочетались доброта и твердость. Доброта к родным и прихожанам, твердость в своем служении, в строгом выполнении всех канонических норм и правил, в особенности в отношении того, что касалось богослужебного устава. Пришедшее вслед за революцией обновленчество не стало для него соблазном. И если многие в то время пошатнулись, а некоторые и пали, отец Николай сразу же увидел в обновленчестве еретическое сборище и потерял к нему всякий интерес. На первый план для него встали такие вопросы: как заплатить налог властям, чтобы получить разрешение служить в церкви, и где достать пропитание для своей семьи. Поиски средств отнимали у него все силы. Семье пришлось переселиться из добротного дома в жалкую лачугу, из милости предоставленную ему одной из прихожанок, все, что имело какую-либо ценность, было продано, а вырученные деньги в большей части пошли на уплату налога. И вот пришло время, когда в доме не осталось ничего, начинался голод. Многие, и даже прихожане, советовали о. Николаю оставить службу и уехать — борьба была слишком неравна. Но отец Николай каждый день приходил в храм и служил литургию, ибо в этом он видел цель своей жизни. Семья вынуждена была переехать к родным в Тулу. Партактив и комсомольцы создали в селе обстановку травли и денежного удушья, к о. Николаю придирались по каждому пустяку, за нарушения всевозможных законов взимались все новые и новые штрафы. Однако

милостью Божией каждый раз ему удавалось находить деньги на налог и штрафы, что приводило богоборцев в еще большую ярость. Не действовали ни насилие, ни угрозы, ни постоянная слежка. Один перед бушующим морем безбожия, отец Николай продолжал свое служение Господу.

Пришло время, когда причины для ареста священника и закрытия церкви уже не требовалось — в стране лютовала безбожная пятилетка. Сталин объявил на весь мир, что скоро имя Бога будет забыто в СССР.

По разнарядке Дугнинского Райотдела УНКВД по Тульской области отец Николай Троицкий был арестован и препровожден в тюрьму. Прихожане сейчас же сообщили об этом матушке Елене. Но когда она приехала в тюрьму с передачей, то там ей сообщили, что священник Николай Троицкий в списках заключенных не значится. Больше о нем, вплоть до последних времен, семья ничего не могла узнать, да и узнавать-то боялась. По делам "лишенцев", а священнослужители были лишены всяких гражданских прав, НКВД не удосуживалось вести даже следствия... Отца Николая бросили просто по стандартному обвинению в лагерь смерти. Слава Богу, что сохранились еще архивы госбезопасности (говорят, что уже началось их уничтожение), и семья недавно получила уведомление, что "произведенной проверкой установлено, что Ваш дед, ТРОИЦКИЙ Николай Иванович, 1878 года рождения, был арестован бывшим Дугнинским Райотд. УНКВД по Тульской области и, находясь в заключении, умер 21 декабря 1937 года, место захоронения в материалах не указано".

Так обычного сельского священника Бог Своей безграничной милостью призвал к святости в сонме Новомучеников Российской. Святой исповедниче Божий Николае, моли Бога о нас!

Николай БАЛАШОВ (Москва)

ЕЩЕ РАЗ О «ДЕКЛАРАЦИИ» И О «СОЛИДАРНОСТИ» СОЛОВЧАН

В «Вестнике» № 152 помещена несомненно интересная во многих отношениях статья Н. А. Струве «Соловецкие епископы и декларация митр. Сергия 1927 г.». Мне глубоко созвучно стремление уважаемого редактора «Вестника» защитить историческую истину от тенденциозных, обусловленных партийными интересами искажений и упрощений, от подмены правды во всей ее неоднозначности некой лубочной картинкой. Впрочем, надо признаться, что такой "лубочный уклон" находит солидную опору в нашей православной традиции и соответствует догматическому складу сознания, который, увы, и поныне поощряется в нашей церкви. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить реальную историю церкви времен, скажем, Вселенских соборов — со всей ее сложностью, а порой и неприглядностью — и расхожие представления о ней, насаждаемые в церковных проповедях. Послание Архиерейского Синода зарубежной Церкви в этом смысле просто следует в традиционном русле. Бережность в обращении с исторической истиной не может почитаться особой добродетелью, когда роль исторических изысканий сводится к обслуживанию заранее данной установки — идеологической, догматической, канонической... Когда нужно, например, непременно подтвердить и обосновать превосходство своей "юрисдикции".

Использование мученической судьбы исповедников XX века идеологами конкурирующих "юрисдикций" вне России мне представляется ничуть не более достойным, чем поведение московских церковных властей с их пресловутым *замалчиванием*. Всюду, где может продолжаться идеологическая подгонка истории, где не осмыслено значение исторической и интеллектуальной честности, — уроки тоталитаризма еще не усвоены. Это, конечно, тема для особого и весьма серьезного

разговора, который далеко выходит за рамки небольшой заметки; обратимся поэтому к затронутым в статье Н. Струве событиям 1926–28 гг., поистине судьбоносным для нашей Русской Церкви.

К сожалению, сразу приходится заметить, что у г. Струве в описании их очень, очень многое *исторически неточно*. Наиболее существенная фактическая ошибка — это утверждение автора, будто после декларации митр. Сергия "нового коллективного обращения соловецкие епископы не составили". Составили на самом деле — и довольно скоро: в день Преображения Господня была опубликована в «Известиях» Декларация, а на Крестовоздвижение, то есть через месяц с небольшим, соловецкие епископы приняли коллективное письмо, текст которого (как и майского Обращения 1926 года¹) был, судя по всему, составлен профессором И. В. Поповым. Текст этот сохранился и (возможно, с некоторыми сокращениями) включен во II том магистерской диссертации игумена (ныне — архиепископа Куйбышевского) Иоанна Снычёва «Оппозиции митрополиту Сергию» (машинопись, Куйбышев, 1962).² Выдержки из того же письма приведены и в книге Л. Регельсона «Трагедия Русской Церкви» (с. 436). Итак, воспроизводим по диссертации игум. Иоанна текст этого ценнейшего документа:

1. Мы одобряем самый факт обращения Высшего Церковного Учреждения к Правительству с заверением о лояльности Церкви в отношении Советской власти во всем, что касается гражданского законодательства и управления.

Подобные заверения, неоднократно высказанные Церковью в лице почившего Патриарха Тихона, не рассеяли подозрительного отношения к ней Правительства; по-

¹ Едва ли есть достаточные основания утверждать, что автором этого обращения был еп. Иларион, а И. В. Попова называть его *соавтором*. Сведения, приведенные в I томе книги о. М. Польского (глава «Соловецкие узники и их исповедание»), дают иную картину, основанную на достаточно достоверных свидетельствах "из первых рук".

² Н. А. Струве, судя по всему, пользовался более поздней редакцией этой работы, в которой текст данного письма приведен в сильно сокращенном виде, но все же приведен.

этому повторение таких заверений нам представляется целесообразным.

2. Мы вполне искренно принимаем чисто политическую часть послания, а именно:
 - а) Мы полагаем, что клир и прочие церковные деятели обязаны подчиняться всем законам и правительственным распоряжениям, касающимся гражданского благоустройства государства.
 - б) Мы полагаем, что тем более они не должны принимать никакого ни прямого, ни косвенного, ни тайного, ни явного участия в заговорах и организациях, имеющих целью ниспровержение существующего порядка и формы правления.
 - в) Мы считаем совершенно недопустимым обращение Церкви к иноземным правительствам с целью подвигнуть их к вооруженному вмешательству во внутренние дела Союза для политического переворота в нашей стране.
 - г) Вполне искренно принимая закон, устраняющий служителей культа от политической деятельности, мы полагаем, что священнослужитель, как в своей открытой церковно-общественной деятельности, так и в интимной области пастырского воздействия на совесть верующих, не должен ни одобрять, ни порицать действий Правительства.
3. Но мы не можем принять и одобрить послания в его целом, по следующим соображениям:
 - а) в абзаце 7-м мысль о подчинении Церкви гражданским установлениям выражена в такой категорической и безоговорочной форме, которая легко может быть понята в смысле полного сплетения Церкви и Государства. Церковь не может взять на себя перед Государством, какова бы ни была в нем форма правления, обязательства считать "все радости и успехи Государства своими успехами, а все его неудачи своими неудачами", так как всякое правительство может принимать решения безрас-судные, несправедливые или жестокие, которым Церковь бывает вынуждена подчиниться, но не может им радоваться или одобрять их.В программу же настоящего правительства входит искоренение религии, и для осуществления этой

задачи им издан ряд законов. Успехи государства в этом направлении Церковь не может признать своим успехом.

- б) Послание приносит Правительству "всемирную благодарность за внимание к духовным нуждам православного населения". Такого рода выражение благодарности в устах главы Русской Православной Церкви не может быть искренним и потому не отвечает достоинству Церкви и возбуждает справедливое негодование в душе верующих людей, ибо до сих пор отношение Правительства к духовным нуждам православного населения выражалось лишь во всевозможных стеснениях религиозного духа и его проявлениях: в осквернении и разрушении храмов, в закрытии монастырей, в отобрании святых мошей, в запрещении преподавания детям Закона Божия, в ограничении прав служителей Церкви, и как мало Правительство проявило внимания к религиозным потребностям населения в настоящее время в самом обещании легализовать церковные учреждения, лучше всего показывает оскорбительная для чувства верующих статья официального правительственного органа Известий Ц.И.К., предваряющая текст послания митрополита Сергия.
- в) Послание Патриархии без всяких оговорок принимает официальную версию и всю вину в прискорбных столкновениях между Церковью и Государством возлагает на Церковь, на контрреволюционное настроение клира, проявляющееся в словах и делах, хотя в последнее время не было ни одного судебного процесса, на котором публично и гласно были бы доказаны политические преступления служителей Церкви, а многочисленные епископы и священники лишь в административном порядке томятся в тюрьмах, ссылке и на принудительных работах за свою чисто церковную деятельность (борьбу с обновленчеством) или по причинам, часто неизвестным самим пострадавшим. Настоящей же причиной борьбы, тягостной для Церкви и для самого государства, служит задача искоренения религии, которую ставит для себя настоящее правительство. Именно это принципиальное отрицательное отношение правительства к религии заставляет государство с подозрением смотреть на

Церковь и независимо от ее политических выступлений, а Церкви не позволяет принять законов, направленных к ее разрушению.

- г) Послание угрожает исключением из клира Московской Патриархии священнослужителям, ушедшим с эмигрантами, за их политическую деятельность, то есть налагает церковное наказание за политические выступления, что противоречит постановлению Всероссийского Собора 1917-18 гг. от 3/16 августа 1918 года, разъяснившего всю каноническую недопустимость подобных кар и реабилитировавшего всех лиц, лишенных сана за политические выступления в прошедшем (Арсений Матеевич, свящ. Григорий Петров).
4. Наконец, мы находим послание Патриаршего Синода неполным, недоговоренным, а потому недостаточным. Закон об отделении Церкви от Государства двусторонен: устраняя Церковь от вмешательства в политическую жизнь страны, он гарантирует ей невмешательство Правительства в ее внутреннюю жизнь и в религиозную деятельность ее учреждений. Между тем, закон этот постоянно нарушается органами политического наблюдения. Высшая церковная власть, ручаясь за лояльность Церкви в отношении к Государству, открыто должна будет заявить Правительству, что Церковь не может мириться с вмешательством в область чисто церковных отношений государства, враждебного религии.

СОЛОВКИ

1927 г. 14/27 сентября

Одобривших письмо епископов было по одним сведениям 26 (см. письмо еп. Виктора Островидова еп. Авраамии Дернову от 15 января 1928 г.), по другим же — 17 или 20 (Иоанн Снычёв, видимо, со слов митр. Мануила Лемешевского).

Как видим, утверждение о "солидарности с митр. Сергием" соловецких исповедников, которым Н. Струве

заканчивает свою статью, представляется теперь весьма сомнительным; слова же из Послания Архиерейского Синода о том, что "декларация эта (митр. Сергия. — Н. Б.) не была принята в свое время... большинством иерархов-исповедников", оказываются как раз более соответствующими исторической правде. Другое дело, что большинство соловецких епископов действительно не считали *Декларацию* основанием для немедленного разрыва отношений с митр. Сергием и его Синодом.

Сохранились также некоторые дополнительные свидетельства о тогдашних настроениях соловецкого епископата. Митр. Кирилл Смирнов писал неизвестному адресату, что "соловчане" хотят ждать покаяния митр. Сергия "до созыва канонического Собора... в уверенности, что Собор не может его не потребовать", а до тех пор не разрывать общения. Еп. Нектарий Трезвинский в письме от 25 апреля 1928 г. характеризовал "мнение соловецкого епископата относительно митр. Сергия" как "протест без отклонения или отмежевания от него, митр. Сергия". Кстати, сам еп. Нектарий, который, насколько известно, был в числе принимавших соловецкое *Обращение* 1926 года, в марте 1928 г. "решил определенно и бесспоротно отделиться от митр. Сергия", так что сведения П. Струве о том, что из соловецких епископов лишь Василий Зеленцов порвал с митр. Сергием, неточны.³ Н. Струве вообще сильно преуменьшает численность оппозиции. Иерархов, не входивших в группу митр. Иосифа, но тоже отошедших от общения с митр. Сергием, было никак не "десяток", а более двадцати — даже по спискам Иоанна Снычева / Мануила Лемешевского, которых трудно заподозрить в чрезмерной симпатии к оппозиционерам. Среди них были и такие видные, как митрополиты Кирилл Смирнов и Агафангел Преображенский, архиепископы Феодор Поздеевский и Андрей Ухтомский, епископы Афанасий Сахаров и Дамаскин

³ Неточен, по-видимому, и позаимствованный из диссертации игум. Иоанна список "епископов, стоявших на страже церковного единства". Вряд ли можно утверждать, что архиеп. Петр Зверев был после 1927 г. сторонником митр. Сергия — скорее наоборот (см. письмо архиеп. Петра и комментарий прот. Андриевского во II т. *Польского*, с. 67).

Цедрик, Арсений Жадановский и Серафим Звездинский. Церковная группа во главе с еп. Виктором Островидовым также возникла независимо от "иосифлянского" движения, хотя и объединилась с ним впоследствии. Открытое письмо еп. Виктора митр. Сергию во множестве списков распространялось в стране — наряду со многими другими аналогичными по содержанию письмами и воззваниями (авторство некоторых из них доньше не установлено). Известно также, что по крайней мере в некоторых епархиях почти 90% приходов по получению текста Декларации сочли за благо отослать его обратно автору в знак несогласия и отмежевания.

Какова же была реакция соловецких епископов на возникновение этих расколов в связи с Декларацией? Большинство из них в то время действительно было против разделения, против нового зла разрушения церковного единства. Об этом свидетельствуют воспоминания архиеп. Мануила Лемешевского, а также донесение прот. Иоанна Шастова (а не Шестова!) митр. Сергию от 16 февраля 1928 г. Впрочем, те же материалы говорят о разногласиях между епископами по этому поводу и об особой роли архиепископа Илариона Троицкого в противодействии возникшим "колебаниям". Позиция владыки Илариона ярко выражена в письмах 1928 года, опубликованных Н. А. Струве. Однако в этой публикации, к сожалению, также допущен ряд неточностей.

1) *Июлем*, а именно 21 числом, датировано лишь первое из приведенных писем, второе же написано 12 августа.

2) Слова публикатора: "...Приводим два документа, никогда еще не печатавшиеся целиком", — наводят на мысль, будто в "Вестнике" № 152 они помещены полностью, что не соответствует действительности. Напечатаны выдержки из этих писем — в том виде, в каком они включены в диссертацию игум. Иоанна Снычева. При этом в тексте выдержек допущены следующие ошибки:

3) В первом письме напечатано: "*Ну, а возьмите деятельность хотя бы Синода с 1921 по 1927 г.*" Следует читать: "...хотя бы то Синода с 1721 по 1917 г."

4) Там же вместо "*гаудеюс*" надо читать "гауденс" (*tef-tius gaudens* — третий радующийся).

5) Во втором письме напечатано: *"Лучше дома жить, это зависит"*. Читай: *"Лучше дома жить, это что говорить, да от кого это зависит"*.

Кроме того, стоит привести и другую не менее интересную выдержку из того же письма от 12 августа 1928 г., помещенную в III томе диссертации игум. Иоанна Снычева:

"Я уже писал Вам, какой народ несдержанный пошел. Много я ругаюсь с таким народом. Который Глазовский (Виктор Островидов, еп. Глазовский. — Н. Б.), ну это прямо искушение одно. Говорить с ним не приведи Бог. У него все будет навыворот, и все говорит, что все родные за него и ничто слушать не хочет. Про него писали много. Ну совсем человек сбился и себя одного за правого считает".

Можно еще добавить, что по сведениям Отзыва митр. Кирилла митр. Сергию от 12 ноября 1929 года, последний *"благословил рассылать... в назидание другим"* засвидетельствованные Синодом копии письма архиеп. Илариона Троицкого. О содержании письма митр. Кирилл говорит, что *"основная аргументация автора покоится на мысли, что Синод Ваш (митр. Сергия — Н. Б.) и Святейший Правительствующий Синод, учрежденный в 1721 году, — явления одного и того же порядка и достоинства"*.

Теперь мне хотелось бы вновь обратиться к полемическим утверждениям Н. Струве.

Я согласен: когда говорят, что иерархи и священники, не принявшие Декларацию, поплатились за это жизнью, происходит чрезмерное упрощение и стилизация реальной картины. На самом деле связь далеко не всегда была столь однозначной. Не стоит забывать, что даже из тех семи архиереев, которые в 1927 г. подписали вместе с митр. Сергием Декларацию, двое были впоследствии казнены (Константин Дьяков и Серафим Александров), один умер в ссылке (Анатолий Грисюк), еще один — вскоре после освобождения из лагеря (Филипп Гумилевский). Последний, судя по всему, еще в 1930 г. отказался от *"солидарности с митр. Сергием"*, после чего и получил 10 лет лишения свободы. Но все же из многих свидетельств явствует, что

был период, когда ответ на вопрос об отношении к Декларации мог определять выбор судьбы: тюрьма или свобода, жизнь или смерть. Сошлемся здесь хотя бы на письмо еп. Дамаскина Цедрика митр. Сергию (начало 1929 г.): *"Знаменательно, что первым вопросом, заданным мне приехавшим в Полой агентом ГПУ, был: "Как вы относитесь к декларации митрополита Сергия?" Или еще: достоверно известно, что еп. Василия Преображенского в 1931 г. принуждали к признанию Декларации, обещая в обмен освобождение из тюрьмы. Он отказался — и был подвергнут пыткам."*

Наибольшее недоумение вызвала у меня последняя фраза статьи, где говорится о епископах-мучениках, *"пострадавших за веру, а не за неприятие советской власти: солидарность с митр. Сергием обеляет исповедников от всякой тени политической вины"*. Я не уверен, что эти слова адекватно передают мысль автора, но они создают впечатление, будто *не солидарные* с Заместителем Патриаршего Местоблюстителя пострадали-таки *не за веру*, а по своей политической вине. Знакомство же с документами и свидетельствами убеждает: мотивом отвержения Декларации были не какие-то внеположные вере политические страсти, но христианская преданность правде Божией и достоинству Церкви. Ибо *"если Церковь присоединяется к надругательству над правдой, что ей делать в этом мире?"* — как писал в те годы Г. П. Федотов (*"Вестник РСХД"* № 2, 1931).

Наконец, если и представить себе, что некая часть оппозиционеров была все же движима именно политическими соображениями, *"неприятием советской власти"*, то можем ли мы сегодня говорить, что это *очерняет* тех, кто стал жертвами террора этой самой власти? А если *не* можем, то что значат слова об *обеляющей* солидарности с митр. Сергием? Еще раз хочется выразить надежду, что автор тут неудачно выразил свою мысль или чего-то недоумал.

Ну, а фактические неточности, вкравшиеся в статью Н. А. Струве, еще раз указывают на давно назревшую необходимость критического издания свода основных

источников по русской церковной истории послереволюционного периода с кратким и беспристрастным научным комментарием источниковедческого характера. Непозволительно откладывать это дело до празднования следующего тысячелетия Крещения Руси.

Москва, октябрь 1988 г.

Никита СТРУВЕ

РЕПЛИКА

Благодарю Н. Балашова за ценные дополнения и исправления к моему этюду об отношении соловецких епископов к декларации 1927 г. и вообще к церковно-политическому курсу, принятому под давлением обстоятельств митр. Сергием. Наша общая беда в том, что мы располагаем пока что всего лишь двумя источниками по этому вопросу: книгой прот. М. Польского и диссертацией архим. (ныне епископа) Иоанна Снычёва, основанной на архиве и на воспоминаниях митр. Мануила Лемешевского. Оба источника страдают несомненной предвзятостью, первый — склонен рассматривать "сергианство" как своего рода апостасию, отпадение от Церкви, второй — не подвергает ни малейшей критике политику местоблюстителя, считая ее единственно возможной и абсолютно правильной.

Цель моей заметки заключалась в том, чтобы разбить упрощенное представление о том, что в конце 20-х годов и в начале 30-х существовало как бы две церкви: одна исповедническая (ошибочно отождествляемая с группой иерархов, находившихся на Соловках). — вторая — соглашательская и своекорыстная под омофором митр. Сергия. Такое представление, довольно широко распространенное и недавно с особым догматизмом поддержанное Зоей Крахмальниковой, не соответствует действительности.

Вынужденная декларация митр. Сергия 1927 г.¹ несомненно ранила все сколько-нибудь чуткие совести в церкви, поскольку в ней "лояльность" по отношению к государству принимала характер некой неопределенной солидарности с

¹ Об истинном направлении мыслей митр. Сергия можно судить по его первой декларации 1926 г., сходной с соловецкой, и по его частному письму зарубежным собратям, которым он советовал в эмиграции подчиняться местным православным церквям, а в странах, где таковых не имеется, устраиваться на началах автономии, если не автокефалии.

богоборческой властью. Ведь не могла же Церковь радоваться успехам власти в борьбе с нею же самой?

Однако из добавлений Балашова (даже если принять второе послание как выражающее мнение всего соловецкого епископата, что не доказано)² лишь подтверждается тот факт, что подавляющее большинство соловецких епископов не считало двусмысленную декларацию митр. Сергия достаточным основанием, чтобы раздирать церковное единство. Более того, корифей этой группы епископов, наиболее образованный из них, бывший правой рукой патриарха Тихона епископ Иларион Троицкий, необычайно резко отзывался о тех епископах (кстати, не соловецких), которые шли на разрыв.

Епископ-исповедник Мануил Лемешевский (за борьбу с обновленцами сосланный на Соловки) употребил свой огромный авторитет и на борьбу с иосифлянством. В отпоре иосифлянам он действовал как "представитель соловецкого епископата": "все мы, — заявлял он, — единогласно и единодушно, в количестве 17 человек под председательством архиеп. Илариона, клятвой скрепили себя не отделяться от митр. Сергия, хранить церковное единство и не присоединяться ни к какой группе раздорников. Мне поручено "соловецким епископатом" доложить обо всем этом митр. Сергию. Я давал клятву и нарушать ее не собираюсь..."³

Исторически правильнее сказать, что отмежевались от митр. Сергия епископы, *не находившиеся на Соловках*, и к тому же по причинам, далеко не всегда связанным с декларацией 27-го года. Как известно, митр. Иосиф отошел, потому что не принял своего перемещения с Ленинградской кафедры на Одесскую (в проживании в Ленинграде ему упорно отказывали коммунистические власти). Митр. Кирилл (Смирнов), иерарх безусловно

² Митрополит Сергей считал, что это инициатива одного еп. Зеленцова.

³ Запись беседы сделана в Москве, в феврале 1928 года, сразу после возвращения с Соловков посланным от митр. Иосифа иеромонахом. Цит. по диссертации архим. Иоанна Снычёва «Церковные расколы в русской Церкви 20-х и 30-х годов XX столетия». Куйбышев, 1965 (Самиздат), стр. 288-289.

выдающийся, отделился, не примкнув к иосифлянству, так как считал, что, учреждая при себе Синод, митр. Сергей превысил свои полномочия местоблюстителя...

Учитывая обстановку тех лет, не прекращающийся с 1918 г. террор по отношению к Церкви, невольно удивляешься вместе с еп. Иларионом той малости причин, которые приводили епископов порывать с центром в то время, когда Церковь больше всего нуждалась в единстве.

В своей заметке я оспаривал историческое утверждение, что якобы большинство порвало с митр. Сергием, но оспаривал также и богословски само понятие большинства как аргумента в пользу истины.

Между прочим, иосифляне не чувствовали за собой большинства (особенно когда узнали, что Ярославские епископы во главе с митр. Агафангелом вернулись под омофор местоблюстителя). Митр. Иосиф писал еп. Дмитрию 24 июня 1928 г.: "...Будем помнить, что большинством голосов (и подавляющим) была распята Сама Истина, и ссылающиеся теперь в свое оправдание на большинство — пусть лучше прочтут себе в этом жестокое обличение и укор, что в их "большинстве" вновь распинается Христос-Истина!"⁴ Да и все это письмо написано митр. Иосифом с целью как бы оправдаться в том, что последователи его оказались в меньшинстве (что философски правильно: истина не измеряется количеством ее приверженцев).

Итак, несмотря на дополнения, внесенные Н. Балашовым, тезисы моей статьи остаются непоколебленными: на стороне иосифлянского раскола не было не только какого-либо большинства, но, в частности, соловецкий епископат остался ему *in corpore* (за исключением одного-двух епископов) совершенно чужд.

И наконец, Н. Балашов не понял моей заключительной ремарки: она была обращена к запуганному епископату Московской Патриархии и сводилась к следующему: ваше молчание о мучениках тем более непонятно и предосудительно,⁵ что огромное большинство из них не

⁴ Архим. Иоанн Снычёв, *op. cit.*, стр. 306.

⁵ Положение это, как известно, изменилось: теперь уже о мучениках заговорили и даже готовится канонизация некоторых из них.

прерывало общения с митр. Сергием, что снимает и тень подозрения в их политической неблагонадежности. Это рассуждение — a fortiori. Но не по каким заключениям логики из этого не следует, что "несогласие с декларацией митр. Сергия очерняет тех, кто ее не принял". В иосифлянстве черным пятном остается отнюдь не политическая неблагонадежность (которая по существу есть лишь точка зрения ГПУ/КГБ), а разрыв с Церковью. Но, составляя на основании словаря митр. Мануила и коллекции фотографий о. Владимира Русака альбом исповедников и мучеников, я решил включить в него и иосифлян, как подлинных, хотя и неумеренных, не по разуму ревнителей Христовой правды.

Спор же по существу: был ли прав в тех условиях митр. Сергей или нет, — окончательному историческому суду не подлежит. Можно только гадать, а что бы случилось, если бы митр. Сергей своей второй декларации не написал? Воцарилась ли бы в Церкви окончательная анархия и разброд, или она нашла бы в себе силы как-то объединиться? За легализацией Церкви, по слову митр. Сергия Вознесенского (сподвижник местоблюстителя), последовала ее ликвидация... Моральная жертва митр. Сергия казалась ненужной, ничего не спасшей... Но вот разразилась война 41-го года, и митр. Сергей, выстоявший с группой епископов все преследования, нашел в себе яснovidение и мужество встать на оборонческую позицию, что повлияло на изменение политики власти по отношению к Церкви. В событиях войны пресловутая декларация митр. Сергия получила свое частичное оправдание: впервые, и, увы, не на долгое время, радости государства могли быть признаны и радостями церковного народа. Единство Церкви восстановилось: в лоно Московской Патриархии вернулись не только почти все обновленцы, но и уцелевшие иосифляне (прот. Верьюжский) и другие "непоминающие" (вл. Афанасий) — хотя пленение Церкви после войны лишь усилилось. В 1952 г. все церковные и религиозные объединения, от буддистов до мусульман, от баптистов до старообрядцев разных толков, объединились в Загорске в общем славословии Сталину: но декларация 1927 г. тут уже ни при чем, это было проявлением завершившегося порабощения всей страны.

**ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И МЕСТЕ
ЗАХОРОНЕНИЯ
ИМПЕРАТОРСКОЙ СЕМЬИ
(Встреча с Гелием Рябовым
в Историко-Архивном Институте
20 апреля 1989 г.)**

...Просто я, определенным образом, тот человек, которому выпало все это сделать, и я это сделал, и на этом роль моя заканчивается. В дальнейшем этим должны заниматься другие. Но для того, чтобы было ясно, что я хочу сказать, позвольте мне максимально кратко рассказать вам предысторию. 25 июля 1918 года, как пишет об этом Николай Алексеевич Соколов, Екатеринбург был взят у большевиков эсерской армией Сибирского правительства (к сожалению, в публикации, которая прошла в «Московских новостях», я, в ажиотаже и волнении, был не точен; и для меня, человека не профессионального, в отличие от вас всех, закончившего советскую школу Бог знает когда и институт тоже — в общем, эти понятия всегда были смещены, и я только в последнее время, под влиянием Генриха Зиновьевича, научился различать учредилку от эсерского правительства и потом Уфимскую директорию, которая превратилась в диктатуру Александра Васильевича Колчака (в ноябре месяце). Но здесь, потому что я очень волновался, я сказал усредненно, поскольку для нас, людей моего поколения и моей профессии, "белые" — это "белые", а "красные" — это "красные", и никаких нюансов и никаких подразделений в прошлой жизни, естественно, не было. И теперь есть только фазы на них.

Итак, Екатеринбург был у большевиков взят 25 июля 1918 года, и сразу же следователи Наметкин и Сергеев явились в дом Ипатьевых для того, чтобы выяснить, что же там произошло. Они обнаружили довольно любопытные следы, в том смысле, что в полуподвальной комнате нижнего этажа вся стена (одна из стен) была в бесконечных револьверных пробоинах. Потом экспертиза подсчитала, что в течение одной минуты было выпущено около ста пуль, и

стрельба продолжалась около одной минуты. Большинство этих попаданий было внизу, около пола, и поэтому я, между прочим, возвращаясь в свою юность (я был того же возраста, что и вы, в своем большинстве здесь присутствующие) и я помню, что мы слушали, кажется, лекцию по истории политических учений, и одна моя знакомая, студентка второго курса Московского Юридического института, принесла фотографии-пересъемки из труда Соколова «Убийство царской семьи». И когда я увидел вот эту комнату и пулевые удары, я спросил: "А почему так низко?" Она сказала: "Ну как, «почему так низко»? Это же — проклятые Романовы, они трусы и подонки, они все сели на пол от ужаса, когда их расстреливали, именно поэтому все внизу". Должен вам сказать, что на самом деле "все внизу" было совсем не потому, но это — несколько дальше.

Что еще нашли следователи? Они обнаружили бесконечные надписи на обоях во всех комнатах, надписи совершенно непристойно-хулиганского характера, у уборной и ванной они нашли рисунки порнографического свойства — этим забавлялась охрана. Были найдены разного рода надписи на немецком, и в том числе, на основополагающем /пропуск в рукописи/ это надпись из стихотворения Гейне "О Валтасаре": "В эту ночь он как раз своими слугами был убит". Я не рискуя произнести это по-немецки, потому что буду говорить, рискуя ошибиться, а это не нужно. Потом вы прочтете это сами на чистейшем немецком языке.

Здесь же был обнаружен некий знак, явно кабалистического свойства; что он означает, не разгадано до сих пор. На основании всего этого, как от первого толчка, был сделан вывод, что в убийстве Романовых участвовали не только русские красногвардейцы, но и представители других национальностей. И об этом думать еще не поздно. Но дело в том, что вести следствие Наметкину и Сергееву было очень трудно. Следствие шло в основном стихийно, поэтому-то и крестьяне окрестных деревень, в том числе и [Алферов], нашли в районе Открытой шахты (есть такое место в глубокой тайге у Екатеринбурга), нашли то, что там, как выяснилось позже, во время следствия, которое вел Соколов, потерял Юровский: там был обнаружен

десятикартанный бриллиант, там был обнаружен крест-значок Гвардейского экипажа с бриллиантами, там была обнаружена жемчужная серьга императрицы, разбитые драгоценные камни, разрубленные соединения одежды, крючки, корсетные ленты и так далее, и так далее, и так далее. В конечном счете, все это Соколову позволило сделать совершенно неверный, как выяснилось позже, вывод о том, что, когда трупы были привезены в Открытую шахту, они были разрублены на куски, сожжены на кострах, и вот в остатках этих кострищ и были найдены эти предметы, о которых я вам сказал.

Спустя примерно полгода, ну, больше полугодом, спустя несколько месяцев (давайте обозначим это так), в начале 19-го года, по повелению верховного правителя Колчака, Николай Алексеевич Соколов приступил к своему собственному расследованию. Впрочем, он шел по следам предыдущих расследований, аккумулируя их, но он внес главный вклад в это расследование, в чем он состоял — я сейчас скажу: дело в том, что личность Николая Алексеевича Соколова представляет, мне кажется, огромный будущий интерес для историков этого события, и заключается интерес к этой личности, мне представляется, в том, что Николай Алексеевич Соколов был глубоко верующим русским человеком, он был монархистом по убеждению, до мозга костей. Он пришел из Пензенской губернии к Колчаку по снегу босым, разбив ноги в кровь, он просто хотел служить для восстановления той России, которой он служил раньше и в которую он бесконечно верил.

И вот этому человеку, именно этому человеку, Колчак поручил расследование об убийстве царской семьи. Позже в своей книге Соколов писал, что он охранял покой русского мужика в медвежьих углах России и никогда не предполагал, что ему выпадет подобная доля, но раз она выпала, то он должен ее нести (я говорю своими словами).

Соколов начал с того, что в первый же день, как он приехал в Екатеринбург, он пешком пошел к Открытой шахте, где и обнаружил остатки кострищ, где обнаружил все то, что уже зафиксировали Наметкин и Сергеев. Нужно было двигаться дальше. Поэтому Соколов, воспользовавшись

обычными бюрократическими вывертами советской власти тогдашнего времени, а она в этом смысле мало чем отличалась от ныне существующей. В чем тут дело, я сейчас объясню: дело в том, что на екатеринбургском телеграфе были брошены ленты с телеграфными переговорами по югу, а в зоне особого назначения были брошены ведомости на выдачу жалования охране, и таким образом Соколов спокойно составил так называемые транскрипционные списки, в которые вошли десятки и десятки людей. Эти списки были распространены по всей территории, подвластной верховному правителю, и всюду, где людей задерживали, их доставляли Соколову. Я юрист. И я хочу отметить, что Соколов вел свое расследование честно, нравственно, не применяя ни пыток, ни недозволенных мер воздействия к арестованным. Как он сам об этом напишет позже, он искал истину путем закона. Людей допрашивали. Конечно, допрашивали усиленно, но, я думаю, не более усиленно, чем допрашивает сегодня милиция, скажем, когда она задерживает преступников. В конечном счете, картина для Соколова вырисовывалась таким образом: что все находится в районе Открытой шахты и искать нужно там. И вот Николай Алексеевич два раза в день, утром пешком и обратно пешком оттуда в город — и так в течение того примерно полугода или пяти или четырех месяцев, сколько оставалось до возвращения Екатеринбурга в руки советских войск. Но он ничего не нашел. Хотя он пользовался услугами примерно нескольких сот, насколько мне известно (рискую ошибиться), рабочих [Верх-Исетского] завода, монархистов по убеждениям, которые стояли лагерем в этой тайге в дождь, в стужу, мошкара там дьявольская, она там и по сегодняшний день такая, что лучше там не появляться, я это не себе испытал, поэтому эти люди стойчески верно служили этой идее, служили Соколову, пытаюсь найти эти трупы.

Трупов они не нашли. Кроме того, о чем я вам сказал, Соколов нашел отрубленный палец, труп собаки Джемми, которая принадлежала Анастасии Николаевне, нашел еще несколько предметов и, самое главное, — сальные массы и остатки костей, которые экспертизе он подвергнуть не успел. Поэтому Соколов сделал вывод о том, что эти сальные массы и эти кости, по его глубочайшему убеждению, принадлежат

казненным Романовым. Он ошибся. И беда его заключалась в том, что, будучи профессионалом старой школы, он был убежден, что нужно выдвигать наиболее обоснованную версию и расследовать ее. Дело в том, что, забегая вперед, я должен вам сказать (и вот автор этой публикации интервью со мной, он совершенно правильно уловил то, что я ему сказал). Дело, конечно, было не в том, что я умел сопоставлять, анализировать, мыслить, так сказать, дедуктивно и дискурсивно в нужном мне направлении (это все естественно, этому нас учили, не учили главному): дело в том, что поколение моего возраста, а тем более те, кто работает на ниве правоохранительной деятельности, сегодня знают: все, к чему прикоснулись руки преступника, все, к чему прикоснулись руки врага, если речь идет об органах государственной безопасности, должно быть изрезано на кусочки, просвечено под электронным микроскопом и никоим образом не оставлено без внимания. Но Соколов полагал, что в России людей не могут раздеть догола и голыми швырнуть в яму. Такое, полагал он, совершенно невозможно. В этом была его ошибка. Что же произошло на самом деле?

Когда Юровский понял, что в районе Открытой шахты трупы скрыть не удастся, а понял он это в тот момент, когда Ермакову, этому захватчику (на его могиле, которая находится напротив могилы Бажова на Ивановском кладбище в Екатеринбурге, написано, что это организатор красной гвардии на [Верх-Исетском] заводе. По моим представлениям, насколько мне пришлось освещать этот вопрос, это малограмотный человек с уголовным прошлым, но он сегодня — герой Урала, герой Екатеринбурга, ну и — Господь с ним. Во всяком случае, для меня его личность абсолютно ясна, и сейчас вы увидите, почему я имею право так говорить. Я имею право так говорить потому, что он не сумел довести до конца даже то, что поручил ему Юровский) Юровский поручил ему отыскать место, где можно скрыть казненных, и телеги, на которых их можно увезти вглубь тайги. Вместо телег Ермаков, в полупьяном состоянии, можно предположить, пригнал пролетки, на которых мертвых людей перевозить совершенно невозможно. Это был страшный удар еще и потому, что, когда мертвых стали грузить на

пролетки, стали сыпаться бриллианты из лопнувших платьев, и вся публика, которая собралась на том месте, куда пришел этот страшный катафалк, с красными повязками на руках, с саблями, револьверами и ружьями (они ожидали, что им привезут [...] для казни, а привезли трупы. Они были очень недовольны этим, работники советской власти), и поэтому, когда они увидели бриллианты, сработал обычный инстинкт, они бросились, хотели этим завладеть, Юровскому пришлось их отгонять буквально силой оружия. Как он выражается сам, всю артель он разогнал, дальше трупы были погружены на пролетки, увезены к Открытой шахте. И вот здесь, когда их спустили в открытую шахту и попытались завалить взрывами ручных гранат в шахте, чтобы их окончательно похоронить в стволе (ствол был глубиной 10 м), это не удалось: шахта не рухнула. В это же время подошел приятель Ермакова, крестьянин [...], и стало ясно, что трупы надо отсюда увозить, потому что дело предано огласке. Юровский уехал для того, чтобы найти место погребения. Он уехал в Уралсовет, доложил, ему посоветовали искать место погребения в районе Московского тракта, где есть очень глубокие шахты, заполненные водой, шахты тридцатиметровые. Юровский поехал туда. Там он обнаружил сторожей, старателей, но /пропуск в рукописи/ в своей работе, и поэтому было решено, что вся публика будет арестована, когда дело дойдет до дела, и что трупы нужно сюда везти. Здесь можно будет привязать к трупам колосники и утопить их в тридцатиметровой глубине. Но, когда на следующее утро (в ночь — уточним) Юровский вернулся к Открытой шахте и когда автомобиль (сначала их на телегах довели до автомобиля, потом перегрузили на автомобиль, автомобиль — двадцатилетний «Фиат», на него было нагружено около тонны), естественно, в определенный момент сел по самые оси в болотистую дорогу, а пушки белогвардейские уже были слышны на горизонте, Юровский понял, что нужно хоронить здесь, что деваться некуда, потому что довести до Московского тракта уже не удастся. И вот здесь он принял гениальное решение, которое, наверное, могла бы взять на вооружение любая специальная служба любой страны, когда она хочет скрыть следы своих

преступлений. Юровский приказал выкопать яму прямо на дороге. Голые трупы швырнули в эту яму, забросали землей, хворостом, всем, что было под рукой, потом автомобиль стал ездить взад-вперед по этой дороге, и через минут пятнадцать дорога приняла обычный вид. Все было скрыто. Вот так это все произошло, и когда спустя несколько месяцев Соколов прошел по этой дороге раз, второй, третий, четвертый, десятый, двадцатый... Он ходил по этому месту ногами два раза в день, но в голову ему не приходило, что под его ногами лежат трупы тех, кого он ищет.

Когда я занялся этим делом, а занялся я им, должен вам сказать, довольно случайно... Дело в том, что, когда по поручению Министерства Внутренних дел я приехал в Свердловск для того, чтобы встретиться с личным составом свердловского управления и поговорить о фильме «Рожденные революцией», в тот момент, когда я сошел на перрон, я сказал встречающему: "Отвезите меня в особняк Ипатьевых". Сказал непроизвольно, инстинктивно, интуитивно, как угодно, потому что в этот момент я вспомнил лекцию в Московском Юридическом институте и фотографии из труда Соколова. Знаете, как принято писать в плохих детективах: меня словно что-то толкнуло. Ну, они сказали, что они мне охотно покажут это место, потому что место паломническое, туда стремятся абсолютно все, и с удовольствием зам. нач. политотдела сказал: "знаете, товариш [...], который до вас приезжал сюда на совещание, сказал, что никакого совещания — прежде всего — постоять на том месте, где пали Романовы". Я думаю, что у [...] было провидческое настроение. В плане собственной судьбы, мне так показалось. Короче говоря, я пошел спать в гостиницу «Свердловск», но спать не мог, я ночью встал и пошел к особняку Ипатьева. Я нашел его сам. Это так называемая Площадь народной мести до войны и Комсомольская площадь (так она называется, мне кажется) сегодня (впрочем, точно не ручаюсь). Ну, вы знаете, что на перекрестке улицы Карла Либкнехта и переулка, который забыл я как называется, находится этот особняк. При нем сад, огражденный забором. В этом доме в тот момент находился Центр по подготовке учителей в Челябинске, какой-то был челябинский центр. Я долго ходил

вокруг этого особняка, скажу вам честно, что к этому времени вышел труд Марка Константиновича Касвинова «Двадцать три ступени вниз», который я не удосужился, к стыду своему, к этому моменту прочесть, это очень жаль, потому что как бы с моей нынешней точки зрения неправдиво ни писал [...], у него было много информации, которой следовало воспользоваться, и я, увы, не воспользовался. Но утром за мной приехала милиция, естественно, меня отвезли в этот особняк, мне показали абсолютно все, в том числе и испорченный подвал, в котором это все произошло. Там была пикантная подробность: начполитотдела сообщил мне, что та перегородка, у которой рухнули Романовы и которая была еще цела в 1940-м году, которую показывали экскурсантам, после войны исчезла, и, по его сведениям, она находится в Англии. Ну — воистину чудны дела Твои, Господи. Как это могло произойти, остается только догадываться. Потом меня познакомили с очень симпатичным краеведом, геологом по профессии, которому я почему-то совсем неожиданно сказал, что, с моей точки зрения, главное, что надо сделать, — это найти могилу Романовых, потому что только это, даже с точки зрения абсолютно марксистской, докапает до истины, и если мы это найдем, мы многое сможем доказать и многое сможем подтвердить. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего и сказал, что сделать это невозможно, потому что, по его предположениям, там, где их похоронили, во-первых, они уже давно сгнили, а во-вторых, в этих местах построены дома, проложены дороги, железные дороги и т. д., и это все совершенно невозможно. Я сказал, что я беру на себя документальную часть вопроса и что если удастся установить когда-нибудь это место, то все остальное будем делать вместе. Потом он познакомил меня с бывшим редактором газеты «Уральский рабочий», который рассказал мне о том, как, будучи реалистом, он участвовал в поисках тел, когда "белые" вошли (простите, не "белые". Тогда вошли эсеровские войска, Сибирская Армия — видите, как еще стереотип действует даже сейчас). И, развернувшись в цепь, они прошли сквозь тайгу, нашли платочек с инициалами Татьяны Николаевны, больше ничего они не нашли. Вот это был тот стартовый момент, с которого я начал свое исследование.

Прежде всего, конечно, полагалось прочитать основополагающие труды — это «Убийство царской семьи» Н. А. Соколова и Михаила Константиновича Дитерихса «Убийство царской семьи» и... всякую сопутствующую и привходящую литературу от Павла Быкова до «Воспоминаний» Т. Боткиной (это Татьяны Боткиной-Мельник). Все это я прочитал. Но дело в том, что, как в Свердловске мне было сказано, что главное — это найти хотя бы потомков Юровского. "Сейчас еще жива Римма Яковлевна, — сказал мне этот бывший редактор «Уральского рабочего», — вот поищите ее, у нее вы можете многое узнать". Но вот в тот момент, когда я знал уже достаточно много, прочитав огромное количество литературы, я отправился в Ленинград, очень легко нашел Римму Яковлевну, которая мне сказала: "Ну, что вас интересует? В конце концов Уралсовет расстрелял Романовых по собственной инициативе потому, что это было знамя контрреволюции, и, казнив «палача народов России» (она шпарила, как по шпаргалке) Уралсовет вырвал это знамя из рук белогвардейщины". (Хотя — при чем тут «белогвардейщина»? Это — эсеровщина, т. е. это — социалистическое движение определенного толка. Но нам тогда, еще раз повторяю, это было все равно). И я больше, дескать, ничего не знаю, и что вы этим интересуетесь. Но я продолжал интересоваться, и тогда она смилостивилась и сказала, что сейчас позвонит своему брату Александру Яковлевичу, адмиралу в отставке, который этой темой болен, который знает много, который мне много раскрыл. Я отправился к Александру Яковлевичу Юровскому.

Здесь я хочу вам сказать, что есть одно обстоятельство, которое прямого отношения к расследованию не имеет, но это — психологическая деталь, о которой я, как честный человек, полагаю, должен сказать публично. Дело в том, что я недавно прочитал в челябинской газете, в челябинском еженедельнике [...], что и Юровский, и все, кто были прикосновенны к этой истории, очень обогатились, обожрались и, так сказать, [...] Юровский к тому же был по национальности еврей, так вот в связи с этим — еще и особенно. И я свидетельствую, что, когда я вошел в квартиру Риммы Яковлевны, а потом в квартиру контр-адмирала в

отставке — ну, друзья мои, если это было и не за гранью нищеты, то это было на грани нищеты. Скажем, квартира Риммы Яковлевны, построенная еще до войны, на рабочей окраине Петербурга, была уставлена мебелью такого же типа, как эта кафедра, достаточно р а з л а м ы в а ю щ е й с я, а что касается самого Юровского, то у него были полки под книги (книг много), сколоченные из досок из-под ящиков, и продавленный диван. Вот и все богатство этих людей. Можно возразить, что, вероятно, бриллианты лежат где-то закопаны, но я в это не верю. Я в это не верю: Юровский производит впечатление т я ж е л е й ш е е, но то, что он человек честный, даже если он и мой идейный враг, я об этом обязан свидетельствовать, — он честный человек. В связи с этим я всегда вспоминаю похороны Георгия Валентиновича Плеханова на Волковом кладбище в Петербурге. Когда рабочий Смирнов произносил свою надгробную речь, он сказал, что "все надежды наши рухнули, потому что правительство наше работает расстрелами и ничего путного нам теперь ждать не приходится, мы опускаем в землю последнего русского человека, который о чем-то мечтал, но ничего не достиг" (говорю это своими словами). Но в это же самое мгновение принесли телеграмму, как вы думаете от кого? — от Пуришкевича (Плеханову! На гроб!). Телеграмму, в которой он сказал: "моему врагу — честнейшему русскому человеку". Это достойный поступок, каким бы ни был Пуришкевич при всем при том.

Ну вот, давайте продолжим. Я абсолютно не верю в обогащение Юровских и буду стоять на своем. Во-первых, потому что таких данных нет, во-вторых, я с этой семьей знаком, в-третьих, я глубоко исследовал психологию самого Юровского: он способен на все, кроме кражи. На это он совершенно не способен. Иными словами, Александр Яковлевич показал мне документы. Он показал мне документы, которые неумолимо свидетельствовали о том, что переписка (если вы читали книгу [...]) и вообще знаете об этой истории, то вы должны знать, /пропуск в рукописи/ всегда на протяжении семидесяти лет, что Романовых расстреляли еще и потому (об этом было сообщение ВЦИКа), что был, якобы, раскрыт белогвардейский заговор,

что некие офицеры, монархисты, пытались освободить Романовых и воспользоваться ими как знаменем контрреволюции). Все это — ложь, все это — отвратительная ложь, и это сегодня доказано. Никакого заговора не было. Некто (кто — пока не установлено. Можно предполагать, что это Войков, который знал французский язык, можно предполагать, что это — учитель гимназии, сочувствующий большевикам, который знал французский язык) под диктовку Уралсовета сочинял определенные письма определенного содержания, определенный завербованный человек переправлял их в дом особого назначения Романовым, Романовы отвечали на эти письма, а потом Уралсовету оставалось только из комплекта этих писем выбрать те выражения и те слова, которые компрометировали бывшего царя и его семью. И таким образом можно было мотивировать уничтожение. И это и произошло. Я располагаю документами, которые свидетельствуют об этом неумолимо. Существуют в подлиннике и хранятся в Центральном архиве Октябрьской революции четыре с половиной листка тетрадных, неразделенных, с левой стороны которых — письмо на французском языке, адресованное Романовым, а на правой стороне — ответ Романовых. Теперь чуть-чуть напрягитесь и представьте себе, как в руках Уралсовета могла оказаться вся переписка в пять листов — н е р а з д е л е н ы х? Это слишком все очевидно. Ну, я уже не говорю о такой подробности, что в определенный момент в доме Ипатьевых были обнаружены несколько ручных гранат с запалами, и я могу предполагать (хотя тут со мной спорит Генрих Зиновьевич), что это была первая попытка, первый пробный шаг: найти гранаты, а это — боевое оружие, а применение оружия внутри охраняемого объекта карается смертью. Романовых перебили бы вообще как собак, без всяких ухищрений и без всякого труда. Второе, — он отдал мне записку своего отца, копию со своими личными поправками. Сегодня корреспондент Би-Би-Си из Лондона позвонил мне и спросил:

- У вас есть записка Юровского?
- Есть.
- Она от руки?
- Нет.

- А, это очень жаль. Она на машинке?
- На машинке. И что же?
- Это очень жаль.
- Но там есть поправки собственной рукой.

— А, ну тогда это значительно меняет дело! — сказал англичанин. Видите, как дотошно они сейчас доискиваются истины. Хотя, должен вам сказать в подтверждение истины: все лежит на поверхности. Все лежит на поверхности. Сейчас вы это увидите.

Когда я получил записку Юровского и когда я снова перечитал показания свидетелей, которые давались Соколову, я обнаружил (товарищи дорогие, вы сейчас не корите меня жестоко: по вполне понятным соображениям, до того момента, когда будет принято то или иное решение по этому вопросу, вот здесь никаких подробностей последовать не может. Я могу сказать только в общем), из показаний свидетелей нескольких и того, что написано в записке, место, где лежат Романовы, устанавливалось совершенно точно. Совершенно точно. Оставалось его найти практически. Я вернулся в Свердловск. Мои товарищи, опытные геологи, мгновенно исследовали всю округу: в результате ужасающе трудной, тяжелой работы мы подошли к месту, на котором, по нашему убеждению, должна была находиться могила. Исследовали мы это место, а оно длиной где-то около ста пятидесяти метров, обычным примитивным геологическим приемом, как это делали в двадцатые годы геологи, когда у них не было никакого снаряжения. Остро заточенная водопроводная труба диаметром 6 сантиметров (или 7 см) очень тяжелой кувалдой в каждый метр заколачивалась в землю, порода вышибалась, и мы смотрели эту породу. В тот момент, когда начала попадаться порода не материковая, а перемешанная, мы стали забивать кувалды особенно тщательно, и были вознаграждены, потому что буквально на каком-то пятидесятом, шестидесятом ударе из трубы были вышиблены спрессованные кружки, такие колбаски земли абсолютно черного цвета и маслянистой на ощупь. Мы поняли, что мы у цели, потому что такое действие на органику производит серная кислота. Люди, которые работали со мной, знают это профессионально. Тогда в определенный

день, это произошло 30 мая 1979 года, ранним-ранним утром мы вскрыли это место, обнаружили хворост, обнаружили перемешанную землю, обнаружили палки и доски, и буквально на расстоянии семидесяти сантиметров от поверхности кто-то из них крикнул (не помню сейчас — кто): "Смотри, какая-то железяка". Это была не железяка, это была тазовая кость, сине-черного цвета. И стало ясно, что мы, собственно, у цели. Работать было очень тяжело. Работали мы археологически неточно, более того — даже безграмотно, но мы обязаны были это сделать, прошу нас понять правильно, потому что... Ну, что значит безграмотно? Чтобы производить такой раскоп с археологической точностью и последовательностью, существует целый ряд приемов, о которых мы, естественно, были осведомлены, но сделать мы ничего не могли. Урал — это все-таки Урал, 30 мая, поздняя весна, все мгновенно заливалось водой, мгновенно обрушивалась и раскисала земля, и поэтому работать нам было очень и очень трудно. Что мы обнаружили в обломе этой тазовой кости? Это был целый костяк, как выяснилось позже, по моему убеждению, принадлежащий Государю императору Николаю Алекс. II, там же находился его череп, и всюду, сколько хватало рук, вглубь и в стороны, мы насчитали более восьми костяков (может быть, девяти), стало быть, сделали мы вывод экстраполирующий, я думаю, что мы были правы, что все одиннадцать находятся тут. Уже не было никаких сомнений. Что подтверждало то, что мы нашли то, что должны были найти? Первое: пулевые удары в голову и калибр — 9 мм, 7, 65 и т. д., второе, мы нашли осколки от керамических банок с серной кислотой, которые были выписаны по требованию наркомпрода... третье: мы обнаружили, что в нижней челюсти слева Николая Александровича имеется золотой мост в шесть или в пять зубов (сейчас точно не помню), сделанный в совершенных традициях протезирования того времени. Из дневника Николая II этот факт удостоверен: "Целый день сижу у дантиста, дикая боль, все надоело" и т. д. И высокого качества серебряные пломбы в зубах, которые в то время умели делать. Кроме того, что у царя все зубы были

разрушены и в ужасающем состоянии, это тоже известно. Ну и конечно же и твердый череп, который мы обнаружили, после возвращения этих трех на место, это был череп Анны Степановны Демидовой, под головой которой лежал совершенно простой гребень, совершенно простой пятикопеечный гребень целлулоидный, а не черепаховый (целлулоид под черепаху), и зубы у нее были совершенно простые — стальные. В отличие от протеза, который был у царя. К сожалению, провести экспертизу тогда не удалось. Я приватно обращался ко многим своим знакомым намеками, полунамеками, но, как только люди догадывались, о чем идет речь, никто за это не брался. Время было тяжелое — 1979 год. Поэтому кроме фотографий и каких-то "вещей": волосы, некротизированная ткань, хорошо сохранился мозг внутри (он усох и стал объемом с крупное яблоко) — это все пришлось вернуть на место через год. Свое вторжение мы могли оправдать только одним: на кресте я вырезал слова из Евангелия от Матфея: "Претерпевший до конца спасется". Этот крест был опущен в могилу, и, таким образом, в то время мы сочли свою миссию выполненной.

Разумеется, была произведена подробная фотосъемка, разумеется, существуют четкие планы этого места, и теперь я хотел бы воспользоваться случаем — в вашем присутствии сказать следующее: я абсолютно убежден, что последнюю точку должно поставить в этой истории нравственное погребение казненных. Они не могут находиться в земле, как собаки, они были верующие люди, в конце концов, это те, кто стоял во главе России, это часть нашей истории, и относиться к ней с позиции скотов, товарищи, мы не имеем права. Я абсолютно убежден в том, что правительство наше сейчас должно принять нравственное решение. И я уже не говорю о том, что Англия этим всем взбудоражена, то, что до меня оттуда доходит, свидетельствует об этой взбудораженности, Елизавета II должна приехать сюда, и Михаилу Сергеевичу Горбачеву (я слышал в передаче Би-Би-Си) придется дать ответ на трудный вопрос английской королеве, придется ответить, как, когда и при каких обстоятельствах погибли ее родственники, где их могилы и можно ли их посетить. Так что на эти вопросы действительно

нужно отвечать. Я понимаю, какую ответственность я беру на себя, обнаруживая это место и показывая его нашим властям и соответствующей общественной комиссии, без которой этого просто не может быть. Но я убежден в том, что сегодня никакое правительство, в том числе и наше, не смогло бы сравнить с землей это, закрыть, потому что это акция, которая наказуется в пространстве и времени, и наказуется тяжело, я в этом убежден. Я убежден, что этого никто не сделает, но какое конкретно будет принято решение, это, так сказать, дело тех, кто осуществляет власть в нашей стране.

Вот, собственно, практически и все по поводу этих событий, о чем я хотел вам рассказать. Я хочу только сказать вам еще два слова: вы должны меня понять правильно, я стараюсь говорить без эмоций, но, видимо, я все-таки говорил эмоционально, чего делать, конечно, не следует, потому что вы — профессиональные люди, и вам нужны не эмоции, а факты. Историки всегда опираются на факты, я тоже опирался на них, но я не историк и поэтому в каких-то вещах может быть меня и "заносит", может, я экстраполирую какие-то вещи слишком широко, а этого не следует делать, но, вы знаете что: точка зрения историков заключается в том, что нельзя вырывать нити событий и людей, которые их совершают, эти события, участвуют в них, из контекста истории. Да, для истории, которая является для нас теперь конкретной и опирается на законы историзма, это так и есть, и я с этим не спорю. Но для меня, человека верующего, это не так, и для меня добро и зло сосредоточены в каждом из нас от Бога и дьявола, и вечная борьба этих двух начал — абсолютна, и поэтому я сужу тех, которые это делали тогда, не по законам того времени, а по законам сегодняшнего времени. Я хочу вам сказать, что для меня... я рискую сейчас провести определенную хромающую аналогию, очень страшную аналогию, но если вот так все объяснять, то тогда (давайте пока скажем мягко) тех, кто жег Смоленск, вешал людей на площадях Смоленска, тоже можно оправдать: они выполняли приказ, они служили своей родине и выполняли то дело, к которому их эта родина призывала, это ведь с н а ш е й точки зрения — они национал-социалисты, мерзавцы, а с их точки зрения негодяи и недочеловеки — это мы с вами.

Поэтому, кто прав? И есть вечная Истина, поэтому мы говорим: над всеми нами есть С о в е с т ь. И слово "совесть" вообще должно писаться через дефис: со-весть, т. е. нечто соединяющее совестливо всех нас в то, что находится н а д нами.

На этом я пока хотел бы закончить. Сейчас поступил первый вопрос, я сейчас на него отвечу, а потом давайте предоставим слово Генриху Зиновьевичу, и пусть он с точки зрения ученого, человека, который... я скажу вам еще одну правду: в значительной степени заставлял меня все это делать Генрих Зиновьевич, сколь ни странно, он об этом не знает, но когда я прочитал его монографию «Крах монархической контрреволюции в России», вы поймите, товарищи: в те годы! ведь это было написано не тогда, когда все можно писать, когда можно вот так разговаривать, почти не опасаясь, а это было написано тогда, когда вообще ничего делать было нельзя. Так вот та /пропуск в рукописи/ к Иркутску, где ждал своей участи Александр Васильевич Колчак, написана страстным и огненным пером, написана правда, которая меня потрясла. И я подумал, что если Генрих Зиновьевич, историк, конкретный человек, пишет т а к, то почему я должен быть меньше и хуже. Поэтому вы в этом частично виновны (обращаясь к Г. З).

Ответ на вопрос: "Возраст девочек".

Ответ: Старшей Ольге Николаевне — двадцать два, младшей — шестнадцать лет.

Вопрос: Каково родство Николая II с английским двором?

Ответ: Николай II — двоюродный брат короля Георга V, и, стало быть, Елизавета II его внучатая племянница.

Вопрос: Известны ли фамилии всех одиннадцати стрелявших?

Ответ: Абсолютно точно: Юровский, предположительно: Андреев, Якимов, они за это колчаковцами были расстреляны, несмотря на то, что они перешли на их сторону и сражались в армии Колчака против "красных". Предположительно: Ваган, предположительно, Никулин, хотя в "Воспоминаниях" эти фамилии пересекаются. Ермаков перед смертью, выступая с лекциями в 1952-ом году в Свердловске, категорически

настаивал на том, что он тоже принимал участие; Войков (?), по свидетельству Беседовского, сообщил ему в 25-ом году в Варшаве, что он тоже с т р е л я л. Алферьев, советолог, который опубликовал книгу «Письма царской семьи из заточения» в 70-м году или чуть раньше в Америке, в этой книге Алферьев утверждает, что стрелял в том числе и премьер-министр Венгерской Народной Республики Имре Надь, который в 56-м году был повешен в связи с мятежом будапештской тюрьмы. Эти люди все погибли страшно. Юровский умер в 36-ом году в кремлевской больнице от прободной язвы желудка, его дочь Римма находилась в концлагере. Белобородов, ... Голошкеин — расстреляны, Якимов и Медведев — расстреляны, Имре Надь — повешен, ну, и т. д., и т. д., и т. д. Одиннадцать человек в с е пока неизвестны.

Вопрос: Знал ли Ленин, Свердлов о намерении стрелять в царскую семью?

Ответ: Версия Алферьева — Ленин присутствовал на заседании ВЦИК, на котором Крестинский и Голошкеин, приехавшие с Урала, требовали смерти для всех Романовых и их людей, находившихся с ними, на что Ленин сказал: "Великая французская революция (это версия Алферьева, повторяю), казнив Антуанетту и Людовика, пощадила Дофина", и смерть детей, по его, Владимира Ильича, мнению, была бы негативно воспринята радикальными элементами всего мира и мест нарождающихся коммунистических партий. После чего Ленин повернулся и вышел, якобы. А ВЦИК единогласно проголосовал за расстрел. Но. Но по поводу Свердлова: мнение Ник. Алексеевича Соколова, что вдохновителем и организатором убийства царской семьи был именно Свердлов, кроме того, историк Розгон, Анатолий Розгон, сообщил мне буквально на днях, что в ленинградском архиве он прочитал «Воспоминания» Павла Быкова, в которых четко написано, что приказ о расстреле из Москвы поступил именно от Свердлова. То есть это уже документ даже с точки зрения историков.

Вопрос: /неразборчиво, что-то о разрубленности тел/.

Ответ: Нет, головы находились на своих местах, ничего расчленено не было.

Вопрос: Ответьте, кто конкретно из Романовых был расстрелян и кто такая Анна Степановна Демидова?

Ответ: Расстреляны были (кстати, Алферьев приводит список, якобы составленный Уралсоветом, но историки-профессионалы считают этот список /пропуск в рукописи/). Расстреляны были: Николай Александрович II, Романов, его жена Александра Федоровна Романова, их сын — наследник цесаревич Алексей Николаевич Романов, их дети — Ольга, Татьяна, Анастасия и Мария, лейб-медик Боткин Евгений Сергеевич, сын Сергея Петровича, больница которого стоит до сих пор; кроме того: Анна Степановна Демидова, сенная девушка, горничная, кроме того, повар Харитонов Иван Михайлович и лакей Алексей Егорович Трупп. Эти люди были расстреляны.

Вопрос: Почему следы пуль низко находились. Объясните, почему.

Ответ: Хорошо, что вы напомнили, спасибо. Следы от пуль находились низко, потому что стреляли непрофессионально. Хотя представьте себе, что комната, в которой расстреливали, — 25 квадратных метров, и в ней находилось одиннадцать человек, которых расстреливали, и одиннадцать человек, которые расстреливали, это была бойня, глаза — в глаза. Но стреляли плохо. Поэтому, скажем, Юровский, который выстрелил в Государя и в Наследника, Наследника потом еще двумя выстрелами пристрелил. Всех остальных лежащих пришлось добивать на полу, поэтому многие пулевые удары ниже, так сказать, обычного положения человеческого тела.

Вопрос: Вы так и не объяснили, почему выстрелы — на уровне пола.

Ответ: Вот, объяснил.

Вопрос: Извините, вы хотели объяснить, почему следы пуль низко... /Легкий смех в зале/.

Ответ: Эти вопросы правомерны.

Вопрос: Как вы относитесь к канонизации в Русской зарубежной Церкви семьи Романовых?

Ответ: Товарищи, здесь ужасающая вещь. Мне трудно об этом говорить. Каждый верующий православный человек знает, что Церковь русская должна быть Соборной, тогда она сильна, тогда она Христова Церковь. Наша Церковь разделена, у нас: Церковь за границей, возглавляемая своим митрополитом, и наша, возглавляемая патриархом Пименом. Она не соборна, не соборна она по поводу, во-первых, очень долгой истории обновленчества и т. п. (сейчас не место и не время об этом говорить), и не соборна она еще и потому, что в восьмидесятые годы все Романовы канонизованы Русской Церковью за границей, там построен специальный Храм, Храм Иова многострадального, потому что Государь император родился в этот день, день Иова многострадального. И, естественно, весь раздор сейчас — из-за этого. Я убежден в том, что Франко, который поставил стометровый обелиск, написав на нем: "Жизнь разъединила, но соединила смерть", — был абсолютно прав. Я абсолютно убежден в том, что белогвардейцы нравственнее нас. Простите. Потому что на Ольшанском кладбище в Праге они на часовне написали: "Павшим на поле междоусобной брани. Память их в род и род". Слова из псалма царя Давида. Смотрите, как они, и смотрите, как мы. Мы до сих пор не можем успокоиться. И мы до сих пор не можем признать — это б р а т о у б и й с т в е н н а я война, отвратительная и страшная. И я позволю сказать свою личную точку зрения, с которой вы вправе спорить, но я абсолютно убежден, что Гражданская война началась не по вине интервентов и белогвардейцев, а она началась 25 октября 1917 года, когда законное русское правительство было свергнуто большевиками, и был взят Зимний Дворец. Вот этот день и считается началом Гражданской войны. /В зале — бурные, продолжительные аплодисменты/.

Вопрос: Сын Николая II Алексей был болен гемофилией, нет ли в этом какой-то фатальности в истории?

Ответ: Фатальность в истории — это /пропуск в рукописи/, в истории есть некая детерминация, некое предопределение, по моему убеждению. Блаженный Августин, который рассуждает в своих трактатах о времени, говорит о том, что существует некая историческая прямая, как один из видов времени, и прошлого уже нет, а будущего еще нет, есть только то мгновение, которое вот сейчас "остановись, оно прекрасно", если прекрасно. Поэтому, что такое гемофилия наследника? Гемофилия передается по женской линии через поколение, через два, и, конечно, род Романовых, который, к сожалению, не совсем легитимно управляет Россией в определенных своих ветвях... Каких? Ну, вы все знаете историю декабря 1825 года, знаете, что Константин отказался царствовать /пропуск в рукописи/ наследником Цесаревичем, и если царствует при живом наследнике цесаревиче следующий великий князь, то это уже не легитимно, с моей точки зрения. Ну, и следующий момент: момент смерти цесаревича Николая Александровича, имеется в виду тот, который скончался в Ницце в 1865-м году, его невеста стала женой следующего наследника, который стал Александром III, и от них родился Николай II. Вы помните бесконечные дворцовые перевороты в российской истории. Естественно, что все это накаливало энтропию, и эта энтропия совершилась. Довершилась, вернее сказать. Поэтому предопределение в роде Романовых существовало, но будем помнить о том, что "претерпевший до конца спасется". И, как писал Пьер Жильяр в своем исследовании: "Я не знаю ни того, когда это будет, ни как это произойдет, но я абсолютно убежден, что придет такой день, когда они будут признаны на Руси нравственной силой". Будем надеяться, что такой день все-таки придет. */Аплодисменты в зале/.*

Вопрос: Не известно ли вам число расстрелянных большевиками в 17-ом — 21-ом году? */Смех в зале/.*

Ответ: Вы задаете трудный вопрос. Такой статистики нет. Но в этом году будет опубликован словарь Гиннеса, словарь рекордов, и вы все на русском языке, словарь 1988-го года, сможете прочесть, что в России, в советской, в СССР, кроме погибших в Отечественную войну, было уничтожено и умерло от голода, не по своей воле, естественно, 66 миллионов 700 тысяч человек. Думаю, что эта цифра говорит о многом. И, если мы зададим себе вопрос: по чьей вине эти люди легли в могилу, я на него отвечаю: не по вине бело-гвардейцев, эсеров, царя и прочее. Не по их вине.

Вопрос: Гелий Трофимович, вы сказали, что в нижней части стенок, у которых расстреляли Романовых, было много пулевых отверстий.

Ответ: Я ответил на вопрос: в них стреляли, когда они упали.

Вопрос: Кто сейчас глава дома Романовых и где проживает?

Ответ: Проживает по всему миру, где его конкретное место проживания — я не знаю, но дело в том, что последний глава русского императорского дома — великий князь Кирилл Владимирович, сын Владимира Александровича, сына Александра II. И этого человека зовут Владимир Кириллович — и вот он глава Российского царствующего дома сегодня. Он активно сотрудничает с остатками "белой" эмиграции, со стариками, которые еще продолжают носить свои "кубанки", свои погоны, свои кресты, свои награды. Вот, и тихо верит, что теперь если уж не на белом коне, то может быть приведет ему Господь вернуться и лечь в родную землю, и хорошо, если бы это совершилось бы на самом деле.

Вопрос: Вы хотели рассказать о представителях других национальностей, принимавших участие в убийстве царской семьи.

Ответ: Я сказал: Юровский — по национальности еврей, пятеро мадяров, остальные — русские. Легенда о том, что совершенно было ритуальное убийство, что подъехал какой-то "черный поезд", из которого /пропуск в рукописи/ и прочее... Друзья мои, это галиматья все, недостойная интеллигентных людей. Не надо

обвинять евреев в том, в чем они совершенно не виноваты. Образовалась политическая ниша, в которую самые угнетенные национальности царской России хлынули, естественно, эти евреи были не евреями прежде всего, а большевиками, давайте будем помнить об этом, и речь идет именно о том, что именно б о л ь ш е в и к и стреляли и большевики убивали. Какой они были при этом национальности... Ей Богу, /пропуск в рукописи/ или иудеи, но везде и во всем Христос. К этому так надо относиться. Это мое глубокое убеждение.

Вопрос: Скажите, что вы думаете о расстреле князя Сергея и других на Урале. И о расстреле четырех князей.

Ответ: Ну, что я могу об этом думать? Великий князь, наш однодневный император Михаил... Ну, вы спрашиваете прежде всего о Сергее Михайловиче. Ну, он вместе с остальными, вместе с Елизаветой Федоровной, сестрой императрицы, был уничтожен на Верхне /пропуск в рукописи/ шахтах в Алапаевске, по одной версии — он был единственным, кому выстрелили в спину, а по другой версии — вообще всех живыми сбросили в тридцатиметровые шахты, и окрестные крестьяне показывали потом следователям, что в течение трех или четырех суток они слышали песнопения из-под земли. А когда "белые" извлекли трупы Константиновичей и Елизаветы Федоровны из-под земли, они обнаружили, что Елизавета еще три или четыре дня помогала тем, кто еще был жив, пытаясь их перевязать и как-то еще спасти. Все они погибли вот таким образом.

Это по поводу Сергея Михайловича. По поводу Михаила Александровича... Михаил Александрович был задержан в гостинице купца Королева в Перми, перевезен в Мотовеевку на медеплавильный завод, и, по одной версии, сначала Михаил, его секретарь Джон были убиты, а потом брошены в медеплавильную печь. А по другой версии — брошены в медеплавильную печь живыми. Что было на самом деле, я думаю, мы уже не узнаем, но вот такие версии существуют.

И последнее — четверо великих князей, имеются,

конечно, в виду нумизмат Георгий Михайлович, историк Николай Михайлович, великий князь Павел Александрович, чей портрет работы Серова висит в Третьяковской галерее и чей сын Владимир Павлович Палей был расстрелян вместе с княгиней Елизаветой Федоровной, женой Сергея Александровича, на Сениченских шахтах и сброшен в шахту; и кто-то из Константиновичей. Не рискую назвать по имени, потому что не помню.

/Голос из зала/: А кроме Дмитрия и не было никого.

Ответ: Да, Дмитрий Константинович, которого отпустил Ленин по просьбе Горького за границу.

/Из зала/: Он был сослан в Ташкент, его уже не было в живых, он умер.

Ответ: Я считал, что он расстрелян. Как хорошо общаться с историками. Вы в данном случае забываете в меня хороший ржавый гвоздь, большое спасибо: я исправлю то, что я написал.

/Из зала/: Кстати, Палей не считался великим князем, он был князем императорской крови.

Ответ: Тоже совершенно правильное уточнение. Вы очень точные люди. Предоставим слово Генриху Зиновьевичу.

Вопрос: Я хотел бы уточнить, какой преобладающий мотив в ваших исследованиях: то ли христианское милосердие к Николаю и его семье, то ли какие-то симпатии к монархическому прошлому. /Смех в зале/.

Ответ: Вопрос задан, на него нужно отвечать. О монархических симпатиях: у меня нет антипатии к монархии; я вижу цивилизованные государства типа Англии, где монарх — символ, определенный символ страны и народа, и не вижу в этом ничего плохого. Что касается России, то это дело России, и трудно сейчас говорить, как могло бы быть, или как должно было бы быть (сослагательное наклонение в истории — дело дурное, заниматься этим вряд ли стоит).

Теперь по поводу того, почему я этим занялся: естественно потому, почему вы сказали, может быть даже и во-первых поэтому; потому что христиане

должны помнить христиан, сочувствовать и помогать им. Таков закон. Я занялся этим еще и потому, что каждый момент в истории есть достояние народа, и никто не имеет права лишать этот народ этого достояния. Вот такова моя позиция.

Вопрос: Естественно, что в связи с вашим заявлением возникнет целое движение за правильное, православное погребение царской семьи, как вы отнесетесь к этому движению?

Ответ: Я к этому движению отнесусь с религиозным восторгом. Я убежден, что это необходимо сделать. Если бы была моя воля, я похоронил бы все одиннадцать тел (это уже не тела, конечно, это священные мощи), я похоронил бы их в Петропавловском соборе. Я убежден, что советская власть от этого не рухнет, а некоторое паломничество к этому месту, которое несомненно будет, это паломничество — очищение и катарсис. И ничего дурного в этом нет. В конце концов, если мы будем настаивать на "завоеваниях" Гражданской войны, то мы рухнем в помойную яму. Все, что я могу сказать. */Аплодисменты/.*

Вопрос: Я так понял вас, что Юровский не дал сбросить тела в шахту, потому что рядом оказался какой-то крестьянин. А что, нельзя разве было этого крестьянина убрать? Как свидетеля? Это первое.

Ответ: Я сразу отвечу. Я понимаю. Но давайте все же будем судить о Юровском объективно и нравственно: Юровский — палач, но Юровский обладал определенными чертами нормального человека, например, поваренка Седнева он приказал увезти за два или за три часа до расстрела, мальчика он тоже мог бы убить, но он этого не сделал, и почему обязательно надо убивать крестьянина, он же не садист. Юровский не садист — он убежденный большевик. */В зале — смех. Аплодисменты/.*

Вопрос: Я понимаю так, что не один вы принимали в определении места захоронения этих останков царствующего дома, и насколько это место неизвестно сейчас всей остальной публике?

Ответ: Отвечаю: когда я первый раз оказался в этих местах, и когда мы нашли пока только открытую шахту, прошло, наверное, суток двое или трое; но, когда через год, как на работу, я приезжал туда, я, знающий человек, имеющий топографический план, искал это место по два, по три часа. Найти это практически невозможно.

Второе: само захоронение — его тоже найти не просто. Очень не просто.

/Из зала:/ Кроме вас, простите, участие в раскопках принимали еще люди.

Ответ: А это — надежные люди, это — честные люди.

Вопрос: Вы сказали о кресте, нет, об обелиске. Вы вспомнили надпись на храме в Варшаве. Все было поставлено через многие годы...

Ответ: Вы правы, но поставили все же. Правда.

Вопрошающий: Да, поставлено, но через многие годы.

Ответ: Ну, так дай Бог и нам через многие годы поставить, я об этом и говорю. */Смех в зале/.*

Вопрос: Чем вы объясняете то, что вам удалось в документах найти то, что не смогли найти ваши предшественники? Соколов и все, кто работал с ним? Что вас натолкнуло? Эти же документы могли видеть и другие.

Ответ: Этими документами другие не владели. Соколов Юровского допросить не смог. Вот если бы он допросил Юровского, он бы владел всем. Я уже сказал, что Соколов находился в плену православно-христианского догмата. Мы во многом можем предъявить счет Юровскому, но ведь он только исполнитель, приказ последовал из Москвы. Я убежден, что даже если мне сейчас не поверят, то можно извлечь эти документы, в частности, «Воспоминания» Быкова, из ленинградского архива, а это уже — документ, и тут никуда не денешься. И здесь в записке Юровского сказано четко: "По аппарату из Перми пришел приказ об истреблении Романовых". Только сопоставляя показания Юровского и те показания, которые добыл Соколов, можно отыскать истину. А у Соколова не было их.

Вопрос: Александр Яковлевич до вас никому не давал эту записку?

Ответ: Александр Яковлевич до меня дал эту записку Музею Госбезопасности Ленинграда */смех в зале/*, он дал эту записку... */пропуск в рукописи/*, эту записку он дал еще и еще кому-то. Примерно, пятерым. Если вы откроете труд Касвинова, то там в примечаниях написано: "Я располагаю этой запиской". Я полагаю, что на вопрос ответил.

Вопрос: Романовы были приговорены не однажды, народниками, эсерами и т. д. Николай II, "кровавый", должен был получить возмездие. Расстрел других членов семьи и прислуги — на совести у большевиков. Ваше мнение о расстреле самого царя?

Я считаю его */расстрел/* справедливым. И тем не менее прошу почтить наших усопших вставанием... */Смех в зале/*.

Ответ: Кого вы просите почтить вставанием, я не очень понял. Давайте я сначала отвечу, а потом мы этот вопрос о вставании ритуально решим.

Читает записку дальше: "Пишу искренне, потому что я патриот и верующий". */Смех в зале/*.

Товарищи студенты, давайте отнесемся к этому серьезно. Не хотелось бы в данном случае над этим не только смеяться, но даже улыбнуться: это все от чистого сердца написано. По поводу Николая II "кровавого": Николай II "кровавый" царствовал 23 года, за 23 года войсками на Ходынке, на Дворцовой 9 января и по всему Петербургу, на Ленских приисках, в Иваново-Вознесенске, в Костроме и проч. — убито в общей сложности 15 тысяч человек. Николай II не подписал ни одного смертного приговора. Его залихватские надписи: "Ай да молодец" — по поводу расстрела — и другие в этом духе, они свидетельствуют о его безнравственности в определенном смысле. Это историческая правда. Но какие еще претензии можно предъявить Николаю II в связи с этим, за что его можно расстрелять? И вот, когда автор предисловия книги Быкова «Последние дни Романовых» писал: "Суд

над Романовыми есть проформа. Суд над Романовыми есть некий символ, потому что никакого суда мы, большевики, соблюдать не должны, никаких реалий буржуазного суда нам не надо. Мы знаем, что он негодяй, и мы его казнили, коронованного палача, наравне с любым бандитом, и мы абсолютно правы". Вот позиция, так сказать. По поводу вставания: наверное автор записки хочет почтить память всех жертв Гражданской войны? Если зал не возражает, давайте почтим память жертв Гражданской войны. */В зале пререкания, возражения, голоса: "не надо этого делать", "перебор, слишком", споры, "у вас — свои симпатии, у нас — свои" и тому подобное. В зале волнение. Небольшое./*

Вопрос: Был вопрос; не начнется ли движение за захоронение императорской семьи. У меня конкретное предложение: здесь, сейчас, сегодня это движение начать. */Смех в зале/*. Я предлагаю первый шаг к этому движению, сейчас такой исторический момент, который мы упустить не можем...

/Конец пленки/

Слово предоставлено Генриху Зиновьевичу

Я всегда с уважением и пониманием относился и отношусь к тому, что здесь было сказано Гелием Трофимовичем Рябовым. Мы с ним много говорили об этом, у нас было много общего, но были и расхождения. Выступавший сейчас заведующий кафедрой тов. Устинов тоже прав в том, что мы здесь как-то должны все-таки сдержать свои эмоции и постараться не только осудить, так сказать, это "событие" (это, конечно, ужасное и трагическое событие), но мы как историки должны кроме осуждения попытаться понять, вернее, объяснить то, что произошло. Это требует общего спокойствия. И я думал, каким образом мне построить свое выступление после этой взволнованной и искренней речи Г. Т. Рябова. Я сидел и записывал некоторые

его положения, высказывания, утверждения. И по каждому записанному положению я хотел бы высказать свое мнение, хотя это совсем не будет означать то, что я будто бы оправдываю происшедшее в Екатеринбурге, июльскую ночь 1918 года. Я записывал так: "Вопрос о личности Соколова". Мы об этом тоже много беседовали. Личность Соколова здесь выглядит, в интерпретации Гелия Трофимовича, как личность некоего честного, бескорыстного монархического рыцаря, рыцаря монархической идеи, который вел и делал дело, как юриста, который вел свое исследование исключительно исходя из юридических принципов, не имея никаких других планов и замыслов. Мне кажется, что этот момент не совсем верен. До Соколова эту работу вели два следователя — Намёткин и Сергеев. Оба были устранены. И Сергеев даже впоследствии был убит. Колчаковцами, как мне кажется. Может, я что-то путаю, но то, что он был убит, это правда. Соколов был назначен лично Колчаком, и вел свое расследование непосредственно под прямым кураторством колчаковского генерала Дитерихса. Это ярый монархист, человек очень жестокий, антисемит, и он опубликовал расследование Соколова еще до публикации самого Соколова. И его книга на матерьяле Соколова (у Соколова это меньше) пронизана зоологическим антисемитизмом. Если говорить о Соколове, то мне кажется, что он вел свое расследование, руководствуясь какими-то определенными политическими расчетами, а не только юридическими. Этот расчет ему был "продиктован" и Колчаком, и Дитерихсом и состоял в том, чтобы изо всех сил скомпрометировать и революцию, и большевизм. Это была главная задача Соколова. И он вел дело под этим углом зрения. Второе замечание — было сказано, что, "находясь в Екатеринбурге, под охраной екатеринбургских рабочих, Романовы испытывали ужасные страдания, мучения и издевательства", но есть свидетельства, которые опровергают это. Во-первых, есть дневник самого Николая II, где никаких записей подобного рода нет. Можно сказать, что он опасался какой-то проверки, но я сам нашел несколько писем Боткина в архиве Екатеринбурга к своим родственникам (значит, они были не без права переписки), писал он вот что: "Жизнь наша

здесь /в Екатеринбурге/ вполне сносна". Никаких жалоб на какие-то ужасы, издевательства и оскорбления в этих письмах нет. Более того, один из участников расстрела, Павел Медведев (он попал впоследствии в руки колчаковцев), был ранен и лежал в госпитале, в то время одна из сестер стала рассказывать о том, как большевистская охрана издевалась над Романовыми в доме особого назначения. И Павел Медведев, хотя он и знал, чем это может кончиться, сказал (и этому есть тоже свидетельства): "Это неправда, я там был, они содержались в тех условиях, которые не были невыносимыми". Это обстоятельство, конечно, не исключает, что были какие-то инциденты, но мне кажется, что вся сумма фактов говорит, что до этого ужасного и кровавого расстрела никаких издевательств со стороны охраны не чинилось. Другой вопрос — это о Юровском. Тут ему была дана в общем-то верная оценка. Юровский был большевик, и он считал своим революционным долгом выполнить поручение, которое ему было дано. Это так было. У этих людей такой /пропуск в рукописи/, который нам сегодня понять нелегко. Но это был, действительно, человек честный. Вот по поводу бриллиантов. Но, кстати, в связи с этим: этот мучительный расстрел, который испытали все Романовы, взрослые и дети, о котором сегодня действительно невозможно спокойно говорить, это верно; вот эти бриллианты, которыми они обернулись, они стали своего рода панцирем, от которых отлетали пули. Юровский потом говорил, что, если бы не это, и смерть была бы легче. Я говорю то, что я читал. Но я это говорю не для оправдания этих людей. Это — штрих, о котором я читал. Что же касается бриллиантов, я хочу рассказать маленькую историю, описанную Юровским и еще одним участником этого "дела", чекистом /пропуск в рукописи/: все эти бриллианты были собраны, уложены в мешочек и закопаны в подвале одного из домов в Алапаевске. В 1919 году, когда "красные" вернулись в Екатеринбург, на Урал, бриллианты были откопаны и сланы в так называемый Гохран (было такое учреждение). Это подтверждают все участники событий. Теперь вопрос об этой расстрельной команде. К сожалению, разные источники называют нам разные имена. И мы до сих пор не имеем четкого списка

участников этой расстрельной команды. Как уже про это было сказано, сам Соколов составил список на 164 человека, разделив его на две категории: интеллектуальные убийцы и физические убийцы. В этом списке 164 человека. От Свердловского до последнего шофера, все эти люди должны были быть обнаружены и переданы в руки колчаковского следствия. Вот попался Медведев и еще /пропуск в рукописи/, все они были допрошены с пристрастием, и судьба их либо неизвестна, либо известно, что они погибли в колчаковских застенках. Не нужно думать, что застенки чекистские были хуже, чем белогвардейские. Я думаю, что здесь было много общего. Но это опять не для оправдания того, что произошло в Екатеринбурге.

Главный вопрос, мне кажется, это не о том, как это было сделано, здесь нет никаких вопросов, и интерес к этому несет в себе, мне думается, даже что-то болезненное; главный вопрос для историка — это почему и кем было принято это решение. Вот главный вопрос, на который мы сегодня не можем дать ответ. Это свидетельство Алферьева, которое здесь было приведено, не может, мне кажется, считаться свидетельством. Потому что сам Алферьев никаких сносок не дает, и мы вообще не знаем, кто такой Алферьев. Кроме того, мне кажется, что это свидетельство не верно и потому, что оно ставит Ленина в какое-то не свойственное ему положение. Мне кажется, что не таков был Ленин. Если бы Ленин считал, что их не нужно расстреливать, этого бы сделано не было. Не нужно вообще, я позволю себе сейчас высказать мысль, которая может быть не встретит вашей поддержки, но все-таки я ее скажу: я вижу в этом попытку вывести Ленина из общего круга людей, которые принимали решение, и свалить всю ответственность на других людей, которые ему, якобы, противостояли. Мы раньше говорили, что Ленин был окружен шпионами, у нас так получалось, шпион Каменев, Бухарин, Зиновьев и т. д., а сейчас у нас получается, что Ленин якобы был окружен какими-то там масонами, это же все, товарищи, чепуха. Какие же у нас имеются свидетельства о том, где было принято это решение? Я считаю, что два свидетельства: это упомянутая здесь уже записка Юровского, которая

начинается: "16 июля в 6 часов вечера из Перми была получена телеграмма об истреблении Романовых". И вечером Голошекин отдал распоряжение о приведении его в действие. Эта записка Юровского никакая не загадочная, она имеется в архивах, написана она была для Михаила Николаевича Покровского в 20-м году, имеется автограф /пропуск в рукописи/, который детально и пунктуально переписал эту записку, с одним только изменением: там сказано в начале: "16 июля в 6 час. вечера из Перми была получена т е л е ф о н о г р а м м а об истреблении Романовых". Там — телеграмма, а в данном случае телефонограмма. Но это еще не главное. Главное, что в 34-м году, об этом не говорилось еще, в Свердловске состоялось секретное совещание по вопросу о расстреле Романовых, они знают, чем это было вызвано, имеется стенограмма и выступление самого Юровского. Довольно развернутое выступление, в котором он говорит, что связь с Центром о судьбе и положении Романовых — осуществлялась. Она была непрерывно. Так он говорил. Но никакого упоминания о телеграмме из Перми, или телефонограмме, в этом его выступлении нет. Второе — это дневниковая запись Троцкого, сделанная в 32-ом году, он пишет: "Я вспоминаю, когда я в августе месяце приехал в Москву, в Кремле видел Свердлова, он сказал мне, что Екатеринбург сдан. Я спросил: "А как же Романовы"? Он ответил: "Они расстреляны". "Все"? — спросил я /т. е. Троцкий/. Он сказал: "Все". Я спросил: "А кто решал"? И Свердлов, якобы, ему ответил: "Мы решали это здесь. Ильич считал, что они не должны попасть в руки белых", и т. д. Ну, и эта запись, она порождает некоторые сомнения, потому что позднее он внес еще одну запись, воспользовавшись книгой бежавшего из Советского Союза дипломата Беседовского, там было сказано, что вопрос о решении расстрела Романовых решал Сталин, и Троцкий тут же внес эту запись в свой дневник. Я вам рассказываю все, как оно есть, не делая никаких выводов. Эмигрантский историк Мельгунов, который, как мне кажется, написал самую лучшую книгу об этом под названием «Судьба императора Николая II после отречения», там разбирает всю сумму фактов, которые у него есть, и приходит к выводу, что

мы сейчас не можем считать, что решение о расстреле Романовых было принято в Центре. Нет таких прямых свидетельств. Скорее всего, считает он, это было решение Уралоблсовета. Вот все, что имеется по этому вопросу о том, где и кем было принято это решение. Я никакого вывода не делаю, а говорю только то, что мне известно. Теперь еще один интересный момент, который мне надо было сказать раньше, — по поводу зверских издевательств над семьей Романовых во время их пребывания в тюрьме, в доме Ипатьевых. Есть интересное свидетельство чекиста Родзинского о том, что еще до расстрела, за несколько будто бы дней, было предложено всем слугам покинуть этот дом Ипатьева. Никто из них, к их чести, этого не сделал. Еще один и последний вопрос, я не буду злоупотреблять вашим вниманием. Вопрос о суде над Романовыми. Товарищи, я сам видел протоколы ВЦИКа и Совнаркома за январь и апрель 18-го года, в которых зафиксирован вопрос о необходимости суда и подготовки суда над Романовыми. Больше скажу: в протоколе ЦК от 20 мая 18-го года сказано: обсуждался вопрос о Романовых, решено ничего не предпринимать. Все-таки, я думаю, я убежден в этом, что если бы не подход этих-то чешских войск и Сибирской армии к Екатеринбург (мы не можем этого сбрасывать), и мне хочется верить в то, что они не погибли бы такой страшной смертью, какой они погибли. Верно, конечно, что эвакуация из Екатеринбурга была проведена в полном порядке, есть свидетельства о том, из Екатеринбурга ушло 900 вагонов, но вопрос-то в том, может быть их можно было и увезти, но я думаю, что уральцев преследовал страх, они полагали, что каким-то путем попадут в руки противника, и страх ответственности (мы должны понять и их, их мышление), он сыграл свою роковую роль. Все, что я хотел сказать.

Вопрос: Вы разделяете точку зрения Гелия Трофимовича по поводу октября?

Ответ: Это было сказано по поводу начала Гражданской войны. Я не разделяю этой точки зрения. Я кратко скажу, как я понимаю этот вопрос: Россия шла к Гражданской войне постепенно. Корни Гражданской войны заключались не в "октябре", корни Гражданской войны

лежали еще в дофевральском царском периоде, именно там та сила, зубчатая сила, именно там скопилась ненависть народная к господствующим классам /разговоры в зале/, к помещикам, к капиталистам, к царю, которую развязала и выпустила наружу Октябрьская революция. /Шум и разговоры в зале. Есть голоса, не согласные с Генрихом Зиновьевичем. Шум нарастал, и некий административный голос произнес: "Товарищи, я обращаюсь к вам с просьбой понять, что здесь идут з а н я т и я, а не какой-то политический дискуссионный клуб, если вам не нравится, тогда выйдите, не мешайте проводить занятия. Не срывайте занятия". Шум постепенно утих/.

Вопрос: Вот говорили, что Николая звали "кровавым", а кто его собственно так назвал? Откуда этот э п и т е т?

Ответ: Я думаю, что он вышел из народа, и не потому, что он повесил 15 тысяч или 10 тысяч, не нужно забывать, что Октябрьской революции и Февральской революции предшествовала три года Мировая война, империалистическая война, где было убито миллионы людей. Думаю, что это тоже нельзя сбрасывать со счета. Мы как-то забываем это и смотрим на прошлое сквозь призму сталинизма, всего того ужасного, что было...

Вопрос: Было решение о расстреле Романовых, а вот было ли личное приказание Свердлова? Доказано ли это документально?

Ответ: Нет. Не доказано.

Вопрос: Сколько человек заседало во ВЦИК и известны ли их фамилии?

Ответ: Мне известны фамилии людей, президиума ВЦИК, который 18-го июля утвердил решение Уралоблсовета о расстреле Николая II. Их было, по-моему, человек семь. Я всех не вспомню, это: Свердлов, Теодорович, Мещеряков, Розенгольц, Розин, и всех я не помню.

Вопрос: Сколько невинных было расстреляно за семью Романовых?

Ответ: Очень много было расстреляно и виновных, и невинных. Я думаю, что следствие, которое вели колчаковцы, оно не было таким голубым.

Вопрос: Если можно, уточните, почему большое количество драгоценных камней было у заключенных, почему они не были изъяты до казни?

Ответ: Дело в том, что Романовы из Царского Села вывезли огромное имущество, видимо, никаких обысков там не было, что тоже свидетельствует о каком-то определенном режиме, и обнаружилось это только после того, как (им же сказали, что ночью... что в ночь с 16 на 17 июля их должны куда-то перевезти, что какое-то нападение ожидается). Они все оделись, видимо, все эти, которые были на девочках и на остальных женщинах, они их надели, они были уже наготове. И вот, когда эта страшная история у костра происходила, вот тогда это все и обнаружилось.

Вопрос: Вы сказали, что Соколов вел следствие по заданию Колчака, следствие велось с обвинительным уклоном, с целью компрометировать большевиков. Что же их еще компрометировать, когда они уже себя скомпрометировали? В ужасном преступлении? Цареубийстве? Ответьте, пожалуйста, на это замечание.

Ответ: Мы сейчас говорим о самом факте расстрела. Но Соколов доказывал издевательства, оскорбления, унижения, которые, якобы, были со стороны охраны и большевиков во время их пребывания в тюрьме. Вот о чем я говорил. Факт расстрела — хотим мы этого или нет — это политическое убийство, а действия в тюрьме, издевательства над арестованными — это уголовщина.

Вопрос: Такой вопрос к вам не как к историку, а как к человеку: как вы оцениваете убийство детей в присутствии родителей? Это не есть издевательство? Это не есть ли вершина, до которой может пойти вообще садизм? Вы согласны с этим?

Ответ: Да, да. С этим я согласен.

Вопрос: Скажите, какова судьба, куда исчезли, была квартира Соколова, где лежал подлинник дел — семь папок, куда все исчезло?

Ответ: Она /квартира/ была обокрадена.

Вопрос: Что известно о причинах кражи и кто обокрал?

Ответ: Я точно сейчас не могу ответить на этот вопрос, но знаю, из книги двух английских авторов, Саммерса и Мэнголда, «Дело о царе», которые очень внимательно расследовали это дело, эти материалы Соколова, которые, как они утверждают, имеются в каком-то американском архиве, не помню в каком, они там видели это досье в подлиннике. Но что интересно, они вообще пришли к выводу, что все это следствие и выводы его были фальсифицированы. Еще хочу сказать вам доверительно, чего я сам не понимаю, но в одном из архивов (нашем архиве) я видел материалы следственного дела Соколова. Может быть это еще один экземпляр?

Голос из зала: Дело в том, что в библиотеке Гарварда находится копия, принадлежащая одному журналисту, который сопровождал Соколова.

Г. З.: Это Вильтон, наверное.

Из зала: Да. А подлинная находилась в квартире и исчезла. Вам известно что-нибудь об этом?

Г. З.: Нет.

Из зала: А то, что вы видели в нашем архиве /доверительно/, — это подлинник?

Г. З.: Это напечатанный экземпляр. Я смотрел на него внимательно, мне сложно было определить, какой это экземпляр. Это — на хорошей бумаге, но определить нельзя. Думаю, что это не подлинник. Думаю, что этого просто не может быть. Возможно, это попало к нам из Пражского архива.

Спасибо вам за внимание.

Из частного письма

...Только что вернулся с молебна царственным новомученикам и пишу, как говорится, по "горячим следам". О молебне я узнал по Би-Би-Си в религиозных передачах. Сначала в одной из них было передано интервью со священником, имя и фамилию которого я не запомнил. Он говорил от имени комиссии, которая, как я понял (но это не

было четко выражено) создана в целях христианского захоронения найденных останков царской семьи. Священник говорил, что они хотят отслужить молебен где-нибудь на открытом воздухе, в каком-нибудь городском парке или сквере, так как храма им не предоставляют. В следующей передаче тем же священником было заявлено, что молебен 4/17 июля будет отслужен в 9 часов утра на территории Донского монастыря (где и могила св. патриарха Тихона). И вот сегодня, взяв двух дочек, Надю и Настю, я поехал в этот монастырь. Внутренний вид Донского монастыря, надо сказать, весьма таинственен из-за, как я думаю, леса надгробий, свезенных туда с разных разрушенных кладбищ, причем, по-видимому, в большинстве случаев, если не во всех, останки, покоившиеся некогда под этими надгробьями, остались на прежнем месте или же вырыты и выброшены. И вот я вижу, что из-за густых тенистых деревьев, обветшалых уже построек и этих надгробий появляются с разных сторон люди и собираются вместе у церкви. В стороне незнакомый священник одевает подрясник и епитрахиль. Вижу человек 5 с духовыми трубами. Вся группа (по моей оценке, человек 300, а может быть 400) движется среди надгробий к той части внутренней стены, где установлены снятые некогда с храма Христа Спасителя горельефы. Надо сказать, что место для молебна выбрано как нельзя лучше — напротив горельефа, изображающего благословение преп. Сергием Радонежским вел. кн. Димитрия Донского. Прямая фигура преп. Сергия, стоящие с ним рядом монахи и склонившиеся воины как бы отчасти дублируют то, что происходит сейчас возле стены. Появляется довольно большое трехцветное знамя Российской империи; оркестр начинает играть сначала «Как ныне собирается вещей Олег...» с переходом в «А ну-ка музыка, играй победу...», а затем «Боже Царя храни...». Раздают свечи (даром). Отмечаю, что свечи чисто восковые, в отличие от суррогатных, продаваемых обычно в храмах. Появляется милиционер в чине майора и женщина в милицмейстерской форме. Некто в штатском через мегафон кричит: «Граждане, пожалуйста, разойдитесь. Ваше собрание не санкционировано». Кто-то вступает с милицией в спор. Призыв разойтись монотонно повторяется. Тем временем

устанавливают деревянную икону св. муч. имп. Николая. На иконе Государь изображен в военном мундире, поверх которого царская /1 сл. нрзб./. Также устанавливается деревянная икона св. патриарха Тихона и св. Иоанна Кронштадтского. В руках держат икону царственных новомучеников на картоне, такую, какая была приложена к службе царственным новомученикам. Поются тропари: общий св. новомученикам и св. царственным новомученикам. На ектеньи поминают: "Государя нашего Владимира Кирилловича, Государыню нашу Марию Владимировну, Государя нашего Георгия Михайловича и высокопр. митр. Виталия, главу Зарубежной Церкви". Многолетие — им же и "всем истинным христианам". Молебен с водосвятием. После молебна целование креста, иконы св. муч. имп. Николая, окропление водой и елеопомазание. Всего два священника и дьякон. (Еще один дьякон не служил). Оба священника, как мне сказали, из ИПЦ. Один точно оттуда: о. Алексей Власов. Другой — о. Вадим. Дьякон — о. Дионисий. После молебна проповеди. Говорили: о. Вадим, о. Дионисий и не служивший дьякон о. Олег Станаев. Последнего немного знаю. В настоящее время за штатом. Организовал одно время воскресную школу для детей при религиозном самиздатском журнале «Амвон». Первые две проповеди были хорошие и трогательные, а третья (о. Олег) — замечательная. В общем, говорили о том, что кровь мучеников — это победа Церкви, а не поражение, что не надо ничего и никого бояться, кроме Бога, и воздавались большие хвалы в адрес Зарубежной Церкви. Милиция молчала. Но после молебна снова заиграл оркестр: «Олег...», «А ну-ка музыка...», «Боже Царя храни...» и предложения разойтись возобновились. Кроме того, была сделана угроза, что "устроители ответят в соответствии с указом" (видимо, есть указ о недопущении несанкционированных митингов). Никто, однако, не обращал внимания. Возле входа в спальню св. патр. Тихона была отслужена панихида по всем невинно пострадавшим. Да, забыл сказать, — молитвы после молебна те, которые в службе св. царственным новомученикам, т. е. покаянная молитва и молитва святому царю мученику Николаю. После панихиды предводительствуемые флагом и с оркестром в

арьергарде (играющим все тот же ассортимент) все двинулись к выходу и, о ужас! — заперли проезжую часть улицы, на что в мегафон слышались яростные крики "освободить проезжую часть", что и было исполнено. Но никаких арестов не было. Духовенство уехало на автомобилях, а мы разошлись. Один знакомый старик мне рассказывал, как майор возмутился гимном, а этот старичок уговаривал его: "Ну, уж потерпи". "Да как же терпеть-то: у нас устав". "Да ведь и устава скоро не будет и придется тебе на пенсию". Я в свою очередь был свидетелем дискуссии молодых людей с двумя женщинами из «Памяти». Молодые люди укоряли их в том, что они, называя себя христианками, почитают и большевизм. Не расслышал, что те отвечали...

Стефан.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Текст выступления Гелия Рябова в Историко-архивном институте и последовавшего за ним обсуждения мы печатаем по записи, сделанной, очевидно, одним из слушателей, которому мы чрезвычайно признательны за труд, позволяющий ощутить атмосферу дебатов широкому кругу читателей. Мы не собираемся "корить жестоко" Гелия Трофимовича, хотя, конечно, всякая таинственность исключает историческую точность, на которой как будто настаивают строители соборья. И пока не развеется эта таинственность, тень скепсиса в отношении открытия Гелия Рябова неизбежна.

Н. Росс, составитель книги "Гибель царской семьи" (изд.-во «Посев», 1987 год), а также и автор предисловия к ней, дважды выступал в «Русской Мысли» (5 мая и 7 июля 1989 г.) со статьями по поводу открытия Гелия Рябова. Мы думаем, что при настоящем положении дел его осторожность оправдана. И будем счастливы, если дальнейший ход дела покажет, что колебания наши были напрасны. К сожалению, мы не знаем, как идет, и привела ли к чему-нибудь, работа общественной "Комиссии по вскрытию мест захоронения и исследованию предполагаемых останков членов императорской семьи", об учредительном заседании которой в своем 29 номере сообщила «Экспресс-хроника».

Михаил НАЗАРОВ

ЗАДАЧА ДЛЯ СТАЛКЕРА: "ПЕРЕСТРОЙКА"

I

О том, что происходит в Советском Союзе и называется "перестройкой", можно писать по-разному.

Можно, например, взять точкой отсчета признаки правового государства и утверждать, что существенных перемен в СССР не произошло; и не произойдет, поскольку партия настаивает на реформах "в рамках социалистической системы". Что происходит очередной обман народа и партия лишь хочет заставить людей лучше работать. Что ничего не изменится, пока существует однопартийная диктатура, ее монополия на средства информации и т. д. — можно добавить к перечню этих условий много других, столь же правильных, сколь и часто повторяемых.

Однако повторять лишь правильные перечни все же скучно. Время от времени хочется всмотреться в процесс "перестройки" и с другой точки зрения: написать не о том, чего не происходит, а о том, что происходит. Попытки такого рода я уже предпринимал (см., напр., "Посев" № 3 1987; "Вестник РХД" № 150). Эта статья — как бы продолжение тех размышлений, все еще не очень популярных. Однако, думается, это не должно препятствовать их высказыванию: даже спорная гипотеза может полезно оттенять суть бесспорных явлений. Для лучшего понимания дальнейшего сначала вкратце повторю основные тезисы предыдущих статей.

Они исходили из предпосылки, что, конечно, только с независимой от партии активностью общества связаны надежды на оздоровление страны. Но поскольку в процессе перемен важна и официальная сторона, определяемая правящим слоем, — интересно рассмотреть поведение той его части, которая понимает необходимость демонтажа системы. Ведь всем, в том числе правителям, ясно, что причина

кризиса — историческое банкротство коммунистической идеологии. Отказ от нее объективно необходим. Однако для партийных инициаторов "перестройки сверху" этот отказ от "единственно верного учения" невозможен, ибо оно — единственная легитимация их власти. "Ветхое тряпье" идеологии партия не может сбросить, чтобы не предстать перед народом голой. Кроме того, вся государственная система, как крутящийся волчок, держится на собственной идеологической инерции, и если его остановить — он упадет вместе с реформаторами. В этих условиях им не остается ничего иного, как поступить с идеологией по методу Колумбова яйца: реформами взломать скорлупу социалистической системы, продолжая еще длительное время называть разбитое яйцо целым и утверждать, что именно это и есть настоящий социализм, который хотел строить Ленин. По мере же приобретения авторитета "сталкеров", выведших страну из тоталитарной "зоны", у них, возможно, возникнет новая, практическая, легитимация власти, которая заменит негодную старую.

Примерно такой ход мысли, возможно, присущ хотя бы части верховных реформаторов. В принципе он приемлем и для большей части народа, которому не так уж важно, называть ли более достойное человека общество все еще социализмом или как-то иначе — потомки разберутся. Не нужно быть лингвистом, чтобы согласиться с Шекспиром: "То, что зовем мы розой, и под другим названьем сохранило бы свой чудный запах"...

То есть, в основе этой гипотезы лежит допущение, что — перед лицом государственной катастрофы — интересы и страны, и большинства ее новых правителей хотя бы в одном совпадают: осторожный безболезненный демонтаж системы лучше, чем быстрый обвал и хаос. Варианту постепенного оздоровления, даже при известных моральных издержках эволюционизма, здесь отдается предпочтение перед немедленным введением справедливости любой ценой по "варианту Алапаевска".

Конечно, как раз в этом и основное слабое место всей концепции: насколько правители готовы поставить интересы страны выше интересов сохранения собственной власти?

Насколько они сознают, что только демонтажом тоталитарной системы можно предотвратить государственную катастрофу, неизбежную при их эгоистичном упорствовании? Могут ли они это осознавать хотя бы постепенно, по мере неудачи половинчатых реформ?

На эти важные вопросы ни у кого ответа нет. Тем не менее, этот возможный вариант стоит доработать хотя бы теоретически — даже если на практике все произойдет совсем иначе. Мне кажется важным не столько настаивать на правильности своего анализа происходящего, сколько донести до сведения верховных реформаторов возможность для них этого пути.

На этот раз сосредоточим внимание на следующем: 1) есть ли признаки того, что в СССР идет демонтаж социализма? 2) как и в каком направлении этот демонтаж может быть легально проведен?

От 1848 — к "1984"...

Какой скукой еще недавно веяло от идеологических статей в советской прессе! Сейчас же именно эти темы — а не сенсационно-поверхностные разоблачения очередных социальных язв — определяют достигнутую глубину "перестройки".

Именно в идеологических публикациях, в подтверждение гипотезы демонтажа, за прошедшие два года можно найти немало новых трактовок социализма. Достаточно перечислить качества социализма искомого, которые, стало быть, до сих пор в СССР отсутствуют: "созидательный", "гуманный", "народный", "с человеческим лицом", "нравственный", "провозглашающий приоритет общечеловеческой морали над классовою", который "надо наполнить всем богатством нашей культуры, философией, религией..."

Чтобы эти определения оценить по достоинству, следует обратиться к истокам понятия. Можно, конечно, его рассматривать по И. Шафаревичу как одну из универсальных сил, постоянно действующих в человеческой истории: подсознательное стремление к примитиву, к разрушению более

сложных уровней бытия. Но в данной статье целесообразнее ограничиться анализом социализма в его традиции XIX–XX вв. — как он ее формирует сам, полагая в основу изданный в 1848 г. "первый программный документ научного коммунизма" — "Манифест коммунистической партии". (В предисловиях к английскому изданию 1888 г. и немецкому 1890 г. Маркс и Энгельс разъясняют, что лишь из политических соображений они не назвали его социалистическим манифестом: чтобы отмежеваться от ненастоящих социализмов, недостаточно радикальных).

Вот какой смысл вкладывали в понятие социализма основоположники (цитаты по брошюре Госполитиздата, 1951 г.):

1) "Уничтожение частной собственности" (с. 48). Это достижимо "лишь при помощи деспотического вмешательства в право собственности и в буржуазные производственные отношения": "отмена права наследования", "конфискация имущества", "обязательность труда для всех, учреждение промышленных армий" (с. 55–56).

2) "Уничтожение семьи!" — сначала это цитируется как выдвигаемое коммунистам обвинение, от которого, однако, Маркс и Энгельс вовсе не отмежевываются: "Коммунистам можно было бы сделать упрек разве лишь в том, будто они хотят ввести вместо лицемерно прикрываемой общности жен официальную, открытую" (с. 51–53). "Общественное и бесплатное воспитание всех детей" (с. 56). Как о положительной цели об "уничтожении семьи" говорится и в оценке "утопического социализма" (с. 68).

3) Уничтожение наций: "Отменить отечество, национальность. Рабочие не имеют отечества... Национальная обособленность и противоположности народов все более исчезают... Господство пролетариата еще более ускорит их исчезновение" (с. 53).

4) Уничтожение религии — об этом говорится мельком (с. 54–55) как о само собой разумеющемся, ибо "Коммунистическая революция есть самый решительный разрыв... с идеями, унаследованными от прошлого". В дальнейших работах основоположники

заклеймили религию как "средство закабаления масс" и "опиум народа".

И чтобы ни у кого не оставалось сомнений: "Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путем насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя" (с. 71).

Как позже восторгался Ленин, в этом документе "с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое мирозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни...", и метод осуществления: "теория классовой борьбы и всемирно-исторической роли пролетариата" (ПСС, т. 26, с. 48).

Надо ли доказывать, что ни один из пунктов этой "гениальной" программы не удался? Вот уже спорят и в советской прессе: осуществлен ли в СССР социализм или нет? Активист "перестройки" Ю. Н. Афанасьев считает, что нет. Редакция "Правды" (26.7.88) на той же странице утверждает, что несмотря ни на что — да: "Неужели Ю. Н. Афанасьев забыл о таких определяющих чертах нашего строя, как социалистическая система хозяйства, основанная на общественной собственности на средства производства, отсутствие класса эксплуататоров...?"

Наверное, не стоит спорить. Обе стороны правы.

Социализм в СССР *не осуществлен* — ибо в теоретически замысленном виде *неосуществим*. Потому что эта утопия не учитывает сложность мира и человеческой природы. Человек не укладывается в ее примитивные представления, и попытки ее реализации неизбежно требуют насилия. Отсюда логично оправдание коммунистами насилия уже не только против "класса-угнетателя", но и против "несознательных масс", которые следует вести к счастью вопреки их воле.

Но именно поэтому построенный в СССР социализм со всеми его жертвами осуществлен — как единственно возможный практический результат провозглашенных постулатов. То, что было с "гениальной ясностью" спроектировано в 1848-м, обнаружило столь же ясную логику превращения в "орвелловское" общество столетие спустя. Другого варианта

воплощения эта теория не оставляет. Разве что подвергнуть ее постулаты ревизии, демонтажу. История практического осуществления социализма и представляет собой историю демонтажа его догм под натиском реальности.

(Поскольку социализм есть "первая фаза", — все, сказанное выше, следует отнести и ко второй: к коммунизму в целом. О том, что "Наша цель — коммунизм!", КПСС теперь, похоже, забыла, несмотря на то, что это определяющий термин в названии партии. Оставим его в покое и мы. Но подчеркнем: то, что получилось в СССР, есть и коммунизм тоже, "иного не дано", поэтому принятое на Западе название соцстран коммунистическими совершенно правильно).

К истории демонтажа "завиральных идей"

В истории социализма не раз осознавалась утопичность его целей, что приводило к скандальным расколам и ревизиям. Крупнейшим, пожалуй, было бернштейнианство, уведшее за собой западную социал-демократию; в России — ленинский нэп, о котором теперь В. Селюнин пишет как о "стремительной эволюции" Ленина и немногих его соратников — от "завиральных идей" к трезвому восприятию реальности ("Новый мир" № 5, 1988), а сотрудник ЦК КПСС А. Ципко считает, что "Владимир Ильич в конце жизни отказался от наивной веры в чистый социализм, чем сильно разочаровал большинство теоретиков партии" ("Наука и жизнь" № 12, 1988).

Сталин реставрировал донэповское понимание социализма. Но и в его период большевики под натиском реальности были вынуждены отказаться от большинства пунктов "Манифеста". Ценность семьи была молчаливо реабилитирована еще до революции; А. Коллонтай, пытавшаяся было развивать идею "общности жен", успеха не имела, ибо обобществлять своих жен на практике мало кому захотелось. Так же втихую, "до окончательной победы социализма", оправдали институт государства — когда сами распробовали вкус государственной власти. О национальных традициях

вспомнили в 1940-е, когда потребовалось опереться на патриотизм в отражении внешнего врага.

И вот в 1980-е годы — под угрозой потери статуса военной сверхдержавы — в СССР заговорили о реабилитации рыночных отношений и частной собственности: эта "причина всего социального зла" все больше признается необходимым элементом здоровой экономики, и причиной зла и кризиса объявлена "священная корова" социализма — централизованно-директивная система управления...

Все это официально провозглашается как возврат к ленинскому нэпу. Однако, насколько тогда Ленин действительно отказался от "завиральных идей" и от "наивной веры в чистый социализм", и насколько это был тактический прием — идут споры даже в советской печати. Известный экономист Г. Попов пишет, что "нельзя делать однозначных выводов. По существу, в работах Ленина в 1921–1923 гг. заложены два возможных варианта развития: длительный, на основе нэпа, и тот, ускоренный, который был реализован на практике. И я, — пишет Попов, — вовсе не уверен, что он сам обязательно остался бы на позициях нэпа... Его упор на однопартийность, на запрет фракций, надежды на спасителя в виде контрольной системы и, самое главное, его забота об ускорении централизованного экономического строительства не исключали изменения позиции и отхода от пути нэпа (как это он уже сделал в начале 1918 г.) в пользу военного коммунизма". ("Наука и жизнь" № 10, 1988).

Но оставим в стороне и этот спор: даже если Ленин перед смертью действительно "осознал" — вряд ли это теперь кому-либо важно, кроме партии, нуждающейся хотя бы в одном рукопожатном вожде.

Более важно другое: тезис о предсмертном "поумнении" Ленина есть признание "неумности" классической марксистской идеологии и свидетельство идущей ее радикальной ревизии. И, несомненно, ревизии даже большей, чем нэп, ибо опыт трагедии заставляет пересмотреть и мировоззренческие основы идеологии (см. дискуссию в "Вопросах философии" № 9, 1988), и ее отношение к религии (см. интервью антирелигиозного министра Харчева с верующим журналистом А. Нежным в "Огоньке" № 50,

1988). По сравнению с этим взрывшим идеологическим измерением, нэл 1920-х годов выглядит действительно лишь сугубо экономическим тактическим ходом, и его упоминают сегодня, пожалуй, не как цель, а лишь для легитимации перестройки: как имевший место прецедент ревизии; как предначертанное (хоть и поздно, но "самим Лениным") направление поисков "истинного социализма".

К положительным идеологическим сдвигам следует отнести и то, что никто не берется уточнить, в чем "истинный социализм" заключается. Публицист Ф. Бурлацкий нашел безошибочное определение по методу "за все хорошее, против всего плохого": "Социализмом может быть названо только то, что в действительности обеспечивает благосостояние и культуру трудящихся" ("Лит. газета", 1988). Этот проект уточняет писатель А. Адамович: это будет "общественная структура, о которой сегодня никто и не догадывается. Она не будет результатом механического соединения прежних структур (сегодняшних Запада и Востока. — М. Н.), хотя и усвоит все лучшее, что в тех имелось, а станет качественно новым образованием" ("Дружба народов" № 6, 1988).

*

Таким образом, от первоначальных социалистических догм, ради которых загублены десятки миллионов людей, на практике не осталось ничего. Что бы ни говорил сегодня генеральный секретарь — "Больше социализма!" и т. п., — его социализм далеко не тот, который себе представляли основоположники. Растеряв все свое "вечное идейное богатство", социализм пронес сквозь свою историю лишь один стойкий признак, который основоположниками мыслился как временный: право на насилие. Это наследие социализма и представляет собой главное препятствие для его демонтажа.

Ибо сколь бы ни набирала размах "гласность", трудно забыть урок 16-месячной полусвободы в Польше в 1980-1981 годах. Тогда даже 10-миллионная "Солидарность", объединившая практически всех трудящихся страны, потерпела неожиданное для себя поражение, недооценив грубую силу власти. Эта сила пока не слишком

проявляет себя в "перестройке", но она существует. Вполне возможно, что провал реформ или неконструктивный "разгул полусвободы" приведут и в СССР к диктатуре какого-то нового типа. Нового в том смысле, что откровенная "легитимация" власти силой сделает ненужной сохранение легитимирующего мертвеца в мавзолее. Будет ли эта диктатура трагедией для страны или шагом на пути к здравому смыслу — зависит не от жуткого звучания слова "диктатура", а от ее сущности и целей. Однако, вполне допуская и такой "субъективный" вариант хода событий, вернемся все же в русло рассматриваемого частного случая — гипотезы мирного демонтажа.

- Ловушки в "зоне"

На пути осуществления этой концепции есть целый ряд объективных препятствий, коренящихся в раскладке политических сил советского общества — о многих из них я уже говорил в предыдущей статье.¹ Сейчас рассмотрим внутренние противоречия и ловушки самой гипотезы.

Ловушки, как и положено в таинственной "зоне", могут быть совершенно непредсказуемы. Их создают не только "противники перестройки", но сама реальность. В этом вообще уникальность явления тоталитаризма: он есть не что иное, как борьба против реальности. Это — игнорирование не только природы мира и человека, но и фактов, для остального мира очевидных. Поэтому проблеме взаимоотношений власти с реальностью в анализе тоталитаризма следует уделить особенное внимание.

Стремясь к победе над бытием, социализм самоуверен лишь в начале (вера в мировую революцию, в неизбежность коммунистической эры и т. п.). Дискуссия о возможности победы в одной стране уже была не чем иным, как переходом к обороне. Социализм попытался утвердиться на ограниченной территории, сконцентрировав усилия на избранную "зону" бытия по принципу кумулятивного заряда. Стабильность

¹ "Литература и публицистика под знаком перестройки" — Вестник РХД № 150.

такой "зоны" будет тем большей, чем больше удастся искоренить в ней инородные влияния. Поэтому у власти возникает потребность в самоизоляции и в тотальном контроле над бытием: и на уровне общественной памяти о прошлом (переписывание истории), и на уровне человеческой души — чтобы нейтрализовать угрозу ее врожденной свободы. В этом же кроется причина инстинктивной агрессивности тоталитаризма к внешнему миру: инородное окружение уже одним своим существованием представляет собой онтологическую угрозу системе, построенной на лжи, и лишь поглотив его можно окончательно искоренить исходящую от него опасность "подрыва строя". В тоталитаризме вообще заложено стремление к перманентной экспансии: ему хочется объять весь мир до предела; любой неподвластный клочок пространства — другие страны, необитаемый полюс, космические тела — подсознательно воспринимается как вызов всемогуществу Системы, и она стремится его освоить, промаркировать, застолбить. Вспомним единственный груз, который доставила на Луну первая советская ракета: вымпелы и герб...

Сегодняшние преемники большевиков, пожалуй, осознали, что, чем в большем противоречии с реальностью находится система, тем она уязвимее и тем больше усилий должна затрачивать на поддержание своей жизнеспособности. Их задача — снизить эту уязвимость, приведя режим в большее соответствие с окружающим миром. И если такое желание действительно имеется — его исполнение неизбежно будет начинаться по законам еще старого общественно-политического пространства, искаженного силовым полем тоталитаризма.

Одно из главных таких искажений — феномен "двоемыслия", столь блестяще проанализированный в конце 1940-х годов независимо друг от друга в художественной форме Дж. Орвеллом ("1984") и в научной Р. Редлихом ("Сталинщина как духовный феномен"). Двоемыслие всегда сопутствует тоталитаризму как оружие в борьбе против реальности — для внедрения в смысловые недра бытия через язык. Поэтому и переход от двоемыслия к нормальной онтологии слова (в рамках данной гипотезы) начинается с перемены цели

двоемыслия и соответственно его знака с отрицательного на положительный.

Необходимость наполнения легитимирующей социалистической терминологии иным содержанием приводит к возникновению такого "сталкерского" приема, как феномен "положительного двоемыслия", когда оно применяется уже не для укрепления тоталитаризма, а для его безболезненного преодоления. Мудрая фраза английского классика, что "лицемерие есть дань, которую порок платит добродетели", сегодня в СССР может быть прочитана наоборот: это дань, которую пробуждающаяся добродетель платит еще господствующему пороку. В этом одно из интереснейших явлений периода "перестройки", без учета которого анализ действий реформаторов невозможен. "Только в рамках социализма!" — на этом языке не обязательно означает то, что слышит ухо или видит глаз...

К тому же, поскольку демонтаж должен начинаться еще против инерции системы, кратчайшим расстоянием в таком пространстве будет не прямая линия (известно, что, меняя галсы, можно постепенно двигаться и против ветра, тогда как иным способом, даже если изо всех сил дуть в паруса, цель ближе не станет).

Эта онтологическая особенность создает, однако, первую ловушку реформаторам: нормальное общество за пределами "зоны", незнакомое с ее свойствами и "сталкерским" искусством передвижения, воспринимает социалистическую терминологию всерьез и не видит в ней отличия от прежнего двоемыслия. Таким образом реформаторы лишают себя доверия и помощи со стороны окружающего мира, который в принципе мог бы эту помощь оказать в гораздо большем объеме и более продуманно: чтобы не укреплять старые общественные структуры, а поощрять самозарождающиеся новые...

Но и эту серьезнейшую тему на этот раз вынесем за рамки статьи. Что еще трагичнее — двоемыслие не пробуждает доверия к реформаторам в собственном народе, изверившемся в многочисленных прежних обещаниях. На пятом году

"перестройки" магазинные полки более пусты, чем до нее. Разрыв между словом партии и доверием народа по-прежнему огромен, а без этого доверия реформы сверху обречены на провал...

Нельзя не видеть и другую опасность приема двоемыслия: использование слова "социализм" ради легитимации власти держит самих реформаторов в узде прежней идеологии. Слово все-таки оказывает огромное влияние на жизнь. Уже сегодня ситуация парадоксальная: на практике от идеологии ничего не осталось, в построение коммунизма никто не верит, но ее словесное "астральное тело" продолжает держать общество в своей магической власти. Видимо, пока идеология официально не отброшена, она даже мертвая стесняет свободу общества почти так же, как если бы была жива...

К тому же, хотя на сознательном уровне идеология и преодолена, подсознательно она действительно может иметь "опору в массах". Ибо Шафаревич прав: социалистический инстинкт любви к примитиву, хотя бы в виде уравнительной справедливости и зависти к успешному соседу, существует. Так что "освобожденный от коммунистического рабства" народ, в значительной своей части, может и не захотеть той свободы, которая усложняет ему жизнь. Желających воспользоваться этими настроениями может оказаться много...

Таким образом, перестройка может оказаться бесплодной не потому, что партийные консерваторы победят либералов, а потому, что у самих партийных либералов идеология не преодолевается, а лишь сворачивается в куколку, из которой, напившись энергией воспрянувшего от полусвободы народного тела, может вылупиться новая разновидность материалистического монстра.

У двоемыслия есть ловушка и более конкретная. Партия, привыкшая оперировать извращенными смыслами слов, мало задумывается о внутренней несовместимости провозглашенных в новой ситуации понятий гласности и демократии с безгласными и недемократичными основами своей власти. Однако и эти новые слова тоже оказывают воздействие на жизнь. По

мере раскрепощения общества эта несовместимость обостряется. В национальном вопросе — особенно (именно он и может стать причиной краха мирной "перестройки").

На фоне "гласности" картина парадоксальна и с этой точки зрения. Общество имеет над собой партию, которую никто не выбирал. Которая ответственна за невиданный в истории геноцид над собственным народом, пропорционально сравнимый с камбоджийским коммунизмом. И которая непонятно зачем обществу нужна.

Этот вопрос партия должна решить и сама для себя. До сих пор у нее была функция хотя и малочетная, но ясная и оправданная в собственных глазах: держать, сосать и не пущать. Однако, чем большее число функций будет передано другим институтам, тем с большим удивлением общество вправе взирать на "свою" партию: зачем ему сей "ум, честь и совесть нашей эпохи"? Может, товарищи, "ваша эпоха" уже прошла? Ведь если отдать "всю власть Советам", как избираемым органам самоуправления вплоть до парламента, и правительству, как компетентным специалистам, то чем оправдать необходимость партии? В чем должна заключаться ее "руководящая и направляющая роль"? Ведь все нормальные общества как-то обходятся без нее.

Вопрос этот, конечно, нельзя рассматривать чисто формально. Если допустить, что какому-то обществу удалось найти безупречно надежный способ отбора наиболее достойных и компетентных граждан и их выдвижения наверх — такая руководящая элита была бы идеальным решением, при котором оппозиция стала бы действительно излишней уже по своей меньшей компетентности. Но сегодня ни один народ (за исключением примитивных племен, где критерии выбора просты и качества избранника легко проверяемы) такого способа формирования руководства не имеет. И для предотвращения узурпации власти недостойными выработался институт многопартийности, легальной оппозиции — то есть демократии. Демократия есть признание человечеством собственного несовершенства и его компенсация возможностью исправления ошибок. (Эту сложную проблему берем пока лишь в прагматическом плане, оставляя в стороне ряд важнейших условий духовно здоровой демократии).

В любом случае претендент на "руководящую роль" в обществе должен подкрепить свою претензию не "единственно верным учением", а соответствующими качествами. Утверждая свое монопольное право на такую роль без доказательств, КПСС присваивает себе статус элиты самовольно, несмотря на огромную вину перед народом, которому по-прежнему оставляет статус "недоразвитых масс". И если проблема легитимности власти компартии будет всегда оставаться щекотливой по нормам права, подвергаясь моральному давлению мира извне, то нежелание масс мириться со статусом "недоразвитости" будет обострять проблему изнутри.

Если партийные реформаторы не найдут способа разрешения этих противоречий, то в созревании их кроется неизбежный крах рассматриваемой концепции безболезненного демонтажа. В этой связи создание второй — непартийной, деидеологизированной — точки опоры власти по линии Советов было бы верным шагом, если последует перенесение на него центра тяжести власти, а затем и ампутация "партийной ноги".

Этот вариант удобен для деидеологизации системы власти. Но он вряд ли решает проблему снятия с партийных деятелей личной моральной ответственности за причастность к геноцидной партии. Эту ответственность, помимо приобретения авторитета "сталкера", может снять лишь покаяние.

С "ненулевой надеждой"...

... Допущение покаяния, наверное, звучит странно в статье на политическую тему. Действительно, не слишком ли увлекся автор?

Но в том-то и дело, что рассматриваемая гипотеза — не чисто политическая. Она метаполитическая, предполагающая возможность действия в истории, особенно в ее судьбоносные моменты, не только прагматического расчета и эгоистических факторов. В ней, как и в позиции общенационального согласия, лежит надежда на образ и подобие Божье в

человеке, который, бывает, просыпается и у разбойника.¹ Надежда на то, что новое поколение правящего слоя, лично не ответственное за создание и укрепление режима и связанное лишь проблемой легитимации власти, более открыто восприятию здравого смысла. Этой "ненулевой" надеждой было когда-то продиктовано и солженицынское "Письмо вождям".

Конечно, нельзя делать ставку на личность правителей: человек подвержен соблазнам, зло может в той или иной

¹ Пользуясь случаем, выскажу кратко мнение об идущих в эмиграции дискуссиях в связи с разным отношением к "перестройке". Так, известный армянский деятель Э. Оганесян сделал правильное замечание: разница в отношении к "перестройке" часто объясняется тем, любят или нет Россию противники режима. Но и среди любящих, видимо, есть деление на:

1) позицию политической оппозиционной партии, которая готова не только критиковать, но и взять власть в свои руки: для нее естественны принципиальные оценки, дающие представление о ее политическом профиле; оппозиция всегда есть претензия на власть, и она тем более обязывает к бескомпромиссному отрицанию власти неправедной;

2) позицию непартийную, свойственную людям, по своему духовному складу не претендующим на политическое водительство и не склонным резко делить общество на партии, на своих и чужих, а готовым видеть "свое" и "чужое", "черное" и "белое" в любом человеке, в самом ходе событий. Эта позиция обязывает к вере в человека. Трагичность ситуации в стране еще и в том — и здесь, возможно, одна из причин стабильности режима, — что в сегодняшнем российском человеке "белое" и "черное" политически не отделены друг от друга: вследствие ли постоянного обмана, эксплуатации властью природного добра человеческой души или вследствие патриотизма. Так, в годы войны многие искренне умирали "за Родину, за Сталина", не умея отделить одно от другого. Так сегодня кое-кто ратует за "сильную руку усатого батьки", в сущности лишь протестуя против разгула коррупции и бесхозяйственности. Добра в человеке, конечно, больше, но оно оказывается плененным в общественно-политической сфере, не способным влиять на нее. Задача в том, чтобы сделать его политически действенным. И часто это можно сделать не столько размежеванием и обличением "черного", сколько объединением общенационального "белого" — ради высших ценностей.

Утрирование первой позиции грозит политическим материализмом, партийной узостью при утрате общенациональной духовной цели служения.

Утрирование второй — чревато безответственной сентиментальностью и утопизмом.

Истина же, наверное, в правильном сочетании обеих позиций: бескомпромиссности убеждений — и христианской любви в действиях по их претворению в жизнь. В этом, пожалуй, две стороны того мудрого патриотизма, который необходим стране.

форме овладеть им и пересилить даже его добрые побуждения (если они есть). Успех перемен определяется состоянием всего общества. Однако доказательств невозможности пробуждения совести у наших "Савлов" — тоже нет. Часто их зло не первично, а коренится в элементарной необразованности и под влиянием опыта способно постепенно преодолевать (интересны в этом отношении мемуарные записи Хрущева). Хочется надеяться, что урок пережитой трагедии оказывает и на новое поколение правителей свое моральное воздействие от противного, совершая эпохальный поворот всего общества к "новому мышлению", даже если за этим термином скрываются не подавленные истреблению старье нравственные ценности. Может ли вообще для России быть иная надежда, чем нравственный поворот в ведущем слое общества?

Но то ли разбойники еще не окончательно прозрели, то ли они надеются, что покаяться еще успеют, то ли у них другие, профессиональные, заботы — во всяком случае соответствующие призывы В. Распутина и Д. Лихачева они лично к себе не отнесли, и, видимо поэтому, даже похвалили нравственную требовательность писателей. Даже с победой горбачевской фракции над лигачевской (осенью 1988 г.), после чего, казалось бы, в официальном ходе "перестройки" должен был последовать резкий скачок, — качественных изменений не произошло. Это свидетельствует, пожалуй, о том, что многие в горбачевской администрации, упрочив позиции у власти, не заинтересованы в излишнем раскачивании лодки: не выпасть бы за борт самим. Здесь сказывается и то, что идущая смена поколений в руководстве еще не завершилась и в нем еще слишком много лиц, лично ответственных как минимум за "застой".

Роль общественности в наступившее время характеризуется заполнением открывшегося тематического пространства. Но сознание общества продолжает быстро раскрепощаться и помимо публикаций официальной прессы. Рано или поздно очерченный сверху объем заполнится — и неизбежно наступит "перелив", качественный скачок в новые

пространственные сферы здравого смысла. Сможет ли КПСС вместить это развитие, от ее идеологии уже мало зависящее, в свои "правила игры" — или неизбежен конфликт и на этом срок действия рассматриваемой концепции заканчивается?..

*

Итак, исторический демонтаж идеологической утопии в СССР несомненен. "Перестройка" — его наиболее важный этап, но и она не означает его окончательного преодоления. И дело здесь, очевидно, не в том, "чего хочет Горбачев", а в сложной взаимосвязи рассматриваемых выше противоречивых факторов: необходимость отказа от идеологии — и проблема легитимации власти; экономическая неэффективность центрально-директивной системы — и обеспечиваемый ею полный контроль над обществом; необходимость введения новых степеней свободы общества — и возможность его выхода из-под контроля; приведение основ системы в онтологическое соответствие с реальностью — и невозможность предать гласности целый ряд тем и фактов, затрагивающих основы легитимности (взять, например, истинный облик Ленина или роль немецких денег в большевистском перевороте: как выглядит с точки зрения общечеловеческой морали эта сделка с врагом, в условиях войны, направленная на поражение своего государства?..)

Во всей этой паутине разнонаправленных векторных сил находится и власть, и общество в СССР. Сторонники и противники "перестройки" оказались в каждом социальном слое. И даже мощный вектор любого благонамеренного генсека в такой ситуации компенсируется множеством противоположных. Утвердить свое направление развития он сможет, лишь создав условия, при которых положительно направленные векторы будут складываться, а отрицательные гаситься — всей логикой жизни общества. Этого верховным реформаторам добиться не удалось. Разумеется, все революции начинаются действиями активного меньшинства. Но их конечный успех определяется тем, находят ли они опору в обществе.

Однако пора перейти от тактико-политического уровня гипотезы к идейно-философскому, поискать идеологические пути ее осуществимости.

II

Ложь и правда социализма

Итак, мы имеем дело с утопией, стоившей жизни сотням миллионов людей во всем мире.

Но куда записать ту жертвенную страсть социалистов, которая двигала ими сто лет назад, обрекая на опасности, тюрьмы и гибель — "ради счастья народа"?

Мне кажется, что даже в солженинском "Красном колесе" духовный мир большинства революционеров-фанатиков оказался несколько упрощен. В нем часто отсутствует антиномичность. Солженицын обладает большой чуткостью к inferнальной подоплеке социалистических устремлений — безбожной гордыне насильственной переделки бытия. Знание конечного результата позволяет писателю безошибочно проследить духовные корни зла, ретроспективно выделяя линию его состоявшейся причинности. В этом отношении "Красное колесо" — блестящий философско-политический анализ заключительной стадии духовной болезни, но не начальной. Солженицын, кажется, не ставил себе задачу концентрироваться на двойственности, греховности человеческой природы, которая делает возможной эту болезнь, что с такой прозорливостью было исследовано Достоевским. Пожалуй, в русской художественной литературе лишь Достоевский и Солженицын вместе взятые вмещают антиномическую полноту явления социализма в его генезисе и развитии.

Думается, внутренний мир революционеров-подвижников изначально был сложнее, поскольку отражал вечные противоречия человеческого бытия, и лишь в обостренно-безбожном варианте их решения открыл путь разгулу сил зла — под маской добра. Бердяев, которому принадлежит

знаменитая фраза о "лжи и правде коммунизма", метко подметил, что "русский атеизм возник по моральным мотивам: он вызван невозможностью разрешить проблему теодицеи", существования зла в созданном Богом мире. В этом — исток русского социализма, победить огромную духовную ложь которого можно, лишь признав его частичную социальную правду: неприятие несправедливости — особенно тогдашнего классического капитализма.

Эта мысль о "лжи и правде социализма" — одна из основных в социально-политическом аспекте русской религиозной философии: в трудах Бердяева, Булгакова, Франка, Струве, Федотова, которые знали, о чем писали, ибо сами проделали путь "от марксизма к идеализму" и к православию. (Примерно то же развитие проделал Достоевский; однако вряд ли этически чистое увлечение марксизмом было возможно на кровавом фоне "победившего социализма", и Солженицын, например, мог наблюдать лишь его рудиментарные формы).

Именно так в том же XIX веке возникло течение "христианского социализма", выступавшее как против социальной несправедливости капитализма, так и против атеистической крайности социалистов. Оно ставило себе цель преобразить мир не насилем, а любовью, солидарностью и созданием более справедливых законов. Пыталось, говоря словами о. Сергия Булгакова, отнять у Маркса и вернуть Христу несправедливо отнятое социальное призвание Церкви.

Правомерность термина "христианский социализм" обсудим ниже. Сейчас же обратим внимание на то, что для какой-то части общества — и прежде всего для Церкви — это течение могло бы стать сегодня "социалистической" формой антисоциалистической активности в русле идущего официального демонтажа системы. В этой связи интересно обратить внимание на доклад прото-пресвитера Виталия Борового на Второй международной церковной научной конференции в Москве (об этом см.: "Журнал Московской Патриархии" № 9, 1987), который призвал "реабилитировать" русскую религиозную философию с ее поисками социальной справедливости — за год до положительного рассмотрения этого вопроса в Политбюро

ЦК КПСС (см. сообщение в "Вопросах философии" № 6, 1988).

Однако, вспомнить об этом следует не только для того, чтобы указать на "христианский социализм" как на возможное *тактическое* русло развития "социалистической перестройки". Таким руслом² могла бы, в принципе, стать и западная социал-демократия, об опыте которой сегодня в советской печати можно встретить положительные упоминания. Для этого нет даже легитимационных препятствий: переименовав партию в "социал-демократическую" и подав это как восстановление первоначального названия (РСДРП), партийные реформаторы могли бы убить сразу нескольких зайцев. Этим гениальным "сталкерским" ходом можно было бы отбросить скомпрометированное название КПСС, усвоить государственный опыт своих, вновь признанных, дальних родственников — западных социал-демократий, развязать себе руки для дальнейших идеологических преобразований. Учитывая мировоззренческий уровень большинства партийных реформаторов, подобное наполнение социализма новым содержанием — наиболее вероятное.

Но проблема стоит серьезнее: что реформаторы должны противопоставить обанкротившейся идеологии не тактически, а *стратегически*? К какой цели должно идти развитие страны? И в этом отношении "христианский социализм" дает наиболее интересную пищу для размышлений. Ибо он вносит

² В этой связи среди направлений русского социализма для кого-то может быть интересным и ненасильственное, национально окрашенное народничество (вспомним знаменитое "хождение в народ"), связанное с надеждой на особый, некапиталистический, путь развития России. Герцен, Лавров, Михайловский, традиционно рассматривающиеся в обиходе "революционных демократов", могут быть — в тактических целях — прочитаны и с акцентировкой их народнического этического идеализма. Критически отнесясь к их революционности (впрочем, ее в какой-то мере можно понять: идеальным обществом Россия, к сожалению, не была), у народников можно выделить то положительное содержание, которое утонуло в позитивизме эпохи: их жертвенную любовь к народу. Хотя эта любовь и не была осмыслена религиозно, все же отблески традиционного христианского подвижничества и проблемы теодицеи в ней видны в гораздо большей мере, чем Бердяев находил то у социалистов в целом. Именно эта часть народников ушла позже в земское движение — возрождение его традиций могло бы сегодня стать еще одним возможным руслом общественной активности "в рамках социализма", скажем, для возникающих "народных фронтов".

в проблематику поисков справедливого общества духовную координату, которой материалистическая социал-демократия не имеет, поскольку остается попыткой решения объемных задач в двухмерной плоскости. Без этой координаты явление социализма вообще не может быть осознано.

О "ереси утопизма"

Основной порок социализма, как мы видели, заключается в противоречии между утопией и реальностью. "Уничтожить ночь для повышения урожаев" (А. Платонов) не удалось. Но и для христианского социализма основная проблема остается та же: греховность человека. Делать ставку на человеческий альтруизм, на "день без ночи" — неосуществимая утопия. Без учета определенного элемента эгоизма в обществе оно не сможет существовать. В этом суть рыночной экономики: основанная на неравенстве, не во всем справедливая и далекая от нравственного идеала, она создает, однако, столь большой "общественный пирог", что даже часть его, достоящаяся малоимущим слоям, обеспечивает им более достойное существование по сравнению с претендующей на справедливость, но неэффективной, экономикой социалистической.

Однако, не предается ли при выборе рынка идеал справедливости? Не производится ли его подмена мешанским материальным благополучием?

Дилемма не столь проста. И не столь уж примитивен исходный мотив современных социалистов-идеалистов на Западе, ибо они предпочитают в этой дилемме духовную ценность материальной. Однако, жестокой иронией и даже мстостью судьбы кажется то, что забвение социалистами природы материального естества приводит к его разрушению — вследствие чего и духовное лишается своего сосуда.

Размышляя над этим перерождением благих социалистических стремлений во зло, С. Франк дал емкое понятие "ереси утопизма". Она возникает, когда скоропалительные рецепты "устранения ночи" не учитывают всей сложности противоборства добра и зла в мире, что превращает "благодетелей

человечества" в инструменты действия злых сил. "Можно сказать, что никакие злодеи и преступники не натворили в мире столько зла, не пролили столько человеческой крови, как люди, хотевшие быть спасителями человечества".

В своей книге "Свет во тьме" (YMCA-PRESS, 1949), откуда взята приведенная цитата, С. Франк исходит из таинственных слов в Евангелии от Иоанна: "И свет во тьме светит, и тьма не объяла его" (1, 5). Они допускают два толкования: оптимистическое — как торжество света над тьмою, но и пессимистическое — как непреодолеваемое сопротивление тьмы, ибо она не рассеивается полностью перед ним. Только в сочетании обоих смыслов выражается антиномическая полнота природы земного мира. В этой двойственности его трагическая тайна, на осознании которой сконцентрировано христианство. В этом драматизм человеческого бытия в условиях постоянной борьбы между добром и злом.

Только "Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы" (1 Посл. Иоанна 1, 5). В нашем же земном мире свет и тьма сосуществуют неустранимо. Поэтому, говоря о нравственных задачах человека, следует проводить различие "между абсолютной Христовой правдой, превосходящей всякое земное устройство и доступной только сверхмирным глубинам человеческого духа, и ее всегда несовершенным земным воплощением — иначе говоря, между сущностным спасением мира и его ограждением от зла". Говоря известными словами В. Соловьева, задача не в том, чтобы построить на земле рай, а в том, чтобы не допустить ада. Вера в достижение на земле абсолютного добра есть смешение разных уровней проблемы. Эта задача превосходит человеческие силы, ибо противоречит устройству мира. Никакими законами, диктатурами и жертвами она не выполняема. Ставить ее себе есть "ересь утопизма".

Типичной ересью утопизма родился рассматриваемый нами социализм. Он возник из потребности в справедливости, но замахнулся на построение "земного рая". "Рай" был истолкован как равенство. А равенство — как исключение "неразумной, стихийной" свободы; как насильственная

нивелировка всех во всем. У практиков социализма, в отличие от теоретиков, уже не идея разрабатывается для человека, а человек приносится в жертву утопической идее. Так, "если верить воспоминаниям Троцкого, то именно рослые сибирячки, которые выносили на станцию жареных кур и поросят, молоко в бутылках и горы печеного хлеба, укрепили его в необходимости разрушить до основания старый мир"; Троцкий и "смерть от недоедания в годы военного коммунизма ставил намного выше в нравственном отношении, чем сытую жизнь миллионов рабочих и крестьян в период нэпа". (А. Ципко. "Наука и жизнь" № 1, 1989).

Эта логика перерождения благих побуждений во зло подсознательно отражена и в коммунистическом гимне "Интернационал". Поскольку реально существующий мир не хочет и не способен "уравняться" — он должен быть "разрушен до основания, а затем...". "Затем" не получается, поскольку старый мир сопротивляется, что вызывает еще большее ожесточение строителей "нового мира". Начинается "решительный бой", который приносит все большие разрушения и жертвы среди народа, ведомого к "избавленью" — без Бога, "своею собственной рукой"...

"Так попытка осуществить царство Божие и рай на земле, в составе этого, неизбежно несовершенного мира, с роковой неизбежностью вырождается в фактическое господство в мире адских сил, — писал С. Франк. — Задача совершенствования мира... в утопизме сводится фактически к уничтожению мира". В этом смысле понятен и вывод, сделанный И. Шафаревичем: социализм есть "стремление к самоуничтожению, инстинкт смерти человечества". ("Из-под глыб", YMCA-PRESS, 1974).

"Последний и решительный бой", растянувшийся в России на столетие, сегодня идет к концу. Руководство КПСС, кажется, осознало поражение утопии и всерьез занято поисками выхода из критического положения. А поражение заставляет многих обратиться к наиболее простой (вот где сказывается изолированность от мирового опыта...), лежащей под рукой альтернативе. Сначала она звучала лишь в рецептах "радиоголосов". Но вот уже и в советской прессе можно найти призывы перенять западную общественную модель — то есть

отдать предпочтение противоположной части рассматриваемой дилеммы.

Наиболее откровенно это прозвучало в выступлении Л. Попковой "Где пышнее пироги?" ("Новый мир" № 5, 1987). Конечно, в голодающей стране вопрос о пирогах превращается в проблему "быть или не быть". Однако, даже при осознании "ереси утопизма", пышность пирогов вряд ли может быть достаточным критерием для определения целей и ценностей цивилизации. Речь же в "перестройке" — по большому счету — идет именно об этом. Если история дает России шанс начать сначала, следовало бы задуматься об общечеловеческих выводах из опыта обеих общественных систем. Ибо "самая простая альтернатива" может оказаться еще одной утопией.

О ереси этического равнодушия

Этот опыт выявляет основные противоречия, которые человечеству необходимо решить для выживания.

Одного противоречия мы уже коснулись: между справедливостью, нравственностью — и хозяйственной эффективностью.

О "ереси утопизма", отрывающей духовную ценность справедливости от ее материального обеспечения и лишь плодящей зло, — сказано выше. С другой стороны, опирающиеся на естество современные демократии в каком-то смысле располагают людей к духовной лени, материализации потребностей и жизненных ценностей. Рынок, обеспечивающий большой общественный пирог, управляет и культурой, воспринимает и репродуцирует из нее лишь то, что имеет рыночную стоимость, занижает вкус по среднему стандарту (а иногда эксплуатирует и низменные инстинкты...). Так, рынок, обеспечивающий материальное процветание, может отрицательно влиять на духовную атмосферу, и если общество не противодействует этому рыночному опошлению — оно духовно вырождается. Как же этому противостоять?

Здесь мы приходим к другому противоречию: оно касается свободы. Казалось бы, эта проблема выявлена и решена

Достоевским в теме Великого инквизитора: движение к добру и спасению может быть только свободным, иначе эти ценности лишаются своего смысла. Но чтобы человек вообще их рассмотрел и оценил, он должен быть соответствующе подготовлен. При этом нужно учитывать, что в непрерывной битве между добром и злом восхождение вверх всегда гораздо труднее, чем скольжение вниз. Свобода — необходимое условие для духовного роста, но недостаточное, поскольку она этически нейтральна и может быть использована как в добро, так и во зло. Однако, в современных западных демократиях возник культ свободы: под термином "плюрализм" он все больше получает значение этически узаконенного равнодушия к Истине, порою даже оправдываемого "с христианской точки зрения"...

До сих пор это равнодушие к абсолютным ценностям спасало западные демократии от чрезмерных внутренних трений. Оно не становилось опасным благодаря двум условиям: во-первых, в обществе сохранились христианские традиции; во-вторых, человечество было не столь могущественно, чтобы уничтожить себя. Но с каждым годом эти условия ухудшаются. Число индивидуумов, которым физически доступны действия с катастрофическими для мира последствиями, постоянно растет по мере научно-технического прогресса. Кроме того, уже не термоядерная война, но обычный эгоизм массы людей грозит цивилизации опасностью — взять хотя бы экологическую проблему. Перед человечеством стоит труднейшая задача соединения нравственности и свободы: воспитания у граждан творческого отношения к свободе и ответственного, добровольного отказа от злоупотребления ею.

Но как далеки от осознания этого западные демократические институты — прагматичные, часто ставящие цели лишь в пределах избирательного срока, делающие ставку на механически-правовые гарантии, неспособные, однако, предвидеть все случаи злоупотреблений, — и иррациональное зло легко обходит рационально воздвигаемые ему барьеры... Как тонка граница между цивилизацией и варварством в таком обществе — продемонстрировала авария электросети в Нью-Йорке, когда почтенные домохозяйки и клерки в

галстуках превратились в толпу дикарей, громящую витрины магазинов с отключенной сигнализацией...

Голоса же тех, кто, как Солженицын, призывают Запад к духовному пробуждению, редки и в сложившейся атмосфере этического плюрализма выглядят "неприличными". К ним лепят ярлык "хомейнизма". Впрочем, и хомейнизм — как и фашизм — тоже реакция на пошлость и нравственную неустойчивость демократии, но это попытки решить противоречия примитивным способом...

Указанные противоречия неразрешимы в той плоскости, в которой они возникли. Социализм в этом отношении методологически родствен фашизму. Кроме того, ложь буржуазного и ложь социалистического идеала, разные по размерам и последствиям, имеют и нечто общее. Вот как видел это Бердяев:

"Социализм — плоть от плоти и кровь от крови буржуазно-капиталистического общества... Он духовно остается в той же плоскости. Социализм буржуазен до самой своей глубины и никогда не поднимается над уровнем буржуазного чувства жизни и буржуазных идеалов жизни. Он хочет лишь равной для всех, всеобщей буржуазности, ...рационализированной и упорядоченной, излеченной от внутренней, подтачивающей ее болезни..." ("Философия неравенства", YMCA-PRESS, 1970).

В этом еще одна причина, почему усилия социалистов по переделке мира — Сизифов труд. Как писал Герцен, отошедший в конце жизни от революционной веры: "Разрушь буржуазный мир: из развалин, из моря крови — возникнет все тот же буржуазный мир". ("Письма к старому товарищу"). Так и Ленин в постоянном воспроизводстве "мелкобуржуазности" видел неистребимую "опасность для социальной революции". (ПСС, т. 39, с. 421-422).

Сейчас в СССР даже из океана пролитой крови вновь возрождается эта буржуазность — которую приветствует прагматичное либеральное западничество, равнодушное к набившим оскомину высшим истинам любого рода, и которую нравственно не приемлет почвенничество, стремящееся к поиску духовного идеала.

Обозревая оба склона...

Умом можно прекрасно понять наших прагматиков-западников. Привлекающее их взоры западное общество несоизмеримо достойнее человека не столько "пышными пирогами", сколько ценностью свободы — по сравнению с тоталитаризмом. Но если взять иную точку отсчета, то нравственным и эстетическим чувством нельзя не быть на стороне идеалистов-почвенников, которые сегодня могли бы повторить слова К. Леонтьева:

"Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные Акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа... благодумствовал бы индивидуально и коллективно на развалинах всего этого прошлого величия?.. Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки!" (Собр. соч., Москва, 1912-1914, т. V, с. 426).

Конечно, почвенники сильно рискуют здесь приблизиться к "ереси утопизма" в ином варианте, стремясь все население демократий побудить к служению высшим ценностям и забывая, что, наверное, все-таки уже хорошо, если общество дает эту возможность тем, кто их для себя открыл и хочет этого служения. Станным образом радикальные религиозные почвенники в своем максимализме соприкасаются здесь с внешней антибуржуазностью социализма (из-за чего их часто не отделяют от национал-большевиков, хотя разница огромная) и рождаются с левым западным нигилизмом хиппи и панков. Последние, противясь буржуазному опошлению, часто огульно отрицают все так называемые "буржуазные добродетели" — традицию, мораль, право, не замечая в них, пусть и бледное, отражение морали христианской. Беда лишь в том, что она часто похожа на соль, утратившую силу. В этом, несомненно, плод того самого этического

равнодушия: возникла "христианская мораль", приспособившаяся под человеческие пороки и оправдывающая их...

Конечно, сегодня, для предотвращения краха, России прежде всего необходимо осознание "ереси утопизма". Но для следующего шага — создания здорового общества — необходимо учесть опасность ереси равнодушия. Западники борются против первой, почвенники против второй. Противоборствующие сторонники той или иной позиции будут, вероятно, всегда, и призывы к примирению вряд ли достигнут цели. Стране, однако, нужно мудрое руководство, которое, понимая неустранимость этого историсофского противоречия российского бытия, сможет облагородить энергию такого противоборства и использовать ее во благо, синтезировать ее в новое качество "вселенскости".

Но вернемся к позиции почвенников. Даже при осознании опасной для них "ереси утопизма" встает вопрос: неужели российская катастрофа не дала никакого результата, кроме невиданных жертв? Неужели прогресс для России лишь в отступлении к сегодняшней западной модели, которая — "вершина человеческих возможностей"?

С этим согласиться трудно. Значение нашего чудовищного эксперимента для человечества можно видеть не только в том, что он воочию продемонстрировал "ересь утопизма", вскрыл ее разрушительную суть. Но и в том, что в этой битве более, чем когда-либо, обнажились бездны и высоты человеческого духа, несоизмеримые с мешанским идеалом супермаркета и демократического эгоизма. Принять его было бы обесмысливанием наших жертв, исторической капитуляцией, предательством своего возможного предназначения к чему-то иному. Здесь присутствует отблеск еще одной тайны и онтологической дилеммы: взаимосвязи между добром и злом. Без падения Иуды и предательства им Христа не было бы Распятия и Воскресения, не было бы и христианства. Во множестве случаев страдание — необходимое условие для возвышающего катарсиса. Лагерный опыт многих эзков-писателей — достаточное тому свидетельство в наши дни.

Способно ли российское общество, после своего мученического опыта, к катарсису общественному? Во всяком случае, наша задача лежит в этом направлении, а не в усвоении гедонистических идеалов тех благополучных народов, которым пережить подобную экстремальную ситуацию не было дано. Российский опыт может оказаться полезным уроком и для них. Но для этого осознать свой опыт сначала должны мы сами.

Наиболее остро опыт тоталитаризма ощущается в России. Однако, наиболее выукло он осмыслен русскими философами, которые имели возможность окинуть его взором в рамках общечеловеческой судьбы. Один из них, Г. Федотов, выразил это в следующих словах:

"Русская эмиграция судьбой и страданием своим поставлена на головокружительную высоту. С той горы, к которой прибило наш ковчег, нам открылись грандиозные перспективы: воистину все царства мира и слава их — вернее, их позор. В мировой борьбе капитализма и коммунизма мы одни можем видеть оба склона — в Европу и в Россию: действительность, как она есть, без румян и прикрас". ("Россия, Европа и мы", *Новый град* № 2, 1932).

Можно сказать, что русские религиозные мыслители увидели на Западе тоже "правду", но и "ложь" демократии, хотя и несоизмеримую с ложью социализма. И отказались от капитуляции перед греховностью мира как "нормой" (ведь не признаем же мы за норму болезни); сочли, что в человеческих силах непрерывное сужение сферы действия этой "нормы" — не только законодательно-запретительными мерами, но и нравственно-воспитательными.

Этого невозможно достигнуть без осмысления того, для чего человечеству вообще мир, порядок и благоденствие. В чем наше предназначение после удовлетворения материальных потребностей.

Для разрешения рассмотренных дилемм необходимо подняться на иной уровень обзора и той, и другой крайности: отделить ложь от правды у каждого и соединить эти правды. Это будет уровень их синтеза, когда найденное решение будет духовным, но неутопичным; служебным, но не близоруко-прагматичным. При этом рассмотренные выше

общественные ценности — социальная справедливость (этическая ценность); свобода (онтологически укорененный дар); экономическая эффективность (ценность прикладного значения) — связываются в треугольник со следующими отношениями:

— социальная справедливость не должна нарушать свободу и препятствовать экономической эффективности (то есть гасить в людях творческую энергию);

— свобода не должна вырождаться в вопиющее социальное неравенство и ограничивать экономическую эффективность с другого конца: эгоизмом предпринимателей, оценивающих успех не с точки зрения интересов общества, а лишь своих интересов;

— экономическая эффективность не должна подчинять себе высшие ценности справедливости и свободы, превращаясь в самодовлеющий эгоизм. Это преувеличение экономического "базиса" свойственно не только марксизму (в котором уровень развития производительных сил определяет производственные отношения и всю "надстройку"). Экономический материализм присущ и капитализму, когда экономика превращается в почти не зависящее от воли людей чудовище, питающееся их эгоизмом и поощряющее в них его постоянное самовоспроизводство; когда в жертву этому экономическому молоху приносятся все ценности цивилизации.

Очевидно, гармония земной жизни достигается в том случае, когда треугольник из плоской фигуры превращается в пирамиду с вершиной в виде абсолютных духовных ценностей, определяющих и направленность свободы, и критерии справедливости, и ставящих экономическую эффективность в подобающее ей служебное положение.

Каждая из сторон — Запад и Восток — имеет свои исходные позиции для движения к этому идеалу. И каждая может двигаться — если захочет. Захотеть — уже много. Мы должны захотеть.

Честно говоря, если учесть особенности русского характера (не слишком стремящегося к благополучию и к рациональной организации жизни), не особенно верится, что Россия когда-либо станет лидером экономического прогресса. Но, может быть, задача России в этом не заключается. Как

писал В. Соловьев, "такой народ... не призван работать над формами и элементами человеческого существования, а только сообщить живую душу, дать жизнь и цельность разорванному и омертвелому человечеству через соединение его с вечным божественным началом". ("Три силы").

Может быть, такой народ способен все-таки приблизиться к идеалу негедонистического общества, когда "общественный пирог", созданный по указанным выше критериям, будет не престижной самоцелью, а необходимым средством для достойной человека жизни? И, может быть, начиная в каком-то смысле с нуля, нам будет даже проще ориентироваться на экологически чистую и социально уравновешенную рыночную экономику, которая служила бы человеку, а не порабощала бы его способности ставкой на непрерывный рост материального потребления? Правда, до этого "нуля" нам еще надо дойти: страна пока еще на минусовом участке координат...

*

Как бы то ни было, опыт и коммунизма в России, и западных демократий показывает, что человечество подчинено социальному злу в меру своей природной греховности и что зло может проявляться по-своему в разных общественно-политических системах. Спротивление злу и отвоевание территории у него возможно только путем внутреннего нравственного совершенствования, для чего и нужны абсолютные ориентиры, даваемые нам в откровении свыше и подтверждаемые нашей интуицией.

Это долгий, терпеливый путь духовного прозрения, очищения, преобразования — чему и должны служить государственные структуры, в которых поощрялись бы лучшие стороны человеческой природы и не было бы явной пищи для развития худших. Конечно, нельзя забывать, что речь идет о вечной битве между добром и злом, на которую обречен человек. Но эта битва имеет смысл независимо от невозможности победы над "тьмой". Эта борьба обладает самоценностью как дело защиты мира от сил зла, как расширение границы действия в нем света и потеснения

области тьмы, как соучастие в богочеловеческом процессе преображения мира. Эту героическую и благородную цель и поставило себе то движение, которое поначалу называлось "христианский социализм".

От "христианского социализма" — к социальному христианству

Формулировка "христианский социализм" в этой статье, как уже сказано, рассматривается лишь в виде тактического русла (конечно, уже не для партии, а для какой-то части общественности) при легальном демонтаже социализма советского. В общем же она неудачна, хотя, нужно сказать, русские мыслители относились к этому термину по-разному. На нескольких примерах попробуем все же определить их общий знаменатель.

Так, Бердяев писал: "Сопоставление и сближение христианства и социализма мне всегда представлялось кощунственным. Сходство христианства и социализма утверждают лишь те, которые остаются на поверхности и не проникают в глубину. В глубине же раскрывается полная противоположность и несовместимость христианства и социализма, религии хлеба небесного и хлеба земного. Существует христианский социализм и он представляет очень невинное явление, во многом даже заслуживающее сочувствия. Я сам готов признать себя христианским социалистом. Но христианский социализм по существу имеет слишком мало общего с социализмом, почти ничего. Он именуется так лишь по тактическим соображениям, он возник для борьбы против социализма... и проповедовал социальные реформы на христианской основе". ("Философия неравенства", YMCA-PRESS, 1970).

С. Франк был еще более категоричен: "...само понятие христианский социализм — поскольку под социализмом разуметь не устроение, а некий общественный строй или порядок — содержит опасное смешение понятий и есть *contradictio in adjecto* уже в том общем смысле, в котором противоречиво понятие христианского общественного

строения... С точки зрения христианской веры и христианского непонимания предпочтение имеет тот общественный строй или порядок, который в максимальной мере благоприятен развитию и укреплению свободного братско-любовного общения между людьми. Сколь бы это ни казалось парадоксальным, но таким строем оказывается не социализм, а именно строй, основанный на хозяйственной свободе личности, на свободе индивидуального распоряжения имуществом..." Следует уяснить "принципиальное различие между социализмом... и социальными реформами. Социализм есть... замысел принудительного осуществления правды и братства между людьми; в качестве такового он прямо противоречит христианскому сознанию свободного братства во Христе. Идея же социальных реформ и социального законодательства состоит в том, что государство ограничивает хозяйственную свободу там, где она приводит к недопустимой эксплуатации слабых сильными". ("Проблема христианского социализма", *Путь*, 1939).

Г. Федотов, однако, хотя и признавал, что именно попытка реализации социалистических идеалов "повинна в гибели России", поставил себе "дерзновенную цель": "спасти правду социализма правдой духа и правдой социализма спасти мир". ("Свободные голоса" № 1, СПб, 1918. — Цит. Федотова здесь и далее по собр. соч. YMCA-PRESS, тт. I-IV). В сущности, эту цель он пронес через всю жизнь и, например, в 1932 г. понимал под социализмом следующее: "Наше поколение не знает, и до конца не узнает, живем ли мы в начале социалистической эры или в конце цивилизации... Социализм в XIX в. пережил три стадии: утопическую, революционную, реформистскую". Ни одна из них, даже западно-европейская реформистская, не достигла благих целей своего замысла. "Но эта гибель доктринального социализма есть творческая гибель. Если социализм умирает, то сама жизнь социализируется..." Создается "общество совершенно нового типа, еще небывалого в истории мира, за которым можно оставить имя социалистического, при всей многозначности своей освященное традицией рабочего движения и пафосом нравственной идеи". ("Что такое социализм?", *Новый град* № 3, 1932).

И о. Сергей Булгаков против слова "социализм" ничего не имел: "Достоевский говорил иногда: православие есть наш русский социализм. Он хотел этим сказать, что в нем содержится вдохновение любви и социального равенства, которое отсутствует в безбожном социализме". "Каково же собственное отношение православия к социализму? Оно не дало доселе вероучительного определения по этому вопросу, да оно и не нужно, потому что это есть вопрос не догматики, но лишь социальной этики. Однако в православном предании, в творениях вселенских учителей Церкви (свв. Василия Великого, Иоанна Златоуста и др.) мы имеем совершенно достаточное основание для положительного отношения к социализму, понимаемому в самом общем смысле как отрицание системы эксплуатации, спекуляции, корысти".

"...русский коммунизм показал с достаточной очевидностью, каким безмерным бедствием он является, будучи осуществляем как жесточайшее насилие с попранием всех личных прав. Однако это именно потому, что душа его есть безбожие и воинствующее богоборчество. Поэтому для него и не существует тех религиозных границ, которые полагаются насилию признанием личной свободы и неотъемлемых прав личности на самоопределение. Однако возможен иной, так сказать, свободный или демократический социализм и, думается нам, его не миновать истории. И для православия нет никаких причин ему противодействовать, напротив, он является исполнением заповеди любви в социальной жизни... До сих пор, по историческим своим судьбам, православие имело меньшую возможность самоопределяться в отношении к социальному вопросу, нежели другие христианские исповедания. Но именно в настоящее время оно поставлено в большевистской России лицом к лицу с ним. Когда железные клещи безобразного коммунизма, удушающие всякую жизнь, наконец разожмутся, русское православие духовно использует те уроки, которые посланы ему Провидением в дни тяжелых испытаний, в области социального христианства". ("Православие", рус. изд. 1965, YMCA-PRESS).

Именно это определение — "социальное христианство", — кажется, и есть искомый общий знаменатель в высказанных

мнениях. Булгаков определяет его далее следующим образом:

"Речь идет о большем, даже неизмеримо большем, нежели христианский социализм в разных его видах, как он существует во всех странах. Речь идет о новом *лик*е христианства общественного, о новом образе церковности и творчества церковного социального..."

Отец Сергей находил для этого даже догматическое основание, исходя "из общей идеи Церкви... эта идея есть не что иное, как идея боговоплощения. Христос принял человеческое естество во всей его полноте и во всем историческом объеме. Освящение и искупление, и конечное преображение, относится не только к личному бытию, но и к человеческому роду, к социальному бытию, — о нем вопрошается и по нему судится человек на Страшном Суде. И христианская общественность несет эти новые заветы боговоплощения, которое раскрывается в силе своей во все времена человеческой истории разными своими сторонами, и в наше время хочет раскрыться в области социальной".

Это время, о котором полвека назад мечтал о. Сергей Булгаков, кажется, наступает. И его трактовка "христианского социализма" может быть тактически полезна легальным реформаторам в СССР — для придания духовной координаты реформам. Однако споры о понятии "социализма" сегодня вряд ли можно вести с той же аргументацией. Вскрывшиеся чудовищные преступления против народа лишают эту идеологию презумпции невиновности даже в теоретическом споре. Уже по одним нравственным соображениям невозможно примирение с понятиями "социализм" и "советская власть". Даже если этимологически они возникли как положительные — история наполнила их иным смыслом. В стране с такой кровавой историей положительное содержание эти слова уже вряд ли в себя вместят, и упомянутый в начале статьи принцип — "то, что зовем мы розой..." — допустим лишь в целях легитимации на переходный период. По мере оздоровления эти слова отпадут сами, как короста с затянувшейся раны. Вот и в разговоре членкора АН СССР Г. Шахназарова с писателем А. Адамовичем искомое общество будущего было определено как "постсоциализм" (*Дружба народов*, № 6, 1988).

Сейчас, конечно, дело не в том, как правильно окрестить ожидаемого ребенка. Главное — не выплеснуть его, то есть проблему совершенствования социальной справедливости, вместе с водой антитоталитаризма. Однако, уже сейчас правильнее говорить не о христианском социализме, а о социальном христианстве, отнимающем у марксизма присвоенную им монополию на социальность.

В Западной Европе, и особенно в начинавшей с "нуля" послевоенной Германии, это течение принесло свои плоды. Но нужно признать, что трагический результат реального социализма оказал тормозящее воздействие и на совершенствование западных демократий. Их преобразования в сторону большей справедливости шли медленнее, чем могли: пугалом нищенского социализма богатые слои западного общества предостерегали против социальных реформ и оправдывали достигнутое. Таким образом, негативный опыт социализма тоже в какой-то мере способствовал освящению рыночного эгоизма, общества потребления и этического безразличия на Западе.

Осознать все это, учтя не только положительный, но и отрицательный опыт Запада, — одна из труднейших задач для российских реформаторов. Она неразрешима, если у Запада брать лишь прагматически-материальную сторону, развившуюся в Новое время, и не обращать внимания на все еще скрепляющий его цемент христианских ценностей, которые многим российским западникам кажутся лишь безвредным балластом плюрализма... Самое ценное для России в демократиях — их опыт правовой культуры: очень разный, если сравнить США, Швейцарию, Японию. Применить его мы тоже должны в своей национальной форме: создав правовое государство с ярко выраженной нравственной координатой. Интересно, что эта координата уже присутствует в двух возникших независимо друг от друга программных документах для будущей России — НТС и ВСХСОН.

История дала нам варианты общества с разным отношением к Богу и человеческой свободе. Упрощая, их можно характеризовать так:

— Средневековый идеал теократии как авторитарного водительства человечества к Царству Божию, на основе

1) С. П. Судейкин Путь Отшельника... 5
 2) Архим. Софроний Младший... 28
 3) В. Костерин Огнь Царства... 59
 4) И. Стрелва Литургическая молитва и молитва благочестия... 71
 5) Фот. С. Б. в Раседе и хр. ко... 82
 6) Ж.-П. Алтаир Через темноту... 106

Внимание! С 1990 г. открывается подписка в СССР с прямой пересылкой из Парижа.

Подписная плата : 36 рублей в год (за 3 выпуска)

Представитель "ВЕСТНИКА" в СССР :

Богословский А. Н.
 Проспект Мира, д. 110/2, кв. 291,
 129626 Москва.



ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ВЕСТНИКА" на Западе

Розанов - Глубоковский, письма 152

В Америке — East :
 Mr Dorman, 321 Varick St., Jersey City, N.J. 07302, USA.

Фот. Мих. Челышев Дефетилская тюрьма (всп.) 165

Mrs Olga Hughes-Raevsky, P.O. Box 1207, Berkeley Ca 94701, USA.

Ник. Балахов "Солдаты" Соловьев 193

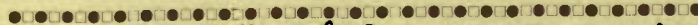
В Канаде :

«Parish News», 1175 A rue de Champlain, Montreal P.Q. H2L 2R7.

Г. Фудов ОБ ОБСТ-вах и месте засор. царских семьи 203

В Англии :

«Aid to the Russian Church», (Miss Ellis),
 P.O. Box 200, BROMLEY, Kent, BR1 1QF.



Михаил Козаров Задача для стеллера: "Ирестрейка"... 215

Русское Студенческое Христианское Движение за рубежом имеет своей основной целью объединение верующей молодежи для служения Православной Церкви и привлечение к вере во Христа равнодушных к вере и неверующих. Оно стремится помочь своим членам выработать христианское мировоззрение и ставит своей задачей подготовить защитников Церкви и веры, способных вести борьбу с современным атеизмом и материализмом.

Р.С.Х.Д. утверждает свою неразрывную связь с Россией. Наша принадлежность к русскому народу и к русской православной Церкви налагает на нас духовные обязательства, независимо от того, мыслим ли мы себя временными изгнанниками-эмигрантами или решили связать свою жизнь с другой страной. Подлинная русская культура неотделима от Православия: поэтому в хранении и продолжении ее мы видим наш долг. Мы видим наш долг также в свидетельстве перед миром о подлинном лике России, в напоминании о страданиях русского народа.